

*Наталья Барабаш*

**ПРИЗРАКИ  
СИНЕЙ НОЧИ**

*Роман в трёх частях*

Москва  
АКАДЕМИКА  
2012

Герои нового романа Наталии Александровны Барабаш живут в особом пространстве, где творческая свобода означает личную несвободу, а за личными драмами скрывается всепоглощающая трагедия уникальной творческой личности, будь то Шопен, или Бетховен, или наш современник.

В романе есть всё: любовь и ревность, жизнь и смерть, бытие и небытие, «гений и злодейство», — которое представлено странным, на первый взгляд, персонажем, внезапно появляющимся и так же внезапно исчезающим. «Злой гений» главного героя нашел способ преодолевать пространство и время, оказываясь то в музыкальном инструменте, то на корабле, то в роскошном загородном доме. Он не только существует в воображении Петра Венцлова и его жены Нины, но и общается с такими приземленными службами, как скорая медицинская помощь и полиция. Материальность его существования подтверждается также вполне житейским любовным треугольником. Что это? Игра расстроенного воображения? *Alterego*? Или происки потусторонних сил? Для недоверчивого читателя в романе выстроена довольно стройная система реалистических мотивировок: нервы, переутомление, расстройство восприятия, игра случая. Однако та параллельная реальность, в которой так легко заблу-

диться, выглядит вполне естественной в русле литературной традиции. Таинственные появления «злого гения», буквально преследующего главного героя, заставляют вспомнить и чеховского «Черного монаха», и Булгакова, и Гофмана, и Кафку. С одной лишь разницей, что действие происходит в наши дни и насыщено соответствующими моменту бытовыми деталями, такими, как быт ленинградской коммуналки, где некогда жил Петр.

Многозначность, многоплановость, множество смыслов, переплетение реальности и фантастики, — всё это задано заглавием романа — «Призраки синей ночи». Знаки судьбы, семиотические загадки, лабиринты подсознания — всё это ожидает вдумчивого читателя. Элементы гротеска и мистики придают динамичность сюжету, но не скрывают главного — размышлений о сути творческого процесса и природе музыки, о диалоге между исполнителем и композитором, о назначении искусства. И в этих размышлениях ощущается мощная теоретическая подготовка автора книги — доктора искусствоведения. Эти размышления не навязываются читателю, а органично встроены в ткань повествования. Везде и всюду, в самой иногда неподходящей обстановке, герой размышляет и спорит. Спорит с самим собой, со своим другом-философом да мало ли еще с кем! Главное здесь — не степень информированности собеседника, а предмет спора, в который неволь-

но вовлекается и читатель. Раскрытием сложного внутреннего мира человека искусства и объясняется моноцентричность романа, максимально сконцентрированного на фигуре главного героя. Все второстепенные персонажи — Аглая, Виктор, доктор Антон Иванович, алтайский водитель и многие другие — так или иначе связаны с Петром

Другая линия романа связана с темой, которая занимает особое место в творчестве автора. Это тема непростой женской судьбы. Драма Нины, жены главного героя, оттеняется жизненной историей его матери. Нужно ли класть всё на алтарь семейного счастья? Имеет ли право героиня на творческое самовыражение? Выдержит ли герой испытание возможным вдовством и одиноким отцовством? На все эти вопросы нет однозначного ответа, точно так же, как и в самой жизни нет универсальных рецептов для всех и каждого. Ясно лишь одно: творец имеет право на Музу, а Муза, в свою очередь, на кусочек простого житейского счастья.

Роман трудно отнести к типичной «женской прозе», однако его проникновенный лиризм и изящная стилистика свидетельствуют о том, что нить повествования — в опытных и нежных женских руках. Так, в художественном мире романа царствует и торжествует ночь — любимое время и Петра, и Нины. Это не первозданный и страшный тютчевский Хаос, а, скорее, время са-

моанализа и самоуглубления. Ночью совершается переоценка событий, ночью герои принимают важные для них решения. Наиболее лиричные страницы романа связаны именно со сквозным образом ночи. Так может, судьбоносное для героя решения придет именно ночью? Очень хочется, подобно автору «Евгения Онегина», заглянуть в «магический кристалл» и узнать, чем «сердце успокоится» у Петра Венцлова. Открытый финал романа невольно заставляет читателя ожидать его продолжения или уже новых героев, с их непростыми судьбами, с непрекращающимися спорами и напряженными духовными поисками. Остается только пожелать автору новых творческих успехов, а читателю — испытать роскошь общения с КНИГОЙ.

*Ольга Крюкова,  
доктор филологических наук*

**Часть первая**  
***ПРИШЕЛЕЦ***

Я не был к нападению готов...

*Франческо Петрарка*

Увы, любого ждет урочный час...

*Франческо Петрарка*

В музыке, которая звучала так яростно, так ошеломляюще, слышалась временами странная вибрация, словно в известные звуки мелодии стал вклиниваться иной звук, совсем не относящийся к реальной партитуре. Иногда этот звук напоминал падающие капли дождя, который все усиливался, становился сильнее, захватывал все пространство вокруг, то напротив, уподоблялся стонущему, почти обессиленному ветру, который исчерпал все свои силы и уже лишь постанывал, осторожно напоминая о себе, о бывшем шквале, где он был хозяин. И от этих вибрирующих звуков, которые вопреки воле композитора, сложившего музыку, вклинивались в общее ее звучание и нарушая общий строй и одновременно являясь органической частью целого, становилось страшно. Казалось, та стихия, та мощь, которая еще сохранилась в остывающем ветре, и тот шум, который сопровождал льющемся дождем, вот-вот разразится страшной, неистовой силой и сметут все вокруг.

Однако постепенно это ощущение нарастающей лавины, готовой стереть все на своем пути, менялось, становилось спокойнее, успокаивалась и сама мелодия, ведущая главную линию, словно говорящую, что кризис позади и все еще возможно. Главное — возможно все обернуть вспять.

И тогда игра, странная, замысловатая, так обнаруживала себя и так раскрывала свои объятия, что становилось понятно: такая музыка не звучит просто так, что-то должно случиться.

Петр сидел за роялем и сам не заметил, как за-

кончилась музыка и наступила тишина. И как взорвался зал, и публика не просто рукоплескала, она что-то выкрикивала, бросала в зал свое тоже вибрирующее неистовство. Овации длились так долго, что Петр, выходя снова и снова на поклон, вдруг подумал, что на бис эту вещь Шопена играть ни за что не будет, а удивит публику совершенно неожиданным выбором. Так и вышло: все ожидали, что повторится что-то из сыгранного, но Петр сел, наклонил голову, как это ему свойственно было вообще, слегка беззвучно коснулся клавиш своими смуглыми руками (да, права, так все и думают: черт-те где загорал!), и вдруг ему показалось, что он услышал чье-то дыхание. Причем, не музыканта и не дирижера — это было бы совсем невозможно — а именно кого-то, кто был рядом, ну, почти что у самого лица. «Да, пора и, правда, отдохнуть», — пролетела мысль. Но обмануться было нельзя: совершенно явственно он услышал вздох, затем уловил какое-то движение и понял, каким-то десятым чувством понял, что не ошибся и не сошел с ума, что ему ничего не почудилось, а вздох и это движение обращены были именно к нему и исходили они... от самого рояля. Да-да, от этого огромного, трудно двигающегося инструмента, который стоял незыблемо, и только четверо рабочих могли повернуть его таким образом, чтобы и исполнителю, и самому инструменту было удобно. И еще пронеслась мысль: «А что, бывает, что и инструменту тоже?»

Но тут всякие звуки, не относящиеся к музыке, прекратились, и пианист сам набрал воздуха, чтобы потом, когда будут длиться первые такты, все выдыхать и выдыхать его. Долго, так долго, как учили на уроках сценической речи, когда он учился в театральном. Еще до консерватории, где никакой сценречи не

было, а только музыка и музыка. Биографии композиторов, всякая там теория, но ничего, что имело бы отношения к говорению, к звучащему слову. Только на экзамене рассказывалось все то, что было нужно рассказать, но это было совсем другое слово, деловое что ли. Однако уроки по речи он запомнил, и ему в другой, уже консерваторской жизни, частенько их не хватало.

Он поднял руку, как делал это обычно перед тем, как коснуться клавиш, на мгновение задержал ее в воздухе, словно прислушиваясь к тому, что творилось внутри этого огромного прекрасного инструмента, но, ничего более не услышав, наконец утопил свои руки в клавиши, иногда приподнимая их, эти самые клавиши, словно производя с ними определенную работу: то внедряя в них свои кисти, то пробегая бегло по их черно-белой палитре, то снова едва касаясь и не прикладывая видимых усилий, но все же так относясь к ним, что они, благодарные, откликались невероятно щедрым звучанием, согласно тому, как человек, сидящий возле них и их трогающий, задавал им своего рода программу, настойчиво и властно взывая к их глубинной сути, словно говоря им: «Так надо, я так хочу!» И они откликались, податливо переключались друг с другом, выискивая такие оттенки и такие нюансы звучания, что становилось ясно: они все — в согласии друг с другом, они знают все и им подвластно все!

Музыка не имела границ, широты и еще каких-то параметров, она просто существовала как вечная данность, способная и подчиняться, и властвовать, и увлекать. Было в ней явно что-то мистическое, что никак не вмещалось в рамки прагматического понимания и логики. Она иногда существовала сама по себе, иногда вырывалась из-под контроля и становилась неуп-

равляемой, но это так казалось лишь на первый взгляд, ибо все ее перепады, все рассыпающиеся отдельные ее вздохи вдруг собирались воедино, воссоздавая целостную и ясную картину чего-то, что имело отношение к самой глубинной тайне, к душе, наверное.

Петр и его смуглые руки не просто выделяли нужные клавиши, соединяли с другими, воспроизводя мелодию, состоящую из самых разных и волнующих звуков, но вели к чему-то и впрямь загадочному, чему, наверное, еще не было названия и что только великий Аристотель мог предвосхитить, говоря своим потомкам о том, что такое музыка и где, в каких сферах она слагается. Что такое ритмы, размеры и как музыка согласуется со стихом, который тоже есть нечто произвольное от природы и что толковать можно, только поддавшись ее очарованию. Все это было, и пианист, будучи сам во власти совсем неземного состояния, все же отдельным взглядом, частью, совсем небольшой, своего разума отмечал, что пребывает в неведомой стране, что там льется все тот же дождь, а потом, когда он стихал, сознавал, что находится в зале и тот замер в ожидании. Чего только — тоже оставалось загадкой. Но он ждал, это было ясно.

Когда он шел к гримерке, то внезапно вспомнил, как однажды дома уже слышал этот звук, который явно принадлежал не одушевленному существу, не какому-то человеку, а именно роялю. Он попытался отмахнуться от назойливой мысли, но воспоминание настигло его снова, и снова он ощутил что-то вроде досады. «Привидится же такое!» — укорил он себя, при этом еще раз вспомнил, на что походил этот звук. Точно, это был вздох, сомнений быть не могло, и как, каким образом такое оказалось возможно, он не представлял.

Нина вошла в его гримерку стремительно и, как всегда спросила о том, что, казалось, не имело никакого отношения к только что состоявшемуся концерту, к торжественности момента, наконец, к месту, которое никак не напоминало дом.

— Ты что, еще не оделся? Представляешь, я видела в зале Новиковых! На Наде была прелестная горжетка. Они хорошо слушали. Я наблюдала.

— А больше ты ничего не видела? Меня, например?

— Ах, перестань язвить. Ты весь светился. Один раз почему-то замешкался, но этого никто не заметил, только я. Ты помнишь, что отвлекся? Что это было?

— Ничего особенного, просто показалось, что рояль стал дышать. Как-то так в такт со мной или с Шопеном, не знаю. Надо же, глазастая! И это заметила. Или ты что-то услышала?

— Ай, глупости, ну, что я могла услышать?

— Меня, например, мое дыхание. Разговор с инструментом.

Нина засмеялась, да так весело и заразительно, что он не выдержал и засмеялся тоже: «Подумаешь, рояль задыхался! Черт-те что!» Они вышли вместе, проскользнули сквозь ожидающих людей, которые ждали даже не автографа, а стояли по привычке, скорее, просто, чтобы поглазеть на своего кумира. Публика была все больше серьезная, наблюдала за парой тоже без лишних криков и просьб что-то там подписать. Ей просто хотелось увидеть идущего по улице музыканта, увидеть, как он шагает вне сцены, как держит под руку свою жену, как вообще смотрится. Да мало ли зачем стояли люди?! Может, просто по привычке! И в какой-то момент кто-то захопал, его поддержали, и Петр с Ниной пробирались к машине уже под аплодисменты.

Петр еще почему-то оглянулся, сам не зная зачем, и его взгляд выхватил из толпы один особенный взгляд, принадлежащий женщине. Он тут же вспомнил, что уже встречал его и запомнил. «Надо же, все ходит и ходит!» — подумал он, но не остановился, и так и прошел мимо. Запомнил именно выразительный, какой-то пронизывающий взгляд, а не саму его обладательницу. Внешность, прическа, одежда — ничего не запечатлелось, только этот один взгляд. «Наверное, она красивая. А может, и нет вовсе, но смотрит как самая настоящая ведьмага!» — снова отметил Петр, а сам уже заводил машину, уже трогался с места, уже переключалось его внимание на дорогу, на пешеходов — словом, на всю ту жизнь, которая неминуемо накрывает после самого успешного, самого примечательного выствупления: просто возвращает к реальности.

А в реальности этой было на что посмотреть.

Один ночной город чего стоил! И дело не в огнях и неумолимом потоке машин, а скорее, в том вихре, водовороте чего-то совсем нематериального, того, что имело отношение только к ночной жизни. Все в ней выглядело не так, как днем, все! И особый, ей, ночи, принадлежащий ритм, и тени, и сама яркость этого времени суток — все свидетельствовало о некоей сумасшедшинке, царящей только в ночи, ведущей по этой ночи, ее провозглашающей. Эта была именно та степень раскованности и едва сдерживаемого накала страсти, которые вырывались из всех оков. Перенося свое движение, свои всполохи страсти на все вокруг: людей, движение, ритмы. Выражение лиц, выражение лица города. Все светилось и в то же время отображало некую неустойчивость связей, тревожность пребывания человека в дергающемся, колеблющемся отблеске фонарей, звезд, еще чего-то, что ниспа-

дало сверху и что имело отношение к самой загадке, которой и являлась ночь.

Что она провозглашала, что желала? Куда были направлены ее стопы, и что была намерена сотворить с человеком, живущим в крохотном ее отрезке? А может, и не локальном вовсе — смотря как посмотреть. Может, это было огромное пространство, не подчиняющееся вообще никаким измерениям? Такое пространство, такое огромное и неохватное, что становилось страшно: неужели возможно выжить в этой громаде чередующихся ритмов, символов и страсти?

Мысли Петра проносились столь же стремительно, как двигалась эта ночь, как ее сила и всюдность все более и более захватывали в свои объятья, словно напоминая человеку о его незначительной роли во всей громаде мира, о его незрячести, заполошенности, заблуждениях. Петр временами косился на ночь, все неотвратимее наступающую на него, и снова думал о том, о чем привык думать после концерта: как это так получается, что просто стоящий на сцене инструмент, звуки, которые извлекает из него человек, собирают вокруг такое количество разных людей, так по-разному думающих, одевающихся, любящих, но которые устремлены к этим звукам, находят в них что-то общее и, более того, переживают, страдают, вспоминают о чем-то, но непременно объединяются с музыкой, которая извлекается им, Петром, и которая способна управлять большой массой людей. Что это за сила, за мощь такая? Что за загадка сосредоточена в этой музыке? Почему она так действует на людей, заставляя их растворяться в звучании ее и по-другому оценивать жизнь?

Петр не находил ответа на все эти вопросы, задавался ими снова и снова, и это доставляло ему нема-



лое удовольствие: так изводить себя ими, мучиться и снова не находить ответа.

— Ты снова поплыл? — услышал он голос Нины.

— А? — только и смог сказать он. — Не понял.

— Говорю: где ты?

— Здесь я, здесь, а может, и не совсем. Знаешь, как здорово отрываться от Земли!

— Смотри, не улети совсем! Что я буду делать?

— Ничего, проживешь! — весело заключил Петр, а сам пожалел, что его мысли прервали.

— Какой ты странный, — снова услышал он голос Нины и загрустил — ну, что ей не сидится спокойно, все говорит и говорит?

— Нет, я не странный. Хотя... — Он не стал уточнять, что это «хотя» означает, и поэтому можно было снова переключить на привычное и успокаивающее размышление о музыке и о том действии, которое она производит, как, отчего это сила ее столь велика и непредсказуема. Он вел машину, смотрел в зеркало дальнего вида и все думал и думал, стараясь и здесь сохранить свою избранность, удаленность даже от жены. Даже и не избранность вовсе, а, может быть, стремление уходить в ему одному ведомую норку, где его никто бы не трогал и не мешал сосредоточиваться на музыке.

Странные у него были отношения с ней, с музыкой: она была и профессией, и музой, и просто поводом для того, чтобы жить. Правда, иногда не хотелось. Он даже ходил к врачу, нашел очень умного любителя искусства, рассказал ему о своих, временах наступающих, депрессиях, смуте, какой-то чехарде в душе, которые проходят обычно перед и после концерта. Но вот это междуцарствие, как он называл свое состояние, чревато самыми скорбными мысля-

ми, настроением и желанием. Желанием не жить! Все плохо и черно, просвета не предвидится, отношения с Ниной не залаживаются, сам мир предстает исключительно в черных красках. Труба, провал, что там еще?! Врач послушал, повертел какой-то необыкновенной формы карандаш, что-то почиркал и наконец сказал: «Все нормально, так и только так может быть у творческих людей. Ну, а что до депрессии — не затягивайте с плохими мыслями, сами испарятся после концерта. А вот еще через несколько дней будет хуже. Как же: премьера, успех, цветы, и тут — нате вам — пустота. Ужас, да и только. Выход один и он очень прост: садиться репетировать, идти преподавать — словом, все что угодно, только не сидеть без дела, а работать и работать без усталости. Только в этом исцеление. Знаю, знаю: не сложилось, никто не любит, понимания нет, играю плохо, все приелось. Да, так. Но снова в путь: один он избавит от нежелания жить и мыслить, и любить, и ссориться, и что-то защищать. Успех вас отчасти уже испортил, скажу вам. Полюбите ваш инструмент так, как самую дорогую женщину, на худой конец — друга. Но полюбите. Только эта малость спасает, только в ней все, в любви окаянной».

Петр был явно раздосадован тогда: как же все просто у этих лекарей душ — полюби и все наладится, полюби — и все пройдет само собой. Однако через несколько дней открыл для себя нечто новое: он как-то по-другому стал относиться к инструменту, более тщательно ухаживать за ним, иногда даже разговаривать. Собственно, отдельные реплики, обращенные к роялю, были и прежде, но постепенно он стал превращаться в почти живое мистическое существо, с которым можно было и поговорить, и открыться, довериться. Похоже это было на бред? Возможно, только

с той лишь мерой, с какой взрослый вполне мужчина может положиться на самого себя, свой разум. Он же понимал, что не сошел с ума, так, отдельные завихрения. Однако порой они вымучивали, и становилось тоскливо, и что-то начинало попискивать где-то глубоко внутри и тоже становилось почти живым.

Вот и на другой день после этого концерта, вполне успешного, шумного, Петр протирал пыль, что продельвал почти каждодневно, и вдруг услышал странное поскрипывание. Из рояля, именно откуда-то из его потаенных недр, шел звук, вовсе не похожий на музыкальный, который испугал и смутил Петра. Он даже отстранился немного, посмотрел со стороны на инструмент и вдруг вскрикнул: прямо оттуда, откуда-то из глубины послышался скрежет, какое-то движение, сама по себе хлопнула крышка рояля, и появился человек, мужчина, в костюме серого цвета, который он оправлял, придирчиво осматривая себя. Так провозившись какое-то время и дав тем самым опомниться Петру, вышедший из инструмента господин совершенно обычным человеческим голосом сказал: «Темно там, а я это не особенно люблю. Здравствуйте», — и он протянул руку. Петр отступил еще на шаг, не в силах вымолвить ни слова, на что вошедший парировал: «Так не стоит теряться. Лучше взгляните в окно: уверяю вас, там намного лучше, чем в этой черной коробке. Чайку не найдется ли?»

Он тоже немного осмотрелся, но не так, как обычно делают это люди, впервые попавшие в незнакомое помещение. Казалось, и эта комната, и сам хозяин дома знакомы ему, и он нисколько не был смущен. Медленными шагами, не оборачиваясь назад, Петр вышел из комнаты и присел на стул на кухне, даже и не думая ставить чайник. Но странный гость вошел

следом через некоторое время и напомнил: «Ставьте, ставьте, а я пока достану чашки». Петр словно врос в свой стул. А пришедший вполне легко, со знанием дела расставлял чашки. Видно, он прекрасно ориентировался в этом доме.

Петр нервно сглотнул и выдохнул: «Вы что же, постоянно там пребываете? И все видите и слышите?» Гость хохотнул, тоже издав какой-то гортанный возглас, похожий на клич, но не агрессивный, а именно гортанный. Так поют в Азии, еще где-то, но Петр слышал такое горловое пение именно в Азии, где не раз бывал с концертами.

— Да нет, у меня, видите ли, плохой слух. И слышу я не все: я же и сплю, и ем, и просто отсутствую.

— Как это — «ем»?

— Очень просто, вы же вот едите, а мне что же, нельзя?

— Но... в этих условиях, — замялся пианист.

— А чем, скажите, плохи условия? Вполне даже ничего.

— Вы и на концертах бываете?

— Как придется, не всегда.

— Так, простите, проживаете вы, что, прямо здесь?

— Да не топчитесь вы так! Здесь, не здесь — какая разница?! Главное, что я все знаю, почти все, — поправился гость. — Но не все мне, однако, понятно.

— Как — не все? И что надо понимать?

— А вот что. Хотя, думаю, об этом после.

— Нет, уж говорите, прошу вас. Как, кстати, вас величать, — все более храбрел Петр.

Гость, только что вышедший из черной густоты рояля, вдруг поник головой, задумался и хитро так ответил:

— Зовут? Я и сам не помню. Кажется, Фредерик. Как вам имя, ничего?

— Шутите?

— А что такого? Как и вашего любимого Шопена.

— Но вы же другой? То есть, я хотел сказать, вы — из другого времени?

— Послушайте, я живу очень давно, даже и не знаю сколько. Я, признаться, вообще мало что знаю. Так, о земле, о небе, о душе. А конкретного немного. Может, побольше, чем рядовой гражданин, но все же не столько, сколько может знать, сколько волен знать мыслящий человек, — завершил свою тираду человек без имени и умолк, отхлебывая чай, который сам же и заварил.

Петр так и сидел, прикованный к стулу. А гость вел и вправду себя так, словно не раз бывал в гостях. Был он вежлив, опрятен, легко и свободно выражал свои мысли, и, казалось, его ничто не смущало в этой встрече.

— А вы... словом, что пожаловали-то? Что я вам?

— Вы?! Да нет, вы и не особенно мне нужны, так только, для большего понимания.

— А кто же?..

— Хороший вопрос. Мне нужны двое — ваша жена и ваша музыка.

— Но музыка не одушевленное..., — он искал подходящее слово, — не живое существо.

— А вот и ошибаетесь! — чуть ли не вскричал гость, снова издав свой странный гортанный звук.

— А что значит — жена? Зачем вам Нина?

— А вы не догадываетесь? Я просто полюбил ее, вот и все. Неужели этого мало?

— Как же так — полюбил! А я, про меня вы не подумали?

— Еще как подумал! Но вы — не тот, с вами она... с вами Нина не счастлива. Что вы ей можете дать, чем одарить? Чужой, не вами сочиненной музыкой?

— Что значит — не мной? А интерпретация, душа, наконец?

— Вы когда после концерта поцеловали ее? Душа, говорите? А о ее душе вы когда-нибудь вспомнили? Вы же цените только одно: свой успех, лидирующее положение в вашем мире музыкантов, ваши блага, в конце концов. Нина была прекрасной певицей, это вы ее загубили, вы не дали ей раскрыться, а только позволили быть при вас и заниматься домом. Да, еще ездить на концерты, покупать себе тряпки, пожалуй, все.

— Не много ли вы на себя берете? Да и что вы тут молотите, какое житье в инструменте? Я позвоню сейчас в полицию, уберите! Кто вы вообще есть такой?! — Петр вскочил, подлетел к гостю и грубо схватил его. Тот довольно легко и даже беспечно, с ухмылкой оторвал от пиджака руки пианиста, добавив при этом, что они ему еще пригодятся, и заявил:

— Эх, голубчик, потому-то у вас нервишки шалют, что все наскоком желаете, мало думаете. А глубина — вещь полезная, в музыке тоже, кстати. Именно она, вернее, ее отсутствие не позволяет вам выйти на мировой уровень, быть самым первым, самым! Но чувства в вас есть, с этим соглашусь, потому и Шопен удается. И все же не все понимают, что вам чего-то не достает. Берите совет, не жалко, берите и владейте: страдайте, изучайте, наконец, древних философов, думайте. Страдания вам не помешают, еще поблагодарите меня. Но это после, потом. Пока же..., — он не закончил фразы, а резко посмотрел в сторону входной двери, хотя там никого не было, как не было слышно и звонка, звона ключей — ничего. И все же он среагировал на что-то, что имело отношение к входной двери.

— Итак, на сегодня все! Она сейчас появится. Я ухожу. — Он снова, как и при появлении, поправил

пиджак и... испарился, шагнув в сторону комнаты, где стоял роскошный черный рояль.

И действительно, спустя несколько мгновений раздался звонок, и Петр по характерному нажатию на кнопку понял, что пришла Нина. «Откуда он мог знать?» — спросил про себя Петр кого-то, словно согласившись с присутствием этого другого, кто имел к его жизни прямое отношение.

Нина вошла и сразу набросилась с вопросами. Была она в чудесном расположении духа, в руках держала несколько пакетов, которые тут же и забросила в угол, никак не прокомментировав, что в них и откуда она сама.

— Ну как ты? Суп видел, или ты где-то летаешь? — слово «летаешь» было ее любимым по отношению к Петру. Она употребляла его всегда, как только хотела подчеркнуть некий неземной характер его поведения и пребывания в доме. — Понятно, один чай — все как всегда! — воскликнула она, но не зло (этого за ней не водилось вовсе), а сама уже бежала на кухню, разогревать, а заодно сообщать разные новости.

Петр так и не вышел из кухни, но уже не сидел, ввернутый в стул, а стоял возле окна и смотрел куда-то вдаль. Надвигался вечер, а за ним, стало быть, ночь, которая должна была принести облегчение, успокоить. Так было всегда, всякий раз, когда он особенно о чем-то задумывался, что-то пытался решить или справиться с местом в произведении, которое по каким-то причинам не удавалось. Ночь он не просто любил, но был предан ей и знал, что все неразрешимое разрешится именно с ее наступлением. Он ждал ее, как пушкинский рыцарь заветного свидания. И полагался на ее решения.

Вот и теперь он надеялся, что, когда придет пора и Нина ляжет спать, он сможет оказаться вновь в боль-

шой комнате, как они называли гостиную, и, может быть, что-то новое узнать, поговорив со своим инструментом. Теперь это сделать было не так просто: держало то новое, что возникло в его доме, в его жизни, в нем самом. Но искушение было слишком велико, и не поддаться ему было невозможно. Поэтому он очень доброжелательно отвечал жене, даже съел ненавистный суп, а сам только и ждал, чтобы поскорей наступила ночь.

И она пришла, а вместе с ней и долгожданное освобождение от тягот дня, необходимости общения с женой, а главное — наступила та пора, когда можно было, наконец, осмыслить то неожиданное, мистическое, что неожиданно ворвалось в его жизнь. Кто этот человек, да и человек ли? Что за существо, так запросто покинувшее рояль? И не с ним ли, с самим Петром, стало происходить что-то неладное?

Столько вопросов, на которые пока не находилось ответа, да и вряд ли они появятся вообще. Сначала вздох, который он услышал во время концерта, потом это вот появление. Но нет, было еще что-то, что так или иначе возбудило его воспоминания, вернув к давнему эпизоду, на который он поначалу не обратил внимания. Это был не вздох и какое-то движение, сопровождающееся шелестом, шуршанием, а совсем иное. Во время домашней репетиции, когда уже ступились сумерки и вот-вот должна была начать собираться в дорогу ночь, ему показалось, что по комнате кто-то ходит. Это было краткое, совсем почти незаметное движение, но то, что он увидел чей-то силуэт, — точно. Тогда он решил, что его любимый Шопен, не кто иной и не что иное, сотворил с ним такую штуку. Ну, в самом деле, кто мог появиться в закрытом наглухо помещении, где никого, кроме его само-

го, не было?! Ерунда, да и только! Но именно теперь то воспоминание возвратилось, в его памяти возник и этот костюм серого цвета, и даже движение рукой, которым незнакомец приглаживал волосы. Тот миг был столь быстротечным, что в свое время Петр отмахнулся от него, решил, что всему причиной — сама музыка, ее превращения и фантазии, которые она порождает.

Он ждал прихода ночи, а в это время Нина хлопотала на кухне, приглашала его пить чай, и было понятно, что дом, в общем-то, живет привычной своей жизнью.

— Ты в последнее время будто бы отстранился от меня, — прозорливо заметила Нина.

— Тебе показалось, — отмахнулся Петр.

— И вообще... Ты не идешь на разговор, избегаешь меня. Что случилось, скажи!

— Да ничего, это все твои фантазии. Если что и случилось, так это страшный голод, я есть хочу, а ты меня чайком потчуеть. Нет ли чего посущественнее?

— Ну, ты даешь! Мы же ели суп, котлеты. Ты забыл?

— А-а, точно, забыл. Прости, пожалуйста. А с чем чай?

— А чай сегодня необыкновенный: с мятой, чабрецом, соевым медом, и вот, посмотри — торт.

— Откуда у нас такие прелести?

— Так, подарили.

— И кто же? — полюбопытствовал Петр.

— Не поверишь: иду я по улице, уже поворачиваю к нашей арке, уже и в арку захожу. И тут ко мне гражданин подходит, спрашивает номер подъезда. Ну, я говорю, а он тут протягивает руку и дает мне эту коробку. В ней, говорит, чудесный черничный мусс.

— И ты взяла? У чужого мужика?

— А что такого? Сейчас попробуем, давай ножницы, развяжем бантики. Запах, по крайней мере, я уже чувствую.

Петр протянул ножницы, и Нина уже чиркнула ими, как в то же мгновение раздался странный звук и... появился он. Тот человек в сером костюме, который снова, как, наверное, делал это всегда, приглаживал левой рукой волосы.

— Вечер добрый, — галантно произнес гость, которого больше хотелось назвать пришельцем, так несурово и неожиданно было его появление. Хозяева не откликнулись, и Петр снова, как совсем недавно, снова врос в стул. Нашлась Нина, которую, вероятно, в меньшей степени удивило превращение картонной коробки в реальное живое существо.

— Послушайте, это вы ведь были совсем недавно, ну там, у арки ворот?

— Правильно, я.

— Но как...как вы..., — она не успела закончить фразы, как мужчина в сером выгасил из-за спины букетик желтых роз и протянул их Нине. В ту же минуту отлепился от своего стула Петр и, как было совсем недавно, снова вплотную подступился к незнакомцу и попытался схватить его за лацкан его серого пиджака. Однако тот увернулся, засмеялся и парировал выпад Петра.

— Не будем переходить границы. Мы же нормальные люди, можем спокойно поговорить.

У Петра даже дух перехватило: «Как вы говорите, «нормальные»? Это вы— то нормальный? Вам что вообще-то нужно? Зачем вы здесь, что позабыли?

Мужчина между тем без всякого приглашения сел на стул, закинул ногу на ногу и попросил налить чай.

— Как вы можете? Это уже слишком! — вскричал Петр.

— Успокойтесь, я постараюсь все объяснить.

— Да уж, постарайтесь, будьте так любезны, — нахмурился снова Петр, но все же отступил и приготовился слушать.

— Многого я вам сказать не обещаю, поясню одно: вам только кажется, что вы пребываете здесь одни. Впрочем, это заблуждение любого живущего: человек уверен, что все происходит так, как он видит, или что он видит, то и есть правда. А это не совсем так. Есть вещи скрытые, не лежащие на поверхности.

— Вы, к примеру? — перебил гостя Петр.

— Не спешите, не все так просто. Вы, к примеру, решили, что никого рядом нет, что дом, когда вы отсутствуете, тоже пуст. Ах, эти люди! Ну, что вы такое напридумывали?! Есть я, есть — вот же, вы сами видите, это же не сон, в конце концов, потрогайте себя руками, ущипните! Вот он, я, и смогу появляться, где и когда хочу! Это главное, что вы должны уяснить. И уходить смогу тоже, когда захочу. Вы не одни, а что было до сегодняшнего дня — просто ваше заблуждение.

Помолчали, только Нина нарушила тишину и неожиданно спросила: «А зачем мы вообще вам нужны?»

Незнакомец отхлебнул чай, который сам себе же и налил, и, подняв вверх палец, заключил: «Мне нужны вы, Нина! А ваш муж пройдет свой путь сам, и сам поймет, зачем жил, так ли жил, ну, и многое другое. Об этом потом, позже. А теперь — позвольте откланяться», — он провел рукой по волосам и испарился столь же внезапно и столь же быстро, как и появился.

Петр и Нина безмолвно смотрели на только что вскрытый торт и не могли произнести ни слова. Но оба почувствовали, что в дом вселилось и неуловимо, неви-

димо поселилось нечто нехорошее, что уже никогда не даст покоя ни его обитателям, ни самому жилищу. Что-то переменилось, это ясно. Да что и говорить: ничего себе картинка, когда то из рояля, то из коробки появляется, почти выскакивает человек и ведет с хозяевами квартиры престранный весьма разговор.

Оба старались не смотреть друг на друга и всячески скрыть неловкость, которую испытывали. Нина отвернулась к воде, мыла чашки и молчала. Молчал и Петр, и все смотрел куда-то поверх стола, в сторону окна, где уже явственно проступила ночь. «Эх, выйти бы сейчас из дома и отправиться куда глаза глядят!» — подумал Петр и тут же спохватился: предстояло так много закрепить, отрепетировать, а здесь всяческие приключения! «Только она приносит облегчение», — с сожалением подумал он, а сам все так же сидел на стуле и не произносил ни слова.

Наконец Нина обернулась, посмотрела в упор на мужа и неожиданно сказала: «Я давно уже подозревала, думала, кажется. Оказывается, нет, ничего не кажется, все правильно. И виноват в этом ты», — так же неожиданно заключила она.

Петра передернуло: «Чем же? И что за манера все валить на меня?» Нина помедлила, повертела в руках тряпку и вдруг нагнулась к лицу мужа совсем близко. «Если бы не прошлое лето, если бы ты не стал ухлестывать за этой мымрой, а потом все эти ссоры, ничего бы не было!» — воскликнула она уже страстно, уже прихлопывая в такт словам своей тряпкой. — «Этот ты порушил все! Я же вижу, что ничего от того, что было, не осталось. Нет того Петра, нет больше его волшебной музыки, ничего нет!» И на этих словах Нина бросила, наконец, тряпку, едва не угодив в Петра, и выскочила из кухни.

«Боже мой, да какая же связь? Что ей взбрело в голову вспоминать то, что давно прошло, выветрилось? И при чем тут музыка?» Он резко поднялся, подошел к окну, прижался к стеклу лбом и увидел ночь.казалось, она тоже всматривалась в него, причем делала это насмешливо и едва ли не говоря с ним. А если вслушаться и совсем, совсем притихнуть, можно, наверно, было бы услышать, что именно она говорит. Наверное, укоряет, наверно, поджидает и еще, наверно, стремится защитить и от чего-то спрятать. Но от чего? Вот бы понять! «Ночь, ты слышишь меня? Почему все так? Кто это? Зачем он пришел к нам? Ау, скажи, я жду!» И он так плотно прислонился, просто-таки вжался в стекло, что стало слышно, как оно стало поскрипывать. «Молчит, не отвечает. Да и что тут скажешь? Может, все это привиделось и завтра уже ничего не будет? Может, просто сон, так, наваждение и больше ничего?» Но позволить себе остановиться на этой мысли и успокоиться ею не получалось: как иначе можно было понять и подтверждение Нины, пусть косвенное, но все же согласие? Как объяснить этот вздох, слова, наконец, этого, в сером, его движение рукой и все такое? Очень просто: это не привидение, человек в сером, появляющийся произвольно там, где хочет, есть на самом деле, он существует. Но возникает следующий вопрос: для чего он?

И тут он вспомнил то давнее приключение, о котором напомнила только что Нина. Действительно, в то лето, два года назад, как-то неожиданно возникла женщина с необыкновенным голосом: низким, бархатным и при этом не похожим на грубый мужской. Он был таким низким, что на первый звук этого странного голоса оба они с Ниной обернулись и испытали неловкость: женщина смотрела прямо на них и была

при этом маленькой и хрупкой, почти беззащитной. Но этот голос — откуда он взялся и где таился в этой плоской почти груди? Завязалось знакомство, вечерами гуляли вдоль моря, разговаривали, иногда сидели в кафе, выпивали. Так, ни к чему не обязывающее знакомство. Но с какого-то момента — Петр это отчетливо помнил — Нина начала нервничать и неохотно соглашаться на встречи с новой знакомой. Звали ее Лизой, и это имя очень ей подходило. Петр даже не понимал почему, просто подходило ввиду своей хрупкости, наверно. Если имя вообще может быть хрупким.

И вот вечером, когда Нина отказалась от прогулки, Петр с их новой знакомой сидели в кафе и пили кофе. И вдруг эта хрупкая женщина внезапно наклонилась к Петру и сказала: «У вас впереди большое испытание, правильно к нему относитесь. Я помогу вам». Петр удивленно поднял голову, помолчал, потом перевел разговор на что-то другое, а сам намертво запомнил сказанное. Более того, именно в те вечера, когда Нина уклонялась от прогулок, женщина становилась все более раскованной, и однажды взяла и крепко прижалась к Петру, поцеловав его в губы. От неожиданности Петр отпрянул, отстранился и сказал что-то вроде «Что вы?», но она почему-то рассмеялась и еще раз поцеловала мужчину. Это уже было слишком. Настолько «слишком», что Петр вернулся домой какой-то всклокоченный, растерянный, на что Нина среагировала немедленно. «Что ж, началось!» — пророчески вскрикнула она.

Что началось, что имела в виду его жена, оставалось неясным. Но что-то, видно, она знала, что-то такое, отчего мурашки пробегали по спине. С тех-то пор она и стала называть женщину по имени Лиза мым-

рой. На мымру та, естественно, не тянула, но прозвище прилепилось, а самое главное — остался мерзкий осадок и от знакомства, и от того, что оба чувствовали: не все так просто в этой встрече. Настроение, как и сам отпуск, были серьезно подпорчены, постепенно встречи и прогулки сошли на нет, Нина вернулась в свою привычную форму: заботилась о муже, наряжалась, но все равно оба не могли избавиться от странного холодка, который коснулся обоих.

И как-то раз Петр не выдержал:

— В чем ты меня подозреваешь? Я ничего не сделал.

— Это как раз и доказывает, что все не так.

— Почему? Что доказывает? — не унимался Петр.

— Что-то произошло между вами, я же чувствую.

— Ну, и неправда, глупости.

Нина рассмеялась, как умела делать это только она: весело, заразительно, даже залихватски. Потом взяла мужа за руку, повертела ею, и произнесла то, о чем Петр, попросту говоря двух лет, не мог забыть: «Где начало конца? Потом заблудимся, а он — вот он, даже за хвост можно подержать».

Ничего себе — за хвост! И какого конца, о чем это она? Неужели станет мстить? Но он, сам Петр, ни в чем не виноват! Он сам не преступал!

Ах, эти вечные мучения, терзания совести и размышления о вине, грехе, всем том, что составляет такой скрытый, такой внутренний пласт, к которому подобраться очень трудно. Иногда он спрашивал себя, стоит ли вообще это делать, стоит ли ворошить то, что в итоге, кроме страданий, ничего не принесет? И все же возвращался и возвращался к этим скрытым, тайным глубинам, где даже один на один с собою было трудно оставаться правдивым и не хвататься, как за соломинку, за вечное спасение: не делал, не преступал,

не грешил... Как же не преступал, если бросилась на тебя эта басистая хрупкая женщина? Смотрел, стало быть, не так, не отводил взгляд, когда надо — словом, провоцировал. И Нина в точку посмотрела: уличила во лжи, поняла, что что-то сделал не так. А вообще-то как с изменами, было — нет? Это что, когда постель? Или опять-таки где-то совсем, совсем внутри, так глубоко, что и не подобраться?

Наверное, он раздевал глазами женщин, наверное, представлял себя с ними, наверное, хотел, чтобы случилось самое греховное. Наверное, так. Но физически никогда не изменял Нине, просто она с повышенной своей чуткостью и прозорливостью всегда отмечала малейшие сдвиги в его настроении, отстранение от нее — словом, перемены. А, может, и не хватает как раз ошибки, этого проклятого греха, который бы что-то изменил в сознании, заставил жить и думать по-другому, наконец, по-другому зазвучала бы его музыка.

Он уже пару лет как стал слышать шепотком, брошенное исподволь словцо, кривой взгляд после своего выступления. Сначала отметал, не обращал внимания, потом слухи о том, что не к лучшему изменилась его игра, стали доходить до него все явственней, и он стал усиленно думать о том, что же произошло, что мешает задышать ей, его шопеновской музе. И не находил ответа. Настоящего, а не связанного с отговорками типа — болен, устал, настроение. Он понял, что что-то и вправду произошло, иначе не стал бы обращать внимания на все эти разговоры, сплетни, доходившие до него. Он умел прежде быть защищенным и не поддаваться искушению выуживать о себе информацию, стремиться узнать, каков он в глазах окружающих, в среде профессионалов.



Давно сложилось так, что его приняли, он стал мэтром, уважения и признания было не занимать. Не хватало, пожалуй, самой малости: самому себе уверенно сказать, что он, и правда, достиг чего-то очень значительного, взобрался на такую высоту, с которой не очень-то его можно сдвинуть. Этого чувства уверенности и подлинного знания о себе как об очень большом музыканте не доставало, и он это понимал.

Все эти рефлексии и прежде-то не оставляли его, а тут это появление. Как это он сказал? Что-то вроде того, что у Петра не складываются отношения с музыкой, с тем инструментом, откуда и появился этот в сером. Возвращаться к этим мыслям о неожиданном посетителе не хотелось, но, куда деваться, приходилось.

Нина старалась не заводить на новую тему. И так оба и молчали, и оба сознавали, что разговор неминуем и, скорей всего, незнакомец появится здесь снова. Репетировать не хотелось, как и встречаться с другом Алешкой, как и идти куда-то. А просто хотелось сидеть и смотреть в одну точку, что он и делал.

Через несколько дней такого упрямого ничегонеделания, ближе к вечеру, когда день уже иссякал, а сумерки не подступили, да и до ночи было далеко, Петр сидел в любимом кресле и смотрел по привычке в окно. Мало что мог видеть со своего места, но так уж сложилось, что он частенько сидел вот так и рассматривал крыши соседних домов, да еще некоторые кусочки облаков, да, может, изредка показывающееся солнце. Нина ушла в магазин, потом собиралась зайти к подруге, и у него было достаточно времени, чтобы еще раз окунуться в свои мысли и насладиться одиночеством.

Человек появился, конечно, неожиданно, но в то же время Петр словно поджидал его, словно пони-

мал, что уже никуда не деться: так оно и будет, это новое, сопровождать его отныне. Так и случилось. Раздался звук хлопнувшей крышки рояля, и оттуда то ли выпрыгнул, то ли вынырнул — это уловить было всякий раз затруднительно — человек в неизменно сером костюме и, вздохнув, пригладив, как у него заведено было, волосы, присел на соседний стул и стал молча смотреть в ту же сторону, куда был устремлен взгляд Петра.

Петр не шелохнулся, молча сидел и пришелец. Молчание затягивалось, в комнате темнело, и наступала та пора, которая освобождает от тягот и сомнений, приводя к уравновешенности и спокойному, почти созерцательному взгляду на все вокруг. И действительно, постепенно молчание перестало тяготить Петра, он расслабился и начал отчетливо понимать, что рядом кто-то странный, что появление этого мужчины в сером теперь неотвратимо и будет продолжаться и впредь, и, стало быть, никуда не деться: придется принимать все так, как оно есть. Он обернулся и неожиданно заговорил первым:

— Я даже не знаю вашего имени, вашего настоящего имени, не говоря уже о том, кто вы и зачем, — усмехнулся он.

— Имя? Вы правы, имя — вещь важная, иногда определяющая. Но я назвал вам его, вы помните? Меня, правда, зовут Фредерик.

— А почему и кто вас так назвал? Вы... вы реальный человек?

Мужчина в сером рассмеялся:

— Можете потрогать, убедиться. Конечно! Странно, не правда ли?

— Непонятно, как вам удастся перемещаться, находиться в этом, — он кивнул в сторону рояля, — в

этом инструменте. Хотя, согласен: поиск логики невозможен, ее просто не может быть, этой логики. Наверное, моя участь — уже как-то примириться с тем, что вы будете захаживать ко мне, так?

— Почти. Но я бы предостерег вас от конкретных и поспешных выводов. Видите ли, не все в этом мире безукоризненно точно и определено, а тем более имеет материальную природу и обоснование. Есть и такое, что объяснить трудно, может быть, и невозможно даже. Я, например!

— Но вы же не Мефистофель и присланы сюда не для искушения и не для исправления меня, наставления на путь истинный?

— Правильно, не Мефистофель. И цель у меня отнюдь не воспитательная.

— Может, скажете?

— А вы забывчивы.

— В смысле?

— Мне вы не нужны. Нет, то есть нужны, конечно, но в большей степени нужна... да, нужна Нина.

— Этого не может быть! Этого просто не будет!

— Время покажет.

— А что вам, если не секрет, вам от нее нужно?

— Ну, голубчик!... — засмеялся Фредерик. — Зачем мужчине может быть нужна женщина?

— А откуда, как вы узнали мою жену? Вы, что же, и раньше, так сказать, перевоплощались? В кого, интересно?

— Да, было. Но по большей части я слышал, слышал вашу Нину, слышал, как она пела. Она же любила это делать, в особенности раньше, и особенно, когда вас не было дома. Она прекрасно поет, вы хотя бы это знаете?

— Ну, знаю.

— В том-то и дело, в этом вашем «ну». Никогда она не была вам по-настоящему интересна, никогда. И вот, с тех самых пор, когда я мог слушать ее изумительный голос...

— Где, находясь в рояле?

— А знаете что? Предлагаю вам принять правила игры. К примеру, не задавать лишних вопросов, не искать, как я уже просил вас, логики. Понимаете, довериться исключительно случаю, который свел нас.

— Почему вы решили, что случай этот меня занимает и что я готов принять то, о чем вы говорите, как и сам факт вашего появления?

— Нет, неразумный вы, однако, человек. Понимаю, пианист, но все же, доля здравого смысла должна быть вам присуща?

— И что мне с ним делать, с этим самым смыслом?

— А ничего! В том-то и дело, что ничего! Просто положиться на волю этого самого случая, отдаться обстоятельствам, так сказать. Вы пока все равно не в силах будете понять, что, откуда, зачем. Да и стоит ли? Внимайте, думайте, страдайте! Этого последнего явно не достает вам в вашей успешной жизни. Давненько, уже много лет. Вы стали словно испаряться, вас самого, вас истинного становится все меньше и меньше. Истаиваете! А жить надо по-другому.

— И вам известно как? — спросил пианист.

— Мне известно очень многое, может быть, я с вами поделюсь. Но не сразу, — заметил пришелец, расправляя складки своего серого костюма.

— Интересно, есть ли у него другой какой-нибудь? — подумал Петр, и в ту же минуту произошло нечто странное.

Сидевший рядом мужчина, совсем недавно появившийся из рояля, как-то внезапно сник, свесил го-

лову и из каких-то его глубин организма, большого и в эту минуту беспомощного, полились необычные звуки. Напоминали они то подывание ветра, то походила на плач, то становились самой музыкой, святой и мощной, то, наконец, едва ли не светились проблесками молний от грозного и всеильного шума волн. Такой конгломерат звуков, исторгнутых из одного человека, напугал хозяина дома, и он сжался, не в силах противостоять этой громаде. И в то же время не в силах и покинуть помещение, куда-то уйти: так притягательна была эта симфония звуков, похожая на причудливый вымысел самой природы.

Сколько продолжалось это движение звуков, сказать трудно, но ясно было одно: Петр был в абсолютной власти этого сокрушительного шквала, который высветил и в нем самом совсем новую, неожиданную для него мысль. Это была и не мысль даже, а какое-то внятное чувство, ощущение правильности и неизбежности происходящего. Его на мгновение словно озарило: нет, еще не проиграл, еще все состоится, будет в его музыке. Сама эта мысль, или внутреннее ощущение, была так прекрасна, так убедительна, что в каком-то порыве Петр вскочил, наклонился над лежащим почти человеком и вскрикнул: тот не дышал. Как же так: не дышал, а звуки, эти необыкновенные, нечеловеческие звуки только что еще были, наполняли своим объемом комнату, множились, и, казалось, сам мир перевернулся от этой всепоглощающей силы и власти разных голосов.

— Послушайте, очнитесь, что с вами, что? — тряс он своего гостя изо всех сил, пытаясь вернуть его к жизни. — Говорите же, прошу вас!

Но Фредерик, как он назвал сам себя, молчал, не двигался, звуки все прекратились, и только пронизы-

вающая, как январский мороз, тишина, начала вытеснять только что звучащую музыку голосов и наполнять собою пространство дома.

— Господи, да что же делать? Очнитесь, прошу вас! Вы же не могли помереть! — Он заметался по комнате, соображая, что делать и понял, что не может вызвать даже скорую: спросят фамилию, данные, а он их не знает. — Очнитесь, — вскрикивал Петр, пытаясь напоить пришельца водой, сбрызгивая ею его лицо, затем хватая за руку в надежде нащупать пульс, но все попытки услышать хоть слабое дыхание были тщетны. Незнакомец не дышал, это было ясно.

Оставалось одно — вызывать неотложку и как-то наврать про фамилию и возраст. Он подбежал к аппарату, стал сбивчиво объяснять, что случилось, назвал цифру 43 — таким, по его мнению, был возраст Фредерика — а фамилию сказал свою — Венцлов.

Человек в сером костюме был по-прежнему недвижим.

Врач подъехал действительно скоро. С ним была толстая хмурая женщина, медсестра. Она не взглянула даже на Петра и уверенно прошла в комнату, где лежал мужчина. Врач успел помыть руки и прошел следом. Это был рослый человек в очках, смотрел он почему-то поверх этих своих очков и двигался отчего-то боком. Подойдя к Фредерику, он спросил у него имя, сам держал его за руку, но человек в кресле не отвечал. Поза его оставалась прежней, он не шевелился и, кажется, не дышал. Врач вдруг выпрямился и задал вопрос Петру:

— Давно он умер?

— Что вы сказали? Как это — умер? Вы что, в своем уме? Да делайте что-нибудь!

— Я сделаю, вызову кого следует, а сам, простите

уж, я бессилён. Пульса нет, зрачки не реагируют — все ясно! Ещё раз — давно он так?

— Да вы что! Как так? Он вот появился из этого, — он махнул в сторону рояля, — говорил что-то, а потом сник внезапно. Я ещё подумал, на него так музыка повлияла.

Доктор выразительно хмыкнул, ещё раз наклонился над мужчиной, отчего-то понюхал его голову и снова подтвердил: «Нет, сомнений нет, это смерть. Только что произошло, уже не я стану разбираться. Положено вызвать милицию, так положено».

Все это время Петр суетился, сжимал руки, подбегал к врачу, пытаясь ещё раз убедиться в том, что лежащий жив, для чего снова спрашивал доктора, что является причиной случившегося и отчего это доктор уверен, что лежащий мёртв. Доктор отвечал, что сомнений нет и что действовать он будет согласно инструкции. Он стал звонить, объяснять, затем уселся за маленький столик, что стоял у кресла, и стал писать. Все это время медсестра сидела на другом кресле и не произносила ни слова. Она только успела раскрыть свой большой чемодан, из которого торчало его содержимое с ампулами, флаконами, шприцами, ещё чем-то таким, от чего становилось муторно и скучно.

Петр тоже в какое-то мгновение сник и подошел к окну. Ночь всюю уже завладела пространством земли и неба, и казалось, что ничто не сможет изменить этот ночной ход вещей. Даже утро, которое по обыкновению должно было наступить следом за ней, казалось, не придет, не наступит и, более того, ночь навсегда останется запеленутой в этом тихом мраке тишины. Начальные такты «Первого концерта» Шопена, как он полагал, его Шопена, он пропел молча, про себя. Та-та-та-та... Дальше музыка забирала куда-

то вверх, и невозможно было поверить, что вполне земной человек, который кого-то любил, очень страдал, написал даже на письмах любимой «Мое горе», способен так мыслить и так разговаривать посредством звуков. Петр некстати вспомнил самого человеческого человека, знавшего одну или две мелодии, одна из которых принадлежала Бетховену и о которой он сказал «Нечеловеческая музыка», — и грустно улыбнулся. Сколько десятилетий морочили людям головы, уверяя, что этот знаток кино и нечеловеческих звуков музыки способен так разбираться в ней. У Бетховена все очевидно — действительно мощно, горько и ошеломительно. Здесь же иное, ещё подумать надо, как это вообще подобное оказалось под силу реальному человеку? «Реальному?» — задал сам себе вопрос Петр, оглянулся и снова, который раз за этот вечер, обомлел: Фредерик осторожно поправлял свой пиджак, и Петр даже подумал, что знает, какое движение будет следующим — он поправит свои волосы! Так и вышло: Фредерик откинул голову, громко вздохнул и поправил волосы, погладив себя по голове.

Доктор бросил писать, удостоверился, что не сошел с ума, тоже потрогав себя по голове и проведя по волосам, которых было ничтожно мало, а затем обратился к медсестре: «Зинаида, глянь-ка, кажется, он жив. Черт-те что!» — воскликнул он и почему-то не очень охотно поднялся и подошел к ожившему.

— Как вы себя чувствуете? — задал он вопрос.

— А что, есть проблемы? — парировал еще недавно не дышавший мужчина.

— Как же так, вы же только что не дышали? Что с вами? Болит где-нибудь? — Он притронулся к руке, посчитал пульс, хотел было заглянуть в зрачки, но оживший отстранился и не позволил эскулапу трогать свое лицо.

— Вам не кажется, что все это — лишнее? Я жив, чего и вам желаю! Отдыхал, знаете...

— А этот человек, — врач кивнул в сторону Петра, — он вам кто?

— А-а, понятно, интересуетесь. А зачем вам? Вы убедились, что сон прошел, я здоров, как, надеюсь, и все остальные, ночь на дворе. Я это отчетливо ощущаю, вам домой пора. Не согласны? Не будем никого беспокоить, а не то... — он не закончил фразы, как неожиданно хозяин дома издал странный звук, и все посмотрели в его сторону.

Петр медленно, как-то даже театрально сполз на пол, и стало ясно, кому нужна помощь. Доктор, однако, не растерялся и заметил, что вызывали к одному, а теперь вот что.

— Непорядок! — сказал врач и отчего-то строго глянул на Зинаиду. Та поняла этот взгляд как руководство к действию и, смочив ватку нашатырем, поднесла ее к носу Петра. Тот снова издал звук, похожий на мычание, повернул голову и спросил: «А где Нина?» Это было как нельзя более кстати, потому что именно в это время в двери цокнула задвижка или цепочка и вошла Нина.

Она прижала сумочку к груди и замерла. Картина, которую она увидела, была удручающая: незнакомые люди, да еще в белых халатах, а посреди комнаты — ее Петя, который беспомощно лежал и не шевелился.

— Что, что случилось? — спросила женщина, склоняясь над мужем и заглядывая ему в глаза. — Петя, дорогой, что с тобой? Скажите, скажите, прошу вас, он что... он жив?

Доктор, который к этому времени уже слегка привык к разного рода превращениям, происходящим

в этой квартире, вздохнул, тоже еще раз склонился над лежащим и взял его за руку.

— По крайней мере, только что он спрашивал о вас. Это ведь вы — Нина?

— А кто вы? — вопросом на вопрос ответила женщина, которая по действиям врача уже догадалась, что муж жив. Она стала теребить его, пыталась приподнять, но ей никто и не собирался помогать. И в этот момент она увидела сидящего в кресле человека в сером пиджаке и обратилась к нему:

— Что вы, не видите что ли? Помогите же, ему же плохо!

Мужчина не пошевелился и только запрокинул голову, не забыв при этом погладить по волосам.

— Видите ли, — начал он как-то равнодушно, — я ничем не могу помочь. Говорят, мне самому только что было худо.

— Как это — говорят? — спросила женщина, взглянув на сидящего и испытывая к нему явное неприятие. — Кто вы и что вообще здесь делаете?

Мужчина и не думал отвечать, а вместо этого поднялся, оправил костюм, даже что-то смахнул со своего плеча, оглядел собравшихся и тихо произнес.

— Видите ли, стоит ли об этом? Все так сложно, вам все равно не понять, кто, что, откуда... Я, пожалуй, пойду.— На этих словах он подошел к роялю и как-то сразу внезапно испарился. Послышался только звук хлопающей крышки и все. Все переглянулись, и даже невозмутимая Зинаида сделала какое-то движение, а потом почему-то подвинула к себе свой чемоданчик и закрыла его.

А в это время Петр открыл глаза, увидел Нину и тихо застонал.

— Что, что такое? Куда он ушел, снова в рояль?

— Вам, уважаемый, требуется специалист, но не моего профиля.

— Какой специалист?

— Да такой... Психиатр вам нужен, причем, спешно. Думаю, вы так и не разьясните нам, кто этот господин, кому вызывалась скорая, что вообще здесь происходит и что с вами?

— Ой, — Петр застонал, — сколько вопросов! И не на один у меня не найдется ответа. Он ушел, — он кивнул в сторону инструмента, — туда, он всегда откуда появляется.

— Вот видите, я же говорил, — как-то даже облегченно произнес врач. Мистика, да и только! Пожалуй, мы поедем. Если пожалует милиция, ну, постарайтесь все объяснить. Всех благ! — с этими словами доктор взял свои записи, пожегил и собрался уходить. Но тут поднялась Нина и перегородила ему путь.

— Ну, уж нет, вы посмотрели, вы убедились, что с Петром все в порядке? Вы почему уходите?

— Отойдите, я все посмотрел. И вызывали нас не к этому человеку, а совсем даже... — он оглянулся, убедился, что того человека больше нет и махнул рукой. — Поэтому нам здесь делать больше нечего. Идем, Зинаида!

Но именно в эту секунду равнодушная медсестра мотнула головой и выразительно взмахнула руками: «Ну, знаете, цирк какой-то! Я, например, не уйду, пока не пойму...»

Возмутился на сей раз врач.

— Ты что? Собирайся, идем, пока еще чего-то не произошло.

Но Зина была неумолима: «Измерьте давление ему, прошу вас, и послушайте!» — упрямо заявила она.

Доктор мрачно взглянул на медсестру, с нескры-

ваемым неудовольствием взял свой прибор и наклонился к все еще лежащему Петру.

— Дышите, еще дышите, — довольно нелюбезно предложил он. — Когда у вас было воспаление легких? — спросил он по-прежнему хмуро, словно тяжелый труд, который он взвалил на себя, так достал его, что уже не оставалось ни сил, ни желания что-либо делать дальше. — У вас старые хрипы, вы знаете?

— Нет, — отвечал Петр, а сам после этих слов почему-то снова стал слышать чарующие такты Первого концерта Шопена, и ему даже показалось, что все замечательно, все любезны и обходительны, что никакого странного приключения не было, а его Нина так хороша и так молода, что жизнь вообще прекрасна и может быть долгой-долгой. — Ах, спасибо вам, все здорово, надеюсь, наш пришелец больше не пожалует, — выдохнул он, и голова его снова повисла на Нининых руках.

— Так запомните добрый совет: врач вам нужен, и чем скорей, тем лучше. Уже галлюцинации начались, а это не лучший показатель. Вы слышите меня? Все у вас в норме. Или почти в норме. Берегите легкие. Вы не курите?

Петр покачал головой.

— Вот и славно, вот и хорошо, — почему-то перешел на примиренческий шепот доктор. — И не курите, ужасная зараза это. Вам бы выехать куда. Воздухом подышать, впечатлительный вы больно. — Увидев, что Петр порозовел, стал осматриваться, и доктор стал смягчаться, и суровость его немного отступила: — А знаете, что я вам скажу? Не буду я ничего писать, ну, в смысле этого, который так незаметно удалился. Он симулянт, по всему понятно.

В это время раздался вздох, который был слы-

шен всем и хихиканье. Такое мерзкое, вкрадчивое хихиканье. И только Петр понял, что это никакие не галлюцинации, что все это продолжение проделок Фредерика, а врач с Зиной, наверное, решили, что им послышался звук откуда-то, может, от соседей, может, еще откуда-то. Но никто, естественно, не счел, что это живое существо, находящееся в данный момент в рояле. И только Нина не вполне отчетливо, но вроде бы стала понимать, что в доме стали происходить весьма странные вещи, объяснения которым пока не находилось. Она поднялась, вздохнула тяжело и пошла провожать медиков. Уже у порога доктор приостановился, взглянул на Нину и сказал:

— Видите ли, у вашего мужа проблемы. Я бы даже сказал, тяжелые проблемы. Не пропустить бы.

— Я подумаю, — ответила благоразумно хозяйка дома, и было понятно, что она не желает продолжать разговор.

— Да, именно так. Много в вашем доме странностей. Может быть, хотя бы вы скажете, кто это был? Кому, собственно, вызывали скорую? Он взял и исчез.

— Возможно, наш приятель, он имеет обыкновенные уходить так же неожиданно, как и появляться.

— Да нет, — хитро погрозил пальчиком врач, — не приятель. Что же он вдруг удалился? Не помог лежащему? Все, знаете, не так просто.

— А что вас так беспокоит? Вы вот даже не говорите, отчего это мужу стало вдруг плохо? Это случилось при вас, правда?

— Плохо! — воскликнул доктор. — Не то слово! Он просто сполз, потерял сознание. И все от этого вашего приятеля.

— А не показалось ли вам?

— Да что вы такое говорите! Что мне могло показаться? Вы же вошли и сами видели этого, в пиджаке. Кто он, что тут делал? Ответов нет!!!

На этих словах встревоженный доктор распахнул дверь и вышел. Зинаида, которая во время разговора стояла молча, последовала за ним.

Нина вернулась в комнату, Петр уже полулежал на диване, и казалось, что ничего особенного и не было. Да и никто не появлялся вовсе. Нина подошла совсем близко, опустилась на диван рядом с Петром и какое-то время так и сидела молча.

— Как ты? Чаю хочешь? — спросила Нина, ничем не выдавая своего интереса к происходившему совсем недавно. — На улице почти ночь.

— Да не почти, — ответил Петр, всматриваясь в окно. — Где ты была так долго? — спросил он, продолжая смотреть в окно. — Что молчишь?

— Ну, что я могу сказать? К приятельнице заходила.

— К кому?

— Петя, что с тобой? Что вообще происходит? Кто этот человек и как он к нам попал?

— Как? Представь себе, через рояль! Только не думай, что я сошел с ума.

— Я не думаю, но это же смешно! Это просто невероятно!

— Осталось процитировать строки... Ну, про друга Горацио, забыл. Голова что-то кружится. Не выпить ли нам чаю? Сближает.

— Ладно, пойду, поставлю. Лежи пока. Кстати, моя приятельница тебе хорошо знакома, — уже на ходу сказала Нина. — Может, доктор прав, и надо навесить врача? Что-то явно не так. Не находишь?

— Нет. Уже нет, — добавил Петр и подошел к ин-

струменту. Не сразу решился откинуть крышку, стоя и прислушивался к той тишине, которая словно повисла в комнате, а потом, все так же стоя, дотронулся до клавиш. Они откликнулись скоро, и немедленно волна чего-то теплого и обволакивающего накрыла Петра с головой.

Петр присел, даже не стал устраиваться комфортно, а только едва придвинув стул к роялю, и начал играть. Ему не нужно было даже делать какой-то разбег, готовиться — звуки полились сразу, и сразу стало понятно, что ни приезд скорой, ни тяжелое физическое самочувствие не нарушили того баланса, того гармонического внутреннего наполнения, которым был насыщен весь организм, все нутро пианиста. Он словно соскучился по звукам музыки и стремительно вторгался в них, а они — накрывали его. Отступила тишина, и даже сама ночь с ее ошибками и сомнениями, с ее странными заблуждениями, в которые она так мастерски способна была вводить человека, словно замерла в искушении: то ли продолжать свое ночное торжество, то ли уступить и не вклиниваться во что-то такое, чему не было даже названия, а сохранялось лишь одно: воплощенная музыка с ее способностью совершать более неожиданные, более странные вещи, нежели сама ночь. Музыка рвалась так неистово, так мощно наполняла и пространство, и саму ночь, что уже не соперничала с ней, а вызывающе утверждала свое ясное, свое несравненное право быть главной и вершить все, включая саму жизнь.

Что за страсть была в ней, в этой музыке! Казалось, ушли все страхи и наваждения, все сложности и навороты последних дней! Оставалась она, ясная и торжествующая, проникнуть в тайну которой почти не представлялось возможным: музыка звучала, и было

совершенно понятно: нет ничего более изысканного и более ликующего, страстного и неземного, чем эти взрывающие звуки, появляющиеся из-под рук пианиста.

Нина стояла в проеме комнаты и не решалась двинуться с места: так ее Петр, кажется, не играл никогда. А он и не замечал ничего вокруг, он словно освобождался от какого-то гнета, лишнего, мерзкого страха, которым был окутан и во власти которого находился последнее время. Ему показалось даже — он точно запомнил это ощущение — что уже, как прежде, не сыграт никогда, что то новое, что вступило в его жизнь, уже никогда не даст ему покоя и той раскрепощенности, которой он так дорожил и которую достигал играючи.

— Петя, остановись, — не выдержала Нина, как только он сделал маленькую паузу. — Прошу тебя! — воскликнула она, не в силах больше слышать эту силу и мощь. Ей уже невозможно было справиться с таким наваждением, и она заплакала.

Петр вскочил, обнял жену и так и стоял вместе с ней, обнявшись.

А наутро, и на следующий день, и еще много дней подряд Петр Теодорович Венцлов ходил на репетиции, подолгу задерживался в зале и почему-то все больше обретал спокойствие, словно и не было всех сумбурных событий последнего времени. Иногда, совсем редко, его посещала мысль о возможном визите странного мужчины, но Петр в самом деле отгонял ее, уповая на случай. Ах, этот самый случай! За него можно было и спрятаться, и им объяснить многие навороты в своей собственной жизни, и еще извиниться — то поступки, просчеты. Свои, например.

Так, он давно решил, что к следующему концерту совершенно готов и нечего так изводить себя и за-



ниматься по многу часов кряду. И так все хорошо. Но последние события словно подсказали ему, что не все так гладко, как казалось, что есть те шероховатости, которые видны и которые следует победить. И он работал, играл до изнеможения, до потери сил, так истоиво, и так яростно, что однажды вечером Нина даже заметила:

— А тебе не кажется, что в этом есть какой-то страх? А может быть, вызов.

— Но ты сама говорила, что я стал играть хуже, что появилась какая-то тупость. И в пластике, и в самом звуке. Что-то сломалось, я это сам почувствовал.

— Но тот концерт, всего лишь пару месяцев назад, да и вечер, ну, ты помнишь, когда ты играл, как Господь Бог, все же было нормально!

— Нет, Нина, я и раньше-то чувствовал этот слом, эту перемену, но после известных событий только еще больше упрочился в таком мнении. От меня ушло что-то по-настоящему важное. Дело не в звуке даже, а в каких-то непередаваемых мгновениях, тех нюансах, которые слышу только я сам. И не отговаривай меня, потерпи. Скажи лучше, как ты, я совсем тебя забросил.

— Ладно, все понятно. У меня есть идея! Ты не поверишь! Но ты должен пообещать, что не станешь особенно возмущаться.

— Да говори же, что там у тебя?

— Давай попробуем... Словом, я предлагаю сделать наше общее выступление.

Петр замолчал, не желая обижать жену. Он не мог не понимать, что из этой затеи ничего не выйдет: она слишком давно не занималась, не пела. Какой там концерт! Но услышал совсем уж неожиданное.

— Видишь ли, все мои отлучки к приятельницам на самом деле связаны совсем с другим. Я брала уро-

ки, много занималась, и у меня есть даже репертуар. Словом, я могла бы... Он, впрочем, был всегда, но я теперь, правда, могла бы.

Петр смотрел на жену с нескрываемым любопытством и думал о том, сколько же в ней скрытой силы и еще чего-то такого, чего он и предположить не мог.

— Занятия — это хорошо, но ты давно не пробовала звук в зале, не была на зрителе.

Нина засмеялась, словно только и ждала этого возражения.

— А вот и нет! — весело парировала она. — Ничего ты не знаешь! У меня и концерт был, и зрители.

— Где? В школе, в доме культуры продленного дня?

Нина нахмурилась и хотела было вовсе не отвечать, как Петр порывисто подошел к ней, обнял ее и прижал к себе, приговаривая: «Ну, ладно, прости меня, не сердись, я знаю, знаю, что ты хочешь. Но потерпи, может быть, еще все возможно. Может, действительно стоит попробовать, только не расстраивайся, не плачь, для голоса это вообще жутко вредно. Поняла? Поняла? — он все приговаривал, все не отпускал ее. Нина высвободилась, отошла от него и прикоснулась к окну лбом. Это была их общая привычка — так отходить от переживаний, от тревог, от чего-то, что составляет боль и неприятность. Так и Нина теперь стояла, прижавшись к стеклу и вглядываясь в темноту.

Она относилась к ночи несколько иначе, не видела ее скрытого, подчас мистического значения. Но было и для нее в этой поре нечто такое, что заставляло, скорее, прислушиваться к себе и часто даже находить какие-то ответы на вопросы, решения. Словом, в ночи открывалось что-то, что переворачивало все предшествующее: ход жизни, само последовательное ее движение. А вместе с этим менялись и оценки, и, более того, ночь не создавала, а избавляла от тревоги.

— Петь, — спросила Нина, не отходя от окна, — а ты, — она снова помедлила, словно подыскивая слова, — а ты не изменял мне? Ну, кроме того мерзкого случая с той?..

— Послушай, — резко и даже грубо возразил Петр. — Что значит «изменял»? Что ты врываешься в нашу жизнь, как в трамвай? И ворошишь то, что требует бережного и трепетного отношения? Зачем тебе это надо?

— А вот это называется — уйти от ответа.

— Брось, все ты придумала! Сколько можно, в конце концов? Прошло сто лет уже!

— Вот именно, — все так же, не оборачиваясь, сказала Нина. — А ты по-прежнему злишься и заводишься. Все же что-то в этом есть.

— Есть! — вскричал уже взбешенный Петр. — Есть, прежде всего, твоя глупость, вот что есть. Давай раз и навсегда оставим эту тему!

— Да— а, — протянула Нина, — оставим. Но это правда.

— Что, что правда? — не унимался Петр. — Что ты хочешь?

— Я? — улыбнулась неожиданно Нина. — ни— чего! Слышишь? Вот так! И петь не хочу, и зала, и твоего успеха, которого, я знаю, ты боишься, и который будет сломлен, скомкан, не знаю, как сказать. Ничего! — повторила она уже жестко, прекращая разговор.

В комнате стало совсем темно, и Нина отошла от окна, собираясь пройти на кухню. В эту самую минуту что-то резко щелкнуло, раздался звук хлопающей крышки рояля, и снова, как уже заведено стало, совершенно неожиданно возник человек. На этот раз он почему-то был в свитере и джинсах, однако волосы по-прежнему были тщательно уложены и гладко

зачесаны, и создавалось ощущение, что прическа для него значит не меньше, чем он сам.

— Боже мой, что это? — воскликнула Нина, отстраняясь от пришельца и инстинктивно ища поддержки у мужа. Однако произошла еще одна, не менее странная вещь: Пети почему-то не оказалось, в комнате по-прежнему было почти темно, и Нина напрасно пыталась закричать, позвать Петра, и вообще как-то справиться с ситуацией. Никого не было. Никого, кроме этого типа, который появился как у себя дома и вел себя так, словно бывал здесь тысячу раз.

— Успокойтесь, прошу вас, я не сделаю вам ничего плохого, — вежливо, но очень настойчиво проговорил незнакомец. — И потом, вы же уже видели меня. Ну, вспомните, скорая, врач, вашему мужу плохо. Вспомнили? Вы тогда едва обратили на меня внимание, а зря. Видите, вот и случилось снова встретиться.

— Как вы здесь оказались? Что это за шуточки?

— Да уж, какие шутки! Не до шуток нынче. — И он уже привычным движением руки поправил волосы, подошел к Нине и склонился в поклоне. Легком таком, но все же поклоне. — Не волнуйтесь так, я постараюсь все объяснить.

— Да, но где Петр? Куда он делся-то? — еще больше волновалась женщина.

— Ах, ваш муж? Да ничего с ним не будет, появится.

— Это что, тоже ваши происки?

— А похоже? — вопросом на вопрос спросил мужчина. — Сначала позвольте представиться. Впрочем, в этой комнате я уже не раз произносил свое имя, однако для вас повторю. Меня зовут Фредерик.

— Как? — едва не вскричала Нина.

— Вот именно, так, как я только что сказал — Фредерик, — повторил он настойчиво.

— Я понимаю, что все это шутки, неправда, что всему есть объяснение...

— Есть, но не такого толка, как вы думаете. Ничего материального, сплошная мистика, — снова вежливо, но твердо отвечив гость.

— Тогда... тогда скажите, что же вам надо, что вообще вы тут делаете?

— Как же вы похожи! — засмеялся Фредерик. — Все те же вопросы, как и что. Нет, чтобы спросить, не волшебник ли я, может, смогу подсказать в чем— то, помочь... Одним словом, зря вы так. Подумайте, чего бы вам хотелось? Ну, больше всего?

— Как это? — потрогала себя за плечи Нина, словно желая убедиться, что все это не снится ей и все происходит на самом деле.

— Да-да, все правда, — подтвердил ее сомнения мужчина и снова твердо сказал: «Сядемте, обсудим все, наконец».

Нина была близка к обмороку, упрощать ее не пришлось, и она тяжело опустилась в кресло.

Фредерик вышел из комнаты и вернулся со стаканом воды в руке.

— Вот, попейте — полегчает. Да перестаньте трусить, это вас не украшает. Вы столько таились, столько храбро готовились к концерту со своим мужем, а тут — на тебе, нюни! Нехорошо! — заключил он и опустился перед Ниной на колени. Она попыталась было отшатнуться, но он плотно сжал ее ноги и затем опустил свою большую голову ей на колени. И так лежал и молчал. Молчала и Нина, не в силах понять, то ли ей принимать эту игру, то ли продолжать выспрашивать и противиться. В углу отбивали свой ход часы, которые достались Нине от ее родителей и которые были истинным украшением комнаты: так они были

величественны и вместе с тем таинственны. То, что они показывали время, еще ни о чем не говорило; главное — что они отмеряли нечто иное, вовсе не связанное со временем: сгребали в охапку память или снова становились недостижимым оплотом чего-то вечного и могучего, почти, как само текущее время, за которым угнаться или проследить его ход было невозможно.

Часы тикали, время шло, а Фредерик убаюкивал женщину, которая постепенно затихала, вопросов у нее становилось все меньше, и казалось, что эти двое давно живут вот так, в этом доме, где большие старинные часы тоже давно стали его частью и чуть ли не членом семьи.

— А вы что, из другой жизни? Что ли, как часы? — выдохнула Нина.

Мужчина поднялся с колен, рассмеялся, пригладил, как водится, свои волосы и сказал:

— О, дорогая моя, какая вы еще маленькая. Хотите... хотите, поедем сейчас совсем в другой мир, почти в сказку?

— Зачем? — буднично спросила Нина.

— Ой, как все запущено! Да низачем. Просто, чтобы прогуляться, подышать свежим воздухом, — он потянул носом воздух, — здесь совсем не как в лесу, это уж точно.

Тут насмешливо посмотрела Нина и подтвердила.

— Да уж, не в лесу. Просто люди уже стали сами, как звери, это так. А в лес, конечно, хочется. Ладно, везите!

— Это лучше, это даже здорово! — воскликнул Фредерик, и двое в одно мгновение покинули комнату, почти сразу же оказавшись и впрямь в лесу.

Посреди небольшой поляны, без всяких заборов

и ограждений стоял домик. На вид он был тоже не-большой, но когда Нина оказалась внутри, то сразу поняла, как недооценила поначалу деревянную постройку.

Домик напоминал своей формой не что иное, как... рояль. Причем с откинутой крышкой. На самом верху имелся даже стульчик и фигурка пианиста.

— Накрепко вы привязаны, видно, к музыке, — не удержалась Нина. — Надо же, и музыканта усадили! Как вам это удалось?

— Нравится?

— Это, правда, ваш дом? — задавала свои вопросы Нина.

— Может, и мой, сам точно не знаю.

— Нет, на вас не похоже, что вы чего-то можете не знать. Вы очень уверенный...

— Продолжайте, говорите — че-ло-век. Так ведь?

— Да, я не уверена. Но вы же не Шопен, в конце концов!

— Точно, не он, — засмеялся Фредерик, и в ту же секунду Нина услышала звуки своего любимого ноктюрна. Она приостановилась, осмотрелась и поняла, что в доме кто-то есть. Это смутило ее снова, но она старалась не подавать виду, однако в дом дальше не пошла и так и осталась стоять возле большой залы, из которой слышались звуки музыки. — Наверное, я зря согласилась, — ступевалась женщина, но Фредерик уже легонько подталкивал ее к арке, которая обрамляла вход в комнату. — Входите, не бойтесь, здесь нет врагов, — снова засмеялся он, и Нина подумала, что он и, правда, совсем не страшный, а она, скорей всего, просто трусиха и вообще... Что там следовало за этим «вообще», не имело уже смысла, так как музыка прекратилась и на пороге появилась маленькая

девочка в розовом платье, действительно, как фея из настоящей сказки.

— Здравствуйте, — сказала фея, — я знала, что сегодня что-то будет!

Фредерик подхватил ее и закружил, приговаривая: «Моя розовая фея, кто там у нас сегодня, ну-ка, говори скорей!» Девочка смеялась, и было похоже, что она давно знает и человека и своя совсем в доме, но что там происходит и кто там — было как раз не ясно.

Фредерик махнул рукой, приглашая Нину в дом, и они прошли две комнаты, миновали и третью, и вдруг неожиданно перед ними открылась дверь и Нина увидела сидящих людей в большом довольно зале. Даже предположить трудно было, что такое помещение есть в таком с виду уютном небольшом домике. В креслах, на диване расположились по большей части мужчины. Кто-то курил, кто-то слушал, как тихонько наигрывает на рояле молодой довольно человек, и Нина с изумлением подумала, как такое возможно: музыку она слышала еще при входе, а до этого зала было довольно далеко. Но, вспомнив, с кем она и как появилась здесь, вопросы ее отпали, и она решила покориться обстоятельствам. Ну, в самом деле, не сделают же ей здесь плохо! В это хотелось верить и продолжать путешествие по сказке. А то, что она именно в ней, не вызывало сомнений.

При появлении Фредерика возникло оживление, кто-то кивал, кто-то подходил к нему, и он неизменно представлял Нину, говоря, что это женщина очень скоро удивит их и что он приготовил сюрприз. Нина уже и думать не могла, какой в ее лице может быть сюрприз и снова (в который уже раз!) решила, что такая возможность выпадает, может, раз в сто лет, а ей их не прожить, так чего же сопротивляться?!

Была в этом зале всего одна женщина, которая с появлением Фредерика не поднялась, не подошла к нему, а оставалась сидеть в своем кресле совершенно одна. Нина невольно задала себе вопрос, кто эта женщина и кем приходится хозяину дома. А по всему было понятно, что приведший ее мужчина и есть не кто иной, как хозяин дома.

Не пошевелилась она и тогда, когда Фредерик объявил собравшимся, что сейчас они услышат голос, который вряд ли когда-либо слышали, и что он, голос, принадлежит — он указал на Нину — этой милой женщине.

— Послушайте, — зашептала Нина, — я, я не готова, зачем? Что вы собираетесь делать?

— Успокойтесь, — так же тихо ответил хозяин, прикладывая для большего значения палец к губам. — Все будет хорошо.

— Но кто эти люди?

— Вы не забыли, что мы с вами в сказке? Ну, или почти в ней?

— Но я не готовилась, я сразу так не могу...

— Я сказал, что все получится, так и будет! А теперь — вперед! — произнес он уже громко, так, что люди задвигали своими креслами и обернулись к инструменту. По всему понятно было, что рояль для них не был неодоленным предметом просто, что они хорошо знали, для чего он тут находится, раз только что сидел за ним пианист. Молодой человек к тому времени уже поднялся, отошел, и Фредерик подвел Нину к инструменту.

— А кто же мне станет аккомпанировать? Да и кто же может знать мой репертуар?

Снова возник небольшой шумок: мужчины переговаривались, даже шутили, и Нина услышала вос-

кликание: «И для вас это станет сюрпризом. Мы готовы, можно начинать». Нина взглянула на Фредерика, а он уже садился за инструмент, раскладывал невесть откуда взявшиеся ноты, пробовал звук.

— Это что, вы?..

— Удивлены? Прошу вас, не бойтесь, я же с вами, — довольно загадочно сказал он. — Вы любите начинать обычно с арии Далилы из оперы «Самсон и Далила». Нина смотрела на него, ничего не понимая и думая лишь об одном: как не осрамиться и взять первую ноту.

Она взглянула на Фредерика и поняла в ту же минуту, что сейчас начнет петь, но не просто выводить ноты и грамотно исполнять арию, но что вот теперь, буквально сейчас, случится нечто такое, что не может быть проходным. Это нечто заставило биться сердце сильнее, она даже коснулась рукой груди, замерла на секунду всего и начала своим грудным прекрасным голосом звать к тому, кто был ей так дорог. Музыка не звучала рядом с ней, она билась поистине в ее сердце, то замирая, то исторгаясь вновь, и казалось, что тот водопад чувств и страдания, что определял эту арию, вот-вот сметет и саму Нину. А ей уже было все равно: кто играет, кто слушает, так ли правильно она выпевает звуки и все ли складывается удачно. Она думала о другом и пела о другом. Ей не хватало, пожалуй, лишь одного: какого — то совершенно открытого пространства, возможно даже действительно с водопадом, где можно было бы разбежаться и рухнуть с извергающейся высоты вниз. Ее уносил поток совершенно невообразимого, изумительного чувства, с которым она была в полном согласии и дышала слитно, в один вздох.

То волнение, которое испытывала сама Нина, и

тот восторг, которым была она переполнена, передался и публике. Она замерла, и слышно было разве что редкое поскрипывание какого-то одинокого стула, на котором очень пожилой господин уже тоже не мог сидеть спокойно и справляться со своим волнением. Так он и покачивался время от времени, но ничего не разрушалось в самой атмосфере этого сказочного, неожиданного вечера, где правило все что угодно, кроме рассудка и логики. На последних тактах Нина как-то особенно резко выпрямилась, откинула голову вверх и даже сильнее ухватила за край рояля, боясь упасть, наверное.

И в это самое время закончил свою партию пианист, человек или вовсе нереальное существо, которое, тем не менее, прекрасно аккомпанировало и вело саму Нину к финалу исполнения. Все кончилось, в большой зале зависла тишина, и даже стул уже не поскрипывал: было совершенно тихо. Публика молчала, и на какое-то мгновение Нине показалось, что все так и останутся сидеть, никак не относясь к тому, что происходило, к тому, как она пела и как играл Фредерик или кто он там был на самом деле. Однако она не учла одного: люди просто боялись спугнуть то редкостное, то необыкновенно хрупкое настроение, которое воцарилось в зале. Они молчали перед тем, как заплодировать и выразить свой восторг.

Тот мужчина, который все скрипел на своем стуле, поднялся, подошел к ней и склонился в поклоне. Другие хлопали и выкрикивали известное слово вперемежку с неожиданными: «Прекрасно! Восхитительно!» Было ясно, что Нина исполняла превосходно, что ее аккомпаниатор тоже был хорош. И собравшиеся долго благодарили ее за пение. Она же все озиралась, не веря, что состоялся ее дебют, что это именно она

стоит теперь в роскошной зале, где сидят важные люди и приветствуют ее. Больше всего она боялась посмотреть на человека за роялем, и так и стояла, обернувшись к нему спиной.

Однако, когда аплодисменты стихли и люди успокоились, она сделала над собой усилие и посмотрела в его сторону: но его на месте уже не было!

Но вот что странно: не было не только его, вообще ничего не было. Ни роскошной залы, ни гостей, ни... даже рояля. Она одна стояла посреди своей комнаты и в ней, кроме нее самой, никто не находился, было пусто. Неужели это все только привиделось? И ни арии, ни аплодисментов — ничего этого вовсе не было? Как же так? А что же было? Вот эта большая комната, с присущим только ей пряным запахом, который перебивался иногда другим ароматом — то ли цветов, то ли стойких духов, то ли чего-то такого терпкого и неповторимого, что составляло прелесть их с Петром жилища. Откуда доносился этот запах, она и теперь не знала, но то, что он точно есть, — сомнений не вызывало.

Она взглянула в зеркало, которое висело тут же, на одной из стен, и увидела женщину, уже не молодую, но еще привлекательную, еще очень почему-то надеющуюся на что-то. Только вот на что — сказать было трудно. Она припомнила, что только что, как ей казалось, она исполнила арию Далилы, и решила взять первый звук, ноту, с которой возникал призыв женщины, ее мольба, стенания, что там еще?! Звук получился чистым и сильным. Тогда она пошла дальше и уже не осторожничала, а касалась всех нот уверенно и проникновенно — выходило и страстно, и упорительно захватывающе. «Господи, да что же это такое?» — восклицала про себя Нина, уже не в силах

отыскать хоть какой— то ясный ответ на свои сомнения и вопросы. И в ту же минуту она вздрогнула: раздался характерный звук, похожий на звук захлопывающейся крышки, и в комнате возник мужчина, которого она видела совсем недавно, буквально только что. Именно он аккомпанировал ей, смотрел на нее, и, как ей казалось, внушал ей силы, а потом просто исчез. Как и сама зала, и все люди, ее населяющие, и даже рояль. Куда все подевались, она не знала и не могла знать.

— Боже мой, да что это такое? — обратилась она к появившемуся мужчине.

— Вы это о чем? — задал он встречный вопрос.

— Я... я только что пела, а вы...

— И что же я?

— А вы аккомпанировали!

Мужчина засмеялся, да так искренне, так весело, что она на минуту усомнилась в том, что было только что и что было на самом деле.

— Не путайте меня, я и так уже совсем запуталась, — продолжила она. — Что вы тут делаете? Откуда вы?

— Видите ли, я... я, если это вас устроит, тут живу. Можно сказать, проживаю.

— Неправда! Я знаю, что это совершеннейшая неправда. Жить в инструменте невозможно!

— Логично. Но я и не живу в инструменте. Он просто некий путь куда-то. Иногда я и сам не знаю куда.

— Позвольте, но у вас есть дом, семья, в конце концов?

— Семья? Не рассердитесь? Ладно, ладно, мне иногда кажется, что истинная моя семья — это вы и, — он запнулся, — и ваш муж, если хотите.

— Этого просто не может быть! Никогда, запомните это!

— Вы успокойтесь. Почему не может быть? Почему вы решили, что в жизни все раз и навсегда определено и ясно и даже закреплено за какими-то силами, что ли. Там живут, там поют. Но знайте, что все на самом деле не так.

— А как? Как? Что вы такое говорите?

— Вы сколько лет здесь живете? Знаю, не трудитесь объяснять — двенадцать. А самой вам — тридцать три? Арифметика простая: всего двенадцать лет, как вы тайком, как совсем недавно, поете, собираете публику в своем воображении, она неистовствует при вашем появлении, но все это — скорее плод вашей фантазии, воображения. Вы не израсходовали ваши мечты, ваши желания, вот они и лезут из всех щелей.

— Выходит... выходит, что и вы — плод чего— то, но только не реальность?

— Отчасти так.

— Позвольте, ну как же так?

— Молчите, Нина, молчите, прошу вас, вы только все испортите! Я все вам скажу. Не думайте, вы не сумасшедшая и у вас все в порядке. — Он взволнованно заходил по комнате, в то время, как хозяйка дома присела на край кресла и хмыкнула. — Да, представьте, все в порядке.

— Ну, уж нет, не все. Какой может быть порядок, если успешная карьера мужа никак не связана с жизнью жены, то есть с моей, простите, жизнью? Как, я спрашиваю? И тут вторгаются вы, не в первый раз, замечу, ничего толком не объясняете, а списываете на превратности жизни и отчасти потребность в мечте и фантазиях. Так и заиграться недолго. И в психушку путь свободен. Не кажется ли вам?

— Мне кажется только одно. Я скажу, сейчас, погодите. Вы ведь не курите. А ваш муж? Хотя, о чем

это я? — Фредерик улыбнулся, словно попенял на что-то, известное лишь ему. — Видите ли, у меня все есть. Да, в вашем человеческом понимании этого слова. Дом, свита. А еще — ум. Профессия и прочее. Но кое-чего и нет.

— Чего же? Счастья, конечно? — язвительно спросила Нина.

— Не угадали. Нет, не счастья. Я и не знаю, что это такое, с чем его, так сказать, откусать можно. Нет у меня другого, — он замялся, — не догадывае-тесь? Скажу, я все скажу, только успокойтесь.

— Не трудитесь, и так все понятно. Любви у вас нет, вот чего! — выпалила Нина, в то время, когда Фредерик, как ей показалось, дошел уже до точки кипения в своем состоянии и стремлении рассказать, что с ним. — Что, угадала?

— Может быть, может быть, — отчего-то довольно вяло произнес еще страстно аккомпанировавший мужчина, и Нине вдруг сделалось его жалко.

— Я тоже кое-что понимаю в чудесах, — улыбнулась она. — Да вот только недавно одно из чудес произошло и со мною. Ах, да вы и знаете, что это я? И могу предположить, что весь этот то ли бред, то ли ужас — совсем не чудо, а кое-что другое. Ну, совсем другое.

— И что же?

— Бросьте, уйдите отсюда, так всем будет лучше. — Слова ее, сам тон стали резкими, она говорила вызывающе.

— Да я не так уж и утомил вас, надеюсь.

— Не утомили, нет, но вы, мне кажется, сами не знаете, зачем здесь и чего хотите.

Становилось понятно, что инициативу взяла именно Нина и сдаваться не собиралась. Да, она попросту

перешла в наступление и сознавала, что человек, перед ней находящийся, таит нечто странное и одновременно притягивающее. И еще: что именно с ним она испытывает такое, что до той поры ей и не снилось. И эту неотвратимую мысль хотелось прогнать. И в то же время не дать понять, что она заинтригована и что ей крайне любопытно, что за всем этим последует.

— А вы меня, случайно, никуда не пригласите? — снова довольно язвительно спросила она.

— Отчего же, можно и пригласить. Например...

Он не договорил, так как раздался шум и снова произошло нечто странное. Рояль сам по себе, без всякого видимого усилия вдруг изменил свое положение: сам взял и поехал. Недалеко, не стадион же, в конце концов, а так, изменил место положения и встал таким образом, что клавиши вместе со стульчиком оказались в дальнем углу комнаты и словно бы отвернулись от находящихся в комнате людей. Нина быстро поднялась и, даже не охнув, не вскрикнув, схватила газету со стола и резко бросила ее в сторону мужчины.

— Все это мне порядком надоело. Все, можете отправляться восвояси. И где это, мне все равно. И что там с вашей жизнью — мне тоже наплевать. Любовь, не любовь — всё-всё равно.

Она не удовольствовалась газетой, а столь же резко подлетела к двери и распахнула ее. Однако тут вышла осечка: дверь заклинило, и она не желала открываться. Нина прилагала немалые усилия, чтобы дверь поддавалась, однако, все было напрасно, металлическая громадина стояла намертво. Она оглянулась, желая, наверное, позвать Фредерика, но не увидела его в комнате, а услышала только характерный звук хлопнувшей крышки рояля. Она быстро подошла к инструменту, словно надеясь увидеть кого-то, но ни



на клавишах, ни в комнате не было никого! Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появился Петр. В руках он держал большую сумку, доверху набитую продуктами. Он почему-то осторожно оглянулся, словно надеялся увидеть кого-то, но облегченно вздохнул и притянул Нину к себе со словами: «Дома? Я рад. Так мало видимся. Ты как?» — он отстранился, осмотрел внимательно жену и неожиданно заявил: «Сегодня проводим торжественный вечер. Все равно, дома или в ресторане, выбирай сама». Нина молча отстранилась и промолчала.

— Что с тобой? — снова спросил Петр. — Ты здорова?

— Все в порядке. Я никуда не хочу идти.

— Вот и замечательно, посидим дома. Не возражаешь?

— Что-то голова болит. Как там, на улице?

— Да что с тобой, какая голова?

— Давай сумку. Что ты принес?

С этими словами она вышла из комнаты, и только тут Петр обратил внимание на странные преобразования, произошедшие в комнате.

— Нина, — закричал он, — что с роялем? Кто это его перевернул?

— Не знаю, — отозвалась Нина.

Петр подошел ближе к инструменту, потрогал крышку, затем поднял ее и провел рукой по клавишам. Они отозвались несуразным каким-то скрипучим звуком. Тогда Петр напрягся, словно прислушиваясь к чему-то, что сосредоточилось внутри рояля, даже пригнулся довольно близко, но, так и не услышав ничего, резко закрыл крышку и вышел на кухню.

Нина выгребла все продукты из огромной сумки, вызволила кусок мяса и ловко управлялась с ним, наре-

зая небольшими кусочками и обмакивая в соус, который заранее был приготовлен. Этот хлопотный рецепт она привезла несколько лет назад из Аргентины, и прелесть его заключалась в том, что его не нужно было заново готовить всякий раз, но можно было использовать уже готовый. Так он хранился в банке темного цвета, и следовало только открутить крышку, вылить часть его и поддержать в нем мясо, маринуя его всего минут десять. Основу соуса составляли разные ингредиенты, главным из которых был острый перец. Его требовалось из-за резкого, очень острого вкуса совсем немного, он-то и обеспечивал такую долгую сохранность. Перец Нина покупала у одного и того же торговца на одном из рынков города, куда ездила всякий раз из-за множества самых разнообразных отделов на нем, а, значит, и продуктов. Привозил перец узбек, ему можно было верить хотя бы потому, что у него же купленную зру, истинный вид и вкус которой москвичи не знали, Нина оценила сразу: это точно была та самая зра, которую когда-то она попробовала в Ташкенте, когда Петр был на гастролях. Ее добавляли в разные блюда уже перед самым концом готовки, и зра придавала этим блюдам совершенно неповторимый вкус.

Готовить она любила и делала это непринужденно и легко, не считая это чем-то вторичным, зазорным для творческой личности. Творчество, она полагала, можно было выискать везде, было бы желание. А оно было, поэтому в доме всегда имелось что поесть, в особенности вкусное.

На кухне Нине не было равных: она все делала стремительно, причем, без малейших лишних движений. И сейчас мясо уже издавало приятный запах, тарелки стояли, фужеры, бокалы, приборы — все было готово, чтобы посидеть хорошо и непринужденно.

Петр поставил на стол бутылочку какого-то темного напитка и на вопрос Нины «Что это?» только покачал головой. Она спросила: «Крепкое?», — на что он снова покачал головой, не ответил ей, а только налил совсем немного в зеленого цвета бокалы, которые в доме были уже лет двадцать, после его гастролей в Чехословакии. Он обычно не помогал, а только молча наблюдал, как лихо она управляется с хозяйством: режет, жарит, подает. И теперь он сидел, откинувшись к стене, и смотрел на свою жену. Ему казалось, что ее сноровка, легкость, какая-то даже воздушность созданы вовсе не для кухни, что ей место в большом зале, где сидят люди и где она может покорять их своим голосом. А то, что она владеет им, сомнений не было. Оставалось лишь сожаление о том, что все сложилось так, как сложилось, и что его Нина стоит теперь на кухне, а не в зале. И кто же в этом виноват? Он хотел было повиниться про себя, но отчего-то спохватился и решил закончить тут же, не развивая дальше мысли, эту тяжелую для него тему. Что теперь об этом — столько времени прошло! Разве возможно повернуть события вспять? Да и он, разве он смог бы состояться без этих Нининых кухонных изобретений? Кто его тогда отпаивал бы после концертов, снабжал всякими лекарствами, витаминами? Кто покупал бы все, что составляет его дом в нынешнем виде? А одежда, все эти бесконечные причиндалы к ней в виде галстуков, запонок, платочков? Все она, Нина! Он поднял свой бокал с темного цвета напитком и сказал:

— Знаешь, я вот подумал, — начал он, едва не запнувшись, — а хотела бы ты изменить что-то в нашей жизни? Признайся!

— Конечно, хотела! — неожиданно ответила Нина.

— Что же, говори!

— Ну, например, твой характер.

— И с каких же пор он перестал тебе нравиться? — удивился Петр.

— А ты меня никогда об этом и не спрашивал.

— Вот как? И что не нравится? — досадуя на самого себя, спрашивал мужчина. Он-то надеялся, что разговор примет совсем другое направление и будет легким и необязывающим.

— А все! — вызывающе бросила Нина.

Это было тем более неожиданно, что ничего не предвещало каких-то колкостей, а, напротив, только готовность легко и беззаботно пообщаться.

— Нина, ты что? Что ты такое говоришь, какой характер? Тебе же всегда он нравился?

Тут, наконец, обернулась Нина, взяла свой бокал и, не чокаясь, выпила зеленый напиток. «Вкусно!» — сказала она, ставя его на стол и вызывающе глядя на Петра.

— Знаешь, я, пожалуй, напрасно затеяла все это.

— Да что ты такого затеяла, что? — не унимался Петр. — Подумаешь, решили посидеть, выпить.

— Я давно собираюсь тебе сказать кое-что. Да не напрягайся ты так, ничего страшного, — успокоила Нина.

— И что же? — все же напрягся Петр.

— Я ухожу.

— Ты? И куда же, позволь спросить?

— В никуда, скорее всего, — парировала женщина, на что Петр мгновенно отреагировал и смехом и очередной колкостью.

— Ах, это, ну, это не так страшно. В никуда — это иногда даже полезно, даже забавно, я бы сказал. И когда наметила? Не сегодня же?

— Сейчас! — был ответ Нины.

И в это самое мгновение раздался уже вполне знакомый звук и на пороге кухни возникла фигура Фредерика. Был он весел, даже задирист, что сказало в странном его поведении. Так, например, он держал в руках скрипичный смычок, взмахивал им, да еще и напевал те первые такты любимого домочадцами концерта Шопена, который часто исполнял Петр. В конце концов, он сделал пируэт и посмотрел на пару.

— Что, не заладилось что-то? Я вижу, что даже и не напугал вас уже, не так ли?

— Ну, если с такой частотой вы станете появляться и впрямь, то какие уже страхи? — парировал Петр. — Не хотите ли выпить, закусить?

— С удовольствием, — нахально ответил пришедший и уселся за стол.

Петр обреченно смотрел то на Фредерика, то на свою жену и думал лишь о том, что всему, наверное, в жизни есть объяснение. И тут он вспомнил, как однажды, еще в том городе, о котором он тосковал всю свою жизнь, именно там, в их с мамой коммуналке, он на двух стульях и с помощью доски, которую притащил с соседней помойки и на которой нарисовал ноты, смастерил нечто, похожее на инструмент, сел на маленький стульчик и стал играть. Музыка действительно звучала, только этого никто не слышал и не догадывался об этом. Она звучала так сильно, так захватывающе, что становилось совершенно ясно: именно она, музыка, станет самым главным событием его жизни. И еще он запомнил одну деталь. Во время своего выступления в комнате, он услышал какой-то дополнительный звук, но не хотел отвлекаться и оборачиваться, не хотел, чтобы хоть что-то помешало ему. И только когда музыка, ее звуки стали уда-

ляться и в комнате делалось все тише, он понял, с чем связан этот звук. За стенкой их соседка тетя Паша потихоньку отбивала ритм. Странно, но и по прошествии лет он так и не понял: она, что, слышала его музыку или и у нее тоже она звучала? Вопросов он не задавал, но всякий раз, уже потом, когда он устанавливал свой «рояль», в комнате тети Паши тут же раздавался звук. Потом, правда, выяснилось, что тетя Паша частенько лепила пельмени и звук скалки, которой она раскатывала тесто, как раз и сопровождал игру Петра. Но мальчишка об этом не догадывался, да и вряд ли его тогда устроило бы такое объяснение — скалка. Подумаешь, какая проза! Он, бывая впоследствии в Ленинграде, Санкт-Петербурге, все собиравшись зайти в свой старый дом, но что-то всегда отвлекало. И по правде говоря, и сдерживало: мало ли что он мог там увидеть! Мама через пару лет купила все же пианино, и заниматься Петя стал поздновато, не с пяти, как это было принято, а уже с восьми лет. Но это не помешало достичь значительных успехов в карьере пианиста.

И теперь, глядя в окно, он вдруг отчетливо услышал тот старый звук то ли скалки, с помощью которой раскатывали тесто, то ли еще чего-то, что отсылало далеко-далеко, в почти исчезнувшее из памяти детство. Нет, он помнил все, но всякий раз стремился освободиться от пут памяти, так как ничего радостного он не выуживал из той поры. Вечная нехватка денег, стоптанные, хотя и начищенные туфли, «нищая чистота», как говорила его мама, споры с соседями, когда посещать ванну. И в то же время — сплочение людей, даже какое-то их единение. В особенности это проявлялось в праздники, когда места, хотя и не хватало на кухне, зато вдоволь было другого: общего

ощущения праздника. И тогда нарушенная очередность, занятая плита переживались как-то легко, все понимали, что вот— вот грядет самое главное, ради чего можно кое-что и потерпеть.

— А вы где, улетели куда— то? — услышал он уже знакомый голос, принадлежащий Фредерику. — Это хорошо, люди время от времени должны отрываться от земли, от суеты, быта. Правда?

Петр неохотно оторвался от своих мыслей, недружелюбно глянул на мужчину, ничего не ответил и собрался выйти из кухни. Однако ему это не удалось: Фредерик преградил путь.

— Вы что это? Дайте пройти!

— А что вам уходить? Присаживайтесь, поговорим, вы вот как уютно устроились, все приготовили, просто замечательно, — разглядывая сервировку на столе, сказал гость. — Здорово тут у вас! А вы, оказывается, хорошая хозяйка, — обратился он уже к Нине. — Любите готовить? Хотя, что это я? Мне это давненько известно.

Тут не выдержала Нина. Она бросила свои приборы, перестала нарезать овощи, резко повернулась к Фредерику и спросила:

— Вы не на один вопрос не отвечаете, это уже ясно. Но вот, на засыпку, так сказать.

— Давайте, спрашивайте. Я готов!

— У вас есть семья? Ну, жена, дети? Как у всех, словом?

— Я ничего не люблю, как у всех.

— Вот, снова ушли. Вы что же, прячетесь?

— Ни в коем случае. Жена у меня была, живет теперь с другим мужем и в другой стране. Кстати, с сыном. А я? Что ж, я пока один. Но уверяю вас, это ненадолго, — он как-то особенно выразительно посмотрел на Нину. И вы это знаете.

— Ничего я не знаю, да и знать не желаю, — вспыхнула женщина.

— Неправда, знаете, точнее чувствуете. Как, Петр, правильно? Или вы так любите свою жену, что не желаете такими глупостями заниматься?

— Если я что и знаю, то уж вам это знать не обязательно.

— А вот это напрасно! Что за высокомерие? Предоставила вам жизнь редкую возможность повернуть что-то в судьбе, узнать другую сторону жизни, испытать нечто такое, что в реальности недостижимо, а вы и прячетесь. Вы, кстати, частенько это делаете. Как только возникает сложность, неожиданность, вы странно реагируете: предпочитаете вообще, как теперь говорят, не возникать. Не так разве?

Петр вплотную подошел к гостю, схватил его за рукав и, сжав зубы, процедил.

— Я вас убью, понятно? Надоел, черт-те как надоел! Пшел вон!

— Ха— ха— ха! — нарочито громко, театрально как-то засмеялся гость. — А вы мне не указ.

— Неужели?

— Да, я появляюсь, если вы изволили заметить, только когда это необходимо.

— Вы это определяете?

— Не я, а, скорее, вы. Вы и ваша жена.

— А когда я играю, когда репетирую? Причем тут вы, ваше беспардонное появление?

— Ах, как вы недалновидны! Вместо того чтобы хоть что-то извлечь из моих визитов, как-то правильно их понять, вы нападаете и хорохоритесь. Смешно! Вы вообще частенько ведете себя смешно. Слишком уязвимы. Понимаю, трудное детство, необходимость пробиваться сквозь строй талантливых мальчиков и

состоятельных мам. Но что ж так не верить в себя? Вы очень сдали, скажу я вам, — через паузу заключил гость. — Перестали работать, как того требует жизнь.

— Что вы— то понимаете в жизни? Вы кто, реальное существо или так, призрак?

— Вы только что держали меня за руку. Как, живой?

Петр не ответил и снова предпринял попытку уйти. И снова Фредерик преградил дорогу.

— Вы что же, еще не поняли, что вас уже не двое, что я уже поселился здесь. Ну, из деликатности иной раз, конечно, покидаю вас. Но это — пока! — закончил он.

Петр взял со стола бутылку, плеснул из нее в бокал своего зеленого зелья и залпом выпил. Потом сел и откинулся на стуле, как делал это еще совсем недавно. Он не хотел принимать участия в бессмысленном разговоре неизвестно с кем, а потому посмотрел в окно и увидел, что ночь, его любимая пособница в разных делах, давно стоит за его окном и словно прислушивается к тому, что происходит в его доме. От сознания того, что за окном еще есть что-то родное и знакомое, чуточку полегчало, потянуло снова на воспоминания, но он уже не позволил себе думать о детстве, о доморощенном рояле, о своих первых шажочках в учебе. Нет, он вздохнул и расслабился, даже успокоился слегка и как-то незаметно для себя устремился совсем в другое время и другие воспоминания.

Темнота за окном, ему показалось, вошла и в его жилище, но это на сей раз несколько не огорчило его, а только подзадорило: надо же, что совершает с человеком ночь! Сам не знаешь, до чего можно дойти, что себе позволить, куда отправиться и вообще... В этом «вообще» заключался совершенно особый смысл: он

вдруг подумал, что все происходящее — вовсе не плод его воображения, а так, реальность, о которой мечтает чуть ли не каждый человек. Просто не всякий признается в этом, уж точно. Может, этот дядька что-то типа волшебника. А что, верили же в детстве в такое! Взять и принять все как есть? Не барахтаться, не протестовать? Принять и посмотреть, что из всего этого получится. И он неожиданно для себя самого засмеялся. Да так искренне, так заливисто, что те двое друзей, замерли.

— Что это с вами? — участливо спросил Фредерик.

— А мне кажется, — вызывающе бросил Петр, — что вы тоже музыкант. Может, сыграем? Или слабо? Вы как, импровизатор или академист? Что вам ближе? — подначивая прищельца, говорил Петр, протискиваясь между ним и дверью. — А вы ничего, садитесь, будьте как дома. А что я, вы и без приглашения уже в нем. Вперед! Так как, идете? — И он вышел, наконец, из кухни.

Снова раздался странный треск, и снова Нина оказалась вблизи дома, уже известного ей. Но теперь была ночь, так же, как и в той, настоящей жизни. И особенность этой ночи заключалась в том, что она словно вобрала в себя все звуки, шорохи, и тишина потому стояла абсолютная. Такая непостижимая тишина, что казалось, не было больше в этом мире ничего: ни людей с их проблемами, ни зверей, ни ветра и шума деревьев — все замерло. Как замерло и то чувство, которое слегка приблизилось к женщине, но, чего-то неожиданно испугавшись, отпрянуло, и сама Нина уже толком не знала, что это было. Ощущала лишь одно: полнейшую тишину и неведомое прежде чувство покоя. Она даже оглянулась, ища подтверждения своим предположениям: но нет, Фредерик, вер-

нее, его силуэт находился совсем близко, и вот тут-то она, наконец, уловила его дыхание. Оно было совсем близко, настолько близко, что она уже ощущала прикосновение его волос, лица, а затем и губ. Объятие его было столь сильным, что не было ни какой возможности ни пошевелиться, ни вскрикнуть — ничего. Она просто поддалась странной силе, исходившей от этого человека, и замерла сама, не противясь и не думая больше ни о чем.

Так они стояли какое-то время, потом он произнес:

— То, что вы сейчас увидите, пусть не пугает вас. Это все — в вашу честь. Готовы?

Нине уже было почти все равно, что должно было случиться, что произойти. Она едва сознавала, и где находится, и что происходит. Главное — она не боялась ничего. И даже успела подумать, как это хорошо, вот такая надежность и защищенность. Давненько это чувство не посещало ее. Все всегда делала, подготавливала, договаривалась она. И едва не забыла, что она-то и есть самая настоящая женщина и так хочется хотя бы иногда быть слабой.

А между тем они входили уже на крыльцо, незнакомый человек принимал пальто, откуда-то появившееся на Фредерике, помогал Нине освободиться от сумки, шарфа, тоже неизвестным образом оказавшегося на ее плечах. В огромном холле было довольно темно, но когда они миновали уже знакомое ей пространство, то оказались снова в большом зале, где на этот раз никого не было, только стоял рояль с откинутой крышкой, и было слышно, как где-то, совсем близко, мерно тикают часы. Она повернулась и увидела, что в углу залы на полу действительно стояли темно-го цвета часы, верх их был овальный, циферблат большой и светящийся, и казалось, что и они поддержива-

ют сказочную линию. А то, что все происходящее походило на сказку, не оставляло сомнений.

— Присядьте, — уже совсем по-другому произнес Фредерик. Не так отстраненно и не в качестве только хозяина, но чуть ли не как собственник, человек, имеющий право распоряжаться и в доме, и этой женщиной. — Не тушуйтесь, — говорил он на ходу и при этом подносил какую-то большую палку, наверное фитиль, и при этом зажигались фонари. Не обычные электрические светильники, а именно свечи, пламя от которых точно говорило о том, что они самые настоящие и что здесь принято именно так. — Присядьте и давайте поговорим.

— Господи, мы только и делаем, что говорим.

— А вы и вправду дела хотите? Так извольте! — и с этими словами Фредерик что-то шепнул стоящему тут же человеку, скорее всего, слуге или дворецкому, и возник великолепно сервированный стол, на самом дальнем конце которого сидел еще один человек, который, не обращая внимания на пару, усердно жевал. Был он стар, очень приятен собой, но вот что странно — он и вправду не обращал никакого внимания на пришедших.

— А кто это? — спросила Нина.

— Кто? — засмеялся Фредерик. — Не бойтесь, никто вас здесь не обидит. Давайте я вам положу кое-каких яств.

— И все же? — не успокаивалась Нина.

— Позже, немного потерпите.

— А где та маленькая девочка? — снова задала вопрос Нина.

— А-а, да, вы правы, есть тут такая. Ангел, почти ангел. Она уже спит. Вы же заметили — ночь на дворе.

Да уж, это точно Нина заметила. Еще как замети-

ла. В особенности тишину. Она села, но не к столу, а на соседний диван, и в это самое мгновение пожилой мужчина поднял голову и произнес, причем так, словно все они тут были давно и хорошо знакомы:

— Ночь сегодня особенная. В такие ночи что-то должно случиться.

— Что же? — спросила Нина.

— Что? — как-то неопределенно хмыкнул пожилой господин. — А то, что оборвется что-то. Или жизнь, или вообще...

— Да что вы такое говорите? — испугалась Нина. — Какая такая жизнь?

— Ну, видите ли, жизнь — это ведь не только физическая оболочка. Она — это еще и некая ирреальность, мечта, выдумка, просто нечто сказочное. Не находите? Вас, кажется, Ниной зовут?

— Ниной, — кивнула гостья в явном замешательстве. — Так что, вы говорите, может случиться?

— А на первый, на самый видимый взгляд — и ничего вовсе. Но это так, на первый. На самом же деле все произойдет именно сегодня! — заключил пожилой господин, допивая свое вино.

И действительно, почти тотчас раздался звук, и сомнений не было: это был выстрел. Закричала женщина, на лестнице послышались чьи-то шаги, все вдруг в доме пришло в движение, и казалось, что та благодатная атмосфера, что еще недавно опутывала это великолепное жилище, мгновенно разрушилась и создано нечто, похожее на хаос. Нина застыла, не в силах произнести ни слова. Пожилой господин, однако, только слегка изменился в лице, но не поднялся, не задал вопроса, и лишь Фредерик улыбнулся, потер руки и произнес:

— Ну, все, кажется, началось!

— Что, что это? — воскликнула Нина.

— Да не волнуйтесь, все идет своим чередом.

— Скажите же, что здесь происходит? И где та девочка, может, за ней следует пойти?

Фредерик быстро подошел к Нине, взял ее за локоть и заговорщически сказал:

— Все хорошо, нечего бояться. Все живы, ну, или почти все, — засмеялся он.

— Что, кого-то убили? — не выдержала Нина.

— Ну почему же сразу — убили?

— Но все же слышали, все! — не отставала Нина.

— А не спеть ли вам? — снова ехидно улыбаясь, задал свой вопрос Фредерик.

— Бесчувственное вы существо! Вам что же, все равно? Хотя бы пройдите, посмотрите, ну, пожалуйста!

— Ладно, ладно, да только и так все известно! Вам бы следовало подготовиться!

— Но почему, что такое? — еще больше заволновалась Нина. — Кто это и почему вы так спокойны?

Вместо ответа мужчина высокого роста и непонятного происхождения подошел к роялю, довольно резко откинул крышку и взял первые аккорды. Звучал известный Нине легкий, насыщенный какой-то горечью этюд Шопена, который ее Петя исполнял множество раз. И именно в это мгновение она ощутила непонятную тревогу, беспокойство, ей показалось даже, что она знает, почти знает, что именно произошло. Она стремительно поднялась и, не оглядываясь, побежала по направлению к лестнице. Туда она взлетела мгновенно, и, не разбирая комнат, коридоров, многочисленных поворотов и колонн, оказалась в месте, которое заставило ее сдержать шаг и остановиться.

На полу, широко раскинув руки и запрокинув го-

лову, держа в руке крошечный листочек нотного листа, лежал ее Петр. Вскрикнув, она бросилась к нему, все время проговаривая его имя и спрашивая, жив ли он. Однако ответа не было, и Нина закричала так громко, что звук, столкнувшись с высотой колонны, задев ее, оттолкнувшись затем, слетел и достиг всех помещений этого странного дома. «Кто-нибудь! Кто-нибудь, идите скорее, скорее!» — взывала Нина, теребя тело мужа и прикладывая голову к его груди. Но в ответ он не произносил ни слова, не шевелился, а только все более бледнел, лицо заострялось прямо на глазах, и Нина увидела, наконец, кровь, в которой испачкалась сама и которой было довольно много.

«Сюда, ну кто-нибудь же!» — кричала женщина, не в силах оторваться от лежащего человека. Но вот что странно: никто не шел, и Нине пришлось бегом снова лететь вниз, перескакивая через несколько ступенек. Лицо ее было мокрым и красным, волосы разметались, она смотрела вперед, но ничего, казалось, не видела, а только искала глазами кого-то, кто мог бы помочь или хотя бы откликнуться. «Помогите», — чуть ли не обреченно сказала женщина, обращаясь в пустоту, в ту залу, где еще только несколько минут назад стоял рояль, за которым Фредерик играл Шопена, в дальнем конце стола сидел странный господин, возвещавший о чем-то таком, что в те минуты казалось безумием.

А вот надо же, случилось! Случилось то, о чем и помыслить-то было невозможно. «Но как же так, — металась Нина, — что делать, и почему никого нет?» Она побежала в соседнюю комнату, снова позвала на помощь, но и там никто не откликнулся: комната была пуста. Она носилась по огромному дому, все еще надеясь кого-то встретить, а потом ее осенило: телефон!

Надо немедленно звонить, чтобы приехал врач. И точно, в коридоре, в самом неприметном месте, она обнаружила телефон, схватила трубку, но набрать номер не смогла: там что-то скрипело, шелкало, и было понятно, что телефон не работает. Она в сердцах швырнула трубку и побежала дальше, уже в сад, так как именно там видела человека в широких синих штанах, который подрезал розы. Скорее всего, это был садовник. К нему-то она и устремилась. И даже снова закричала: «Помогите!» Но и на этот раз никто не отозвался, и когда она чуточку приостановилась в своем неистовом беге по саду и вокруг дома, то поняла страшную вещь: никого, ну, просто совершенно никого здесь не было. Только она одна и настораживающая тишина, которая словно и не замечала ни воплей женщины, ни самого страшного события: она просто мирно спала в ожидании чего-то такого, что подвластно было только ей.

В полном изнеможении она вернулась в дом, поднялась по лестнице и замерла: тела на месте не было! Нина опустилась прямо на пол, провела зачем-то рукой вокруг себя, словно желая убедиться, что все, что она видит, происходит на самом деле, но никаких следов крови, которой всего полчаса назад было так много, ни самого тела Петра, ни вообще каких-либо признаков жизни в доме не было. Свистящая тишина, которая, казалось, уже материализовалась и стала почти что слышимой, только одна она все более и более настойчиво наполняла пространство, и становилось жутко от этой пронизывающей, все подчиняющей себе тишины. Да и была ли она на самом деле столь молчалива и безропотна — вот что? В ней Нине чудились какие-то такие звуки и шорохи, колебания воздуха, что от этого мирного покоя, разлитого вокруг, становилось жутко.



Она все сидела на полу, раскачиваясь медленно и словно в такт едва уловимым колебаниям то ли ветра, то ли туч, которые спускались все ниже. И скоро от прелестной погоды, хрупкого аромата, наполнявшего все вокруг, не осталось ровно никакого следа: рванул дождь, тишина отступила, и стало казаться, что порывы сильного ветра и еще чего-то такого, что внедрялось, вступало в дом, а там расползлось и пряталось неизвестно где, уже неостановимо и бесповоротно, что наступил если не конец света, но что-то, очень близкое к нему!

Она подняла голову от внезапного вопроса, который услышала сквозь пелену, окутавшую и ее саму и все пространство.

— Что это вы тут сидите? Не замерзли? Вон ведь, какой ветер!

Это говорил Фредерик, она поняла по особым интонациям, ироническим и колючим. Но головы не подняла. А только сделала попытку подняться, но не сумела и лишь слегка изменила позу.

— Я кричала, звала, но никого не было. Здесь был Петр.

— Какой Петр, о чем вы?

— Здесь был Петя, я видела сама и видела кровь, как вы не понимаете?

— Помилуйте, ну откуда здесь взяться крови, тем более вашего Петра?

— Вы что же, и выстрела не слышали?

— Чего? Выстрела? Нет, конечно!

— Лжете! Все вы слышали! Да сами, небось, и стреляли. Это вы его убили. Зачем, что он вам такого сделал? Что?— она снова попробовала подняться. И мужчина, наконец, нагнулся и помог ей встать.

— Ну вот, так значительно лучше. Успокойтесь,

никакого выстрела не было, все живы, можете в этом удостовериться сами. Хотите позвонить вашему мужу?

Как же она не подумала об этом раньше? Конечно, конечно, — думала она и набирала номер Петра. Однако отстраненный голос отвечал, что абонент недоступен и что лучше позвонить позже. Позже? Позже чего? И что еще следует ждать здесь, в этом странном доме?

— Где мой муж, отвечайте, его номер молчит.

— Ну, что за сложности! Так ответит после, но непременно ответит!

— Я еще не сошла с ума. Я слышала выстрел и видела тело, и это был мой муж. Звоните в полицию!

— Ха-ха-ха! В полицию? Вам и, правда, плохо! Идемте, я помогу вам лечь. Вам надо умыться, привести себя в порядок.

— Не хотите? Тогда я позвоню сама.

— Но вы ведь, кажется, уже пробовали сделать это? Или мне показалось? — Он снова ехидно улыбнулся, уверенно взял Нину под руку и повел ее в другую комнату.

«Боже мой, ну как он мог это знать, откуда? Там никого не было», — размышляла Нина, пока Фредерик подводил ее к креслу и усаживал. И тут она увидела в окно, как по двору, прямо к главному входу, не спеша идет полицейский и обмахивается своей синей фуражкой. «Как он мог узнать, ведь никакого звонка не было!» — снова в смятении подумала Нина, пока тот звонил в дверь и — надо же — кто-то и открывал ее! Но ведь какие-то минуты назад не то что никого не было, двор и дом буквально вымерли! Чудеса!

А между тем полицейский уже ходил по дому, заглядывал в какие-то только ему видимые щелочки, осматривал главную комнату и, наконец, сказал:

— Кто, кроме вас, — он посмотрел на Нину, — слышал выстрел?

Нина изумленно смотрела на грузного мужчину, держащего в руке свою синюю фуражку, и думала лишь о том, что здесь вообще происходит. А самое главное — где теперь Петя. Жив ли он? О тайнствах и чудесах она уже не беспокоилась, даже было странно думать о происходящем, как о действительно реальных событиях. Но вот о самом страшном и о последствиях этого страшного — да, думала. Понять что-то, разобраться в происходящем было не под силу, и она отбросила всякую надежду на хоть малейшее объяснение о природе всех поступков, но одна-единственная мысль точила непрерывно: где ее Петр?

А человек с синей фуражкой продолжал:

— Где вы находились в момент выстрела? — обратился он к Нине.

— А разве вам известно, что именно я слышала этот выстрел?

— Мадам, — почему-то полицейский перешел на международное обращение, — вы находились там? — и он указал наверх.

Нина кивнула, и полицейский стал подниматься по лестнице. Во все время его присутствия Фредерик находился тут же. Он стоял, облокотившись о косяк двери, и внимательно рассматривал что-то на своей руке. Тот господин, которого не было и в помине, когда бедная Нина носилась по дому в поисках хоть кого-то, преспокойно сидел все на том же краю стола и раскладывал карты. Трудно сказать, был ли это пасьянс, но что-то он с ними мудрил.

Полицейский без всякого приглашения опустил-ся, наконец, на стул, все так же держа в руке свою синюю фуражку, и долго молчал. Затем обернулся к

Фредерику, внимательно посмотрел на него и неожиданно заявил:

— Мне кажется, вы один знаете, и что стряслось, и кто к этому приложил руку. Не так ли? — он переложил фуражку в другую руку и снова потрогал свой затылок. Характерный этот жест свидетельствовал о чем угодно, может быть, даже о некоторой нерешительности. Однако сами вопросы, тон, которым они задавались, — все говорило о том, что человек знает нечто такое, о чем пока не собирается говорить.

— Меня вообще здесь не было, — нисколько не смущаясь, ответил Фредерик. Его невозмутимость явно не понравилась полицейскому, и он, опустив голову, стал снова теревить свой головной убор.

— Странно, — протянул он. — Хотя... Знаете, мне кажется, так и должно быть, — неопределенно сказал он.

— Что же именно, что? — несколько напрягся хозяин дома?

— Ну как же? Не станете же вы вот так сразу бросаться на пол и говорить, что такое вас сподвигло на подобные действия. Или кто? — и полицейский поднял палец вверх.

— Во-первых, меня действительно не было, а во-вторых...

— Что же, продолжайте. Кстати, вас, кажется, Нинной Петровной зовут? Так вот, где был, не помните, этот господин, когда раздался выстрел? И вы, лично вы, сами видели, был ли в этот момент хозяин здесь, внизу?

Нина слегка оторопела от количества вопросов, однако, собралась с мыслями и неожиданно сказала:

— Фредерик был здесь, внизу, и выстрел он точно слышал. Но только...

— Что, что «только», говорите?

— Он мог и вбежать наверх моментально, и там все это устроить. Я в последний момент отвлеклась.

— Что же вас так отвлекло?

— Этот господин за столом, который с картами. Но его потом, потом, когда я искала хоть кого-нибудь, почему-то на месте не оказалось. И вообще все куда-то подевались, все! Весь дом был словно мертвый.

— Тогда расскажите, что же именно вы видели. Действительно это был ваш муж?

— Конечно, — запальчиво сказала Нина, — кто же еще? Да и помешать он мог только одному человеку.

— Кому же? — уже наверняка зная ответ, задал вопрос полицейский.

— Вот ему, то ли человеку, то ли... Я ничего уже не знаю и понять не могу. Мне страшно. Страшно и холодно. И я не знаю, где мой муж? — громко говорила женщина, кутаясь в плед и все больше вжимаясь в кресло.

— Успокойтесь, все скоро поправится, уверяю вас, — довольно мягко сказал человек в форме и почему-то встал, подошел к Фредерику и заявил:

— А вас, молодой человек, мне придется арестовать.

— Что ж, попробуйте, — улыбнулся Фредерик и в ту же минуту раздались мощные, какие-то сверкающие звуки рояля, за которым никто не сидел. Но клавиши двигались, и было ясно, что все происходящее, так напоминающее жуткий сон, продолжается и к этому имеет отношение этот господин, который был способен как появляться, так и исчезать в одно мгновение.

Подойдя почти уже вплотную к Фредерику, полицейский изготовился надеть на него наручники, как в

одно мгновение язвительный хозяин снова, как уже случалось не раз, исчез. Его попросту не было, а стало быть, и арестовывать тоже некого было. Полицейский оглянулся, нелепо замешкался, но делать было нечего: в комнате оставалась только женщина и снова неизвестно когда возникший пожилой человек в конце стола.

— Чудеса! — заключил человек в форме и неожиданно задал вопрос Нине. — А когда вы бежали, как говорили, по дому и по саду, вам никто не попался на пути? Совсем никто?

— Только садовник, он подрезал, кажется, розы. Готовил, видимо, их к зиме. Сад большой, — почему-то добавила она, — большой и ухоженный, там негде, наверное, спрятаться, все на виду, ничего лишнего.

— Так, значит, только садовник? — уточнил полицейский.

— Да. И еще. Именно в это время почему-то все исчезли. И хозяин, и этот господин, все, — заметила Нина.

Тогда полицейский подошел к столу, зачем-то потрогал его, обошел его почему-то вокруг и присел совсем близко к человеку, которого события, происходившие в доме, словно и не касались.

— Чем занимаетесь? — спросил он.

Человек за столом не сразу откликнулся на вопрос, а еще какое-то время все рассматривал карты. И только спустя несколько минут, наверное, ответил:

— Я? Да я и не уходил никуда отсюда. Сидел вот, размышлял, думал о бренности всего живого. Мне, правда, почудилось, что вот-вот что-то случится. Довольно скоро. А что, уже случилось? — задал он просто душно вопрос и был при этом спокойным и даже невозмутимым.

— Позвольте, — не унимался полицейский, — о какой брэнности вы тут размышляли, если в доме стреляли и эта милая женщина видела на полу своего мужа?

— Мужа? У нее есть муж? — совсем удивился странный господин.

— Есть, вернее, был, — поправился человек в форме. — Но всякое может быть, не правда ли? По крайней мере, мы его, то есть, труп пока не видели. А вы? — обратился он снова к пожилому господину. — Вы что можете пояснить? Вы видели кого-то, кто лежал бы на полу? И выстрел, слышали его?

— Да что вы такое говорите, — совсем рассердился мужчина за столом. Я вообще ничего не слышал. Но это не означает, что ничего не было. Может, кто-то в кого-то и стрелял, я не берусь это оспаривать или утверждать.

— Понятно, — раздосадованно сказал полицейский. — Значит, сидели здесь, но ничего и никого не видели и не слышали.

— Точно так, — радостно согласился мужчина.

— Прошу вас, назовите ваше имя.

— А зачем вам? — снова довольно простодушно сказал человек с картами.

— Вы мне тут не ломайте комедию: не слышал, не видел. Отвечайте, если вас спрашивает представитель власти.

— Да, пожалуйста, что мне! Мое имя — только не смейтесь — мое имя, — снова повторил он, — Мендельсон Григорий Петрович. Да, — добавил он, — кажется, так. А может быть, Григ Иван Натанович. Я точно не помню, забыл, знаете ли.

— Ну, это уже черт-те что! — запальчиво воскликнул чин с фуражкой. — Отвечайте, я вам говорю, а лучше вообще дайте ваши документы. Живо!

— Я с превеликим удовольствием, но только вряд ли они отыщутся. Им же почти сотня, а то и больше лет. Да и куда я их подевал, точно не помню, уж не обижайтесь.

— Шутить изволите? — подозрительно спросил мужчина с синей фуражкой. — Вы что же думаете, мы, если полицейские, то и юмора у нас нет?

Пожилой господин с неподдельным изумлением уставился на спрашивающего и, немного помолчав, ответил:

— Тут вот какое дело. Это было еще не этой осенью, ну, может прошлой или в том столетии, не знаю. Да только садовник оставался все тем же, все свои розы подрезал. Правда, летом я толком и не видел, как они цветут да и случается ли это цветение. Ну вот, я и говорю. Да, о чем это я? Нет-нет, не арестовывайте только, я знаю, как это неприятно. Хотя я живу столько, что мне уже все равно. Но и мне жить еще хочется. Вам вот хочется? Ага, молчите, значит, хочется. И вот осенью тогда, — он снова замялся, словно вспоминая, когда и вправду это было, — той осенью действительно убили одного пианиста. Он был очень талантливый. Талантливый и известный. И кому-то это очень не нравилось. Представляете, он сидел за роялем, играл маленький, очень изящный этюд, кажется это был Шопен, право, забыл уже, и вдруг бабах! А он, он еще посмотрел в зал удивленно как-то, качнулся и рухнул. Так только рука одна и осталась на ножке рояля лежать. За что, спрашивается? А все за одно — за талант. Это вам что-нибудь говорит? А жаль, талант, он всегда уязвим.

— Согласен, но какое все это имеет отношение к нашей истории, господин Григ? Или Мендельсон? Вы не вспомнили?

— Нет, по-моему, я ошибся, и никакой я не Григ, тот жил много раньше, а я не такой старый все же. Мне кажется, я все же Моцарт, такой, каким мог бы быть тот, который погиб так нелепо и в таком молодом возрасте. Все они опять, интриги.

— Ну, это уже никуда не годится, — оскорбился явно полицейский. Наверное, ему стало жалко Моцарта, глядя на этого старого человека, перебирающего карты. — Моцартом вы быть точно не можете, да это уже и не важно. Мне многое становится понятно. Скажите, вы завидовали человеку, который только что, совсем недавно стоял вот тут и улыбался? А он, как вам кажется? Он завидовал кому-то или, может быть, ему кто-то мешал?

— Вон куда вы клоните, — хитро улыбнулся мужчина без имени, или, по крайней мере, без того имени, которое дано ему было когда-то. Не могу знать. Но известного пианиста Петра, которого я здесь мельком успел заметить, я знал. Да и кто ж его не знает! Он проходил, я точно, точно сейчас вспомнил, и поднимался вверх.

— Стоп! И что было потом? Говорите, скорей говорите, господин историк.

— Что? Какой я вам историк? — всполошился господин, который явно не желал присоединиться к стану людей, все вынюхивающих, узнающих, сопоставляющих. У него была своя стезя и свое видение жизни, и именно поэтому он не желал ни помнить, ни произносить свое точное имя. Понятно было лишь одно: музыка была для него делом особенным, не посторонним, как, впрочем, и всем в этом странном доме. — Нет, уважаемый, — с достоинством добавил он, — я не историк, хотя об историях и истории много чего знаю. Но знаю по-своему, не как эти архивисты, черви пыльные. Я

знаю, что такое талант, как им распоряжался его владелец, чем кому насолил и что за это получил. Все!

— И кто, по-вашему, здесь талант? — развел руками полицейский.

— Он! — почему-то поднял палец вверх господин музыкант, забывший имя свое.

— Кто? — с ужасом спросил полицейский, чья мысль явно двигалась по шаблону. И он даже подозревать не мог, что имеет в виду на самом деле этот господин. Или кого. А тот имел в виду конкретную живую личность, по крайней мере, еще недавно живущую и музицирующую.

— Венцлов, всего лишь Венцлов. Его звали Петр. Он был великий музыкант. Однако и ему завидовали, да еще как! И я даже знаю кто, — хитро улыбнулся любитель музыкальных историй.

— Но почему вы говорите о нем в прошедшем времени? — задал вопрос чин с фуражкой.

— А потому что потому, — снова поднял свой палец господин за столом и неожиданно замолчал. — Все, больше — ни слова. Дальше — тишина. Пьеса еще такая была. Кажется, в прошлом веке.

— Послушайте, я сейчас отвезу вас в участок, и там вашу память живо освежат. Согласны?

— Я же сказал: больше ни слова.

— Собирайтесь, — строго сказал полицейский, поднялся, снова огляделся и, не увидев Нины, спросил, куда она подевалась.

— В сад пошла, ей садовник приглянулся, — съязвил Моцарт.

— Всё, разговоры прекратить, поехали, — заключил чин, надевая фуражку, и почему-то отвлекся, глядя в окно. — Такая осень, теплынь, лето можно сказать, а тут такие дела. Все, поехали, финита.

И в ту же самую секунду на пороге возник Фредерик, и стоял он так, словно и вовсе никуда не отлучался. Он по-прежнему довольно ехидно улыбался, поглаживал свои волосы, вот только костюм на нем на этот раз был не серый, а какой-то странный. Блуза из холщовой ткани была помята, измазана красками, и казалось, что он только что бросил кисть. Не доставало только берета. Но и он откуда-то возник, во всяком случае, именно им Фредерик вдруг стал обмахиваться прямо перед носом полицейского.

— Действительно, жарко, почти лето. Как же хорошо в саду. И пишется замечательно! — мечтательно протянул он.

— Послушайте, вы где были? Вас же не было?

— Бросьте, вот он я. Вы плохо искали. Хотите, я вам сыграю? — внезапно предложил Фредерик и без всякого согласия подошел к роялю и открыл крышку. Но сам не сел к нему, а почему-то примостился рядом и даже голову приложил к большой черной его спине и замолчал. Молчали и остальные, пока вдруг не раздался голос, который закричал: «Вот он, скорее сюда, он здесь!»

— Так это же Гриф, он всегда так кричит, если что случается, — снова заговорил пожилой мужчина. — Это садовник, точно. Идемте, уж там-то точно что-то случилось!

Полицейский вскочил, быстро подошел к окну, на ходу задавая вопросы:

— Гриф, это что же, имя человека или птицы? Грифы, они же... они большие и водятся... словом, только не у нас.

— Конечно, не у нас, — отвечивал Фредерик, мы же не в Африке. И потом, наш садовник несколько не похож на них, он не кровожадный. И па-

далью не питается, замечу. Так что поспешим! — воскликнул мужчина, на ходу поправляя свою холщовую куртку.

Во все время этих объяснений, и с пожилым композитором неизвестного времени и имени, и с Фредериком, прекрасная женщина, которую звали Ниной, как-то незаметно вышла в сад и оставалась там, ища в его спокойствии и невозмутимости поддержки и успокоения. Она ходила по аккуратно прибранным тропочкам и дорожкам, а сама думала вовсе не о происшествии, а о том счастливом времени, которое ушло давно и безвозвратно. Когда это она жила в прелестном городе, где все было легко, все возможно и никто ничего не боялся? Когда это было и было ли?

Она вспомнила маму с ее вечными сумками, которая тащила их тоже весело и непринужденно и никогда не сетовала ни на судьбу, ни на что-то еще. Правда, была ли она счастлива? Одной делать все и вся, работать и не уставать! Или так казалось лишь Нине, которая росла в этом беззаботном времени семидесятих годов, когда еще была жива надежда людей и на построение чего-то светлого и счастливого и все было определено наперед: и отпуск, и доходы, и место работы и учебы. И никто не болтался в поисках чего-то непонятного и зыбкого, толком не зная, что ждет завтра и наступит ли вообще это самое завтра. Была прелестная ясность, о которой теперь можно было только вспоминать с ностальгической болью.

Жили они под Ленинградом, в маленьком городке, а потом Нина, поняв, что без пения не может существовать, поехала в город, как они говорили, и легко поступила там в консерваторию. До этого успела закончить музыкалку, общеобразовательную, ходила в коллектив, который по старинке назывался «круж-

ком» и где действительно вышивали и кружком, и ришелье, гладью, крестиком и где учили еще попутно домоводству и многим полезным вещам. Они потом, во взрослой Нининой жизни, очень ей пригодились. И даже в ее московской нынешней квартире висели еще с тех времен две вышивки, на которых были запечатлены картинки из детских сказок. На одной — Машенька, несущая пирожки, на другой — Зайчишка, грызущий морковку.

Петр не возражал в крапление в их изысканный интерьер такого наплыва детской тематики, выполненной к тому же детскими руками. Ему Нина была дорога во всех своих проявлениях, а уж к детству ее он питал особую любовь. Она и по сей день бралась порой за вышивание, но все готовые изделия отвозились на дачу и раскладывались там.

Остановившись под большим, с еще не осыпавшимися окончательно желтыми листьями деревом, она прислонилась к нему и снова вспомнила, как в ее Гатчине любили они вот также собираться под большим деревом, даже и находили, где на нем можно было присесть и рассказывали вслух бесконечные свои истории.

На глаза ей попался цветок, который почему-то рос совершенно одиноко, изолированно от грамотно расположенных газончиков, грядок, розария, цветников. Отчего это, она не знала, но только в эту минуту услышала над собой голос. Он показался ей знакомым, но эта скорая мысль только мелькнула и мгновенно покинула ее. Было уже совсем неважно, знаком или нет, а важно то, что он говорил.

— Это только начало испытаний. Выдержишь ли? Если да, то запоешь снова, да так запоешь! А если нет, то... — Голос, явно принадлежащий женщине,

вдруг как-то поник, словно тот цветок, который рос рядом, снова возникла, словно живая и осязаемая, тишина, а потом наступил финал.

— Как я устала, кто бы только знал! — неожиданно сказала Нина. — От всего: от Петра, от муки жить с ним, его капризами, даже от себя самой. От всего. Я даже не знаю, кто вы, да это уже и не важно. Столько всего произошло! Я даже не знаю, где Петя, что с ним...

— Да жив ваш Петя, жив, успокойтесь. Только не все сразу. Увидитесь еще. А может, еще и пожалеете об этом.

— Почему пожалею?

— Да хотя бы потому, что живете в мире иллюзий!

— А вы разве не из этого мира?

— Я? Я-то конечно. Но вы-то в этом. Что же еще?

— А кто такой Фредерик?

— Ой, ну вы даете! Я-то думала, что вы спросите о муже... а что, нравится? Понятно, — вздохнув, протянул голос, принадлежащий, как видно, женщине. А, может, кому-то еще. Кто ж это знает?!

— Этот человек? Ну, может, и нравится. Только не знаю, кто он и что он такое.

— А стоит ли знать, стоит ли, скажите, все и всегда достоверно знать? Что от этого меняется? Все равно мы жаждем, нет, вы жаждете чуда.

— Я уже ничего не жажду, я даже не знаю, чего хочу.

— Вот! Вот в этом-то и дело! А хотеть, хотеть надо. Как говаривал ваш Станиславский, жить в предлагаемых обстоятельствах, но и о жизни человеческого духа говорил. А это поважнее всего будет, не находите?

— Я нахожу лишь одно: разговор этот бесполезен.

— Согласна, но только с одной оговоркой.

— Какой?

— Все вообще-то бесполезно, все есть игра или приближение к ней. Все вы играете во что-то, с кем-то, зная ее правила или игнорируя их — все равно. Она, только она, движет вами, больше ничего! Да и нечему больше быть, разве не так?

— А что, тот выстрел, который явственно слышали все, просто разбежались кто куда, да и тело Петра там, наверху, какая тут может быть игра? Глупости! Ой, ладно, устала, я, правда, устала. Пойду, оставайтесь с вашими чудесами, а с меня хватит.

— Минутку! Остановитесь! Этот мужчина, что вам так нравится, он принесет вам все: и радость, и горе.

— Откуда вы это можете знать?

Послышался смех и, как ни странно, удаляющиеся шаги. Они звучали вполне явственно, их нельзя было спутать ни с чем. О действительно, принадлежали женщине. Ну, мужчины просто так не ходят. На какое-то мгновение они затихли, словно, человек сделал остановку, перестал шагать, и снова Нина услышала:

— Красивый сад, не правда ли? А Петя ваш, он еще не скоро появится. Если, конечно, появится, — добавил голос, снова усмехнувшись.

Нина так и осталась стоять, словно ее пригвоздили к одному месту. Стояла и не могла сделать ни шагу, все смотрела вслед удаляющимся, судя по скрипу на песочной дорожке, шагам и смотрела куда-то сквозь кусты.

И снова появился, возник неизвестно откуда он. И снова улыбался своей совсем не доброй улыбкой. И в руке держал что-то, похожее на прутик, а, может быть, хлыст. Был он уже совсем иначе одет: без холщовой рубашки, без головного убора. А под стать пого-

де в мягком светло-фиолетового цвета коротком пальто, на шее был шарф в тон цвету пальто: с едва заметной долей малины или яркой свеклы. Словом, стильно, хорошо одет. «И когда это он успевает переодеться?» — подумала Нина, а Фредерик готов был уже отвечать:

— Не удивляйтесь, я люблю, как вы изволили, наверное, заметить, различные перевоплощения. Да и погода не для прогулок в рубашке, и рисовать нынче не хочется. А вы, кажется, тоже рисуете или рукодельничаете?

— Вы не видели Петю? — игнорируя вопрос, задала свой Нина.

— Помилуйте, его здесь не было, да и не могло быть! — воскликнул Фредерик.

— Что вы такое говорите?! Я лично видела его тело там, наверху. Не с ума же я сошла!

— Нет, не сошли, наверное. Но Пети там точно нет, уверяю вас.

Нина потрогала себя за голову, почему-то обернулась, словно ища кого-то, затем спросила:

— Я не очень, может, понимаю, что у вас тут происходит, но только есть предел всему. Смерть — это и есть тот предел.

— Согласен! Смерть все меняет. Еще что-то хотел, к чему-то стремился, выступал. Строил мосты и — бац, все пропало! В одно мгновение. Что ж, так бывает.

— Это что же, ваше утешение или взгляд на природу смерти?

— Не то и не другое. Я вот о чем. Вы позволите? — и он прикоснулся к Нининой руке, словно собираясь повести ее куда-то. Однако она отстранилась, высвободила руку и пошла рядом. — Не переживайте. Все образуется. Сегодня будут гости, много-много. Станете петь.



— Петь, когда у меня такое случилось с мужем?

— Но что значит — случилось?

— Вы толком и не знаете, что случилось, да и случилось ли! А вот и наш полицейский, — насмешливо сказал Фредерик, поправляя шарф. — Куда путь держите? Всех опросили?

Человек в форме шел довольно тяжело, фуражка была у него на голове, в руках он держал что-то, похожее на старую куклу, нес ее при этом небрежно и, наконец, остановился, приблизившись к стоящим. И в этот самый момент Нина вдруг сорвалась с места и побежала быстро по тропинке, при этом крича нечто невразумительное: «Постойте, подождите, я забыла сказать. Пожалуйста, не уходите, я не знаю, Господи, не знаю, как вас зовут», — все причитала она и все бежала и бежала, пока внезапно не остановилась, поскольку услышала:

— Что еще? — раздался снова уже знакомый голос.

— Послушайте, для меня это очень важно, я даже не все осознала сначала. Скажите, но только правду скажите, это правда, что Петя, что он жив и что он станет очень, очень большим музыкантом? Прошу вас! — умоляла женщина невидимое существо, которое только едва шуршало своими ногами, так как слышался звук то ли гравия, то ли песка, рассыпанного по дорожкам. Она ничего не говорила поначалу, только усиливала тишину, ничем не прерываемую.

— Мне нечего добавить, — заключила она. — Сами все поймете, чту вам мои готовые ответы. Без рецептов жизнь намного интереснее.

— Стойте, не уходите, только не уходите. Я знаю, я знаю нечто такое...

— И что же?

— Я знаю, что он все равно погибнет. Это так?

— Глупости! Все там будем.

— Нет, не совсем. Он погибнет! И я не знаю, как избавиться от Фредерика.

— А вы и не хотите избавляться, не лукавьте.

— Если бы я вас видела, я бы... я бы ударила вас.

— Ха, напугала! Ударь, вот она я! — и на секунду, всего лишь на мгновение показалось лицо женщины, в которой Нина тут же узнала ту, с курорта, с давнего их отдыха, которую они прозвали мымрой. А на самом деле ее звали, кажется, Лизой.

— Боже мой, это вы?!

— Я не забываю своих обид. Но!.. — она подняла руку, — но и не делаю зла. Намеренно не делаю, — сказала женщина и в то же мгновение исчезла. И даже шаги по гравию, и те, умолкли.

Нина еще постояла какое-то время, потом услышала, что к ней уже приближаются те двое и что-то спрашивают. Что именно, она не услышала сначала.

— И вот я спрашиваю. На сей раз все слышали крик, и кричал, как мне успели пояснить, садовник по имени Гриф. Не странно ли? А вы, вы слышали?

— Я ничего не слышала, теперь уж точно, — отрезала Нина.

К ней совсем близко подвинулся полицейский, как-то сбоку посмотрел ей прямо в лицо и спросил снова:

— Но вы только что откуда-то вернулись? Где вы были, позвольте вас спросить?

— Я? — довольно невинно ответствовала Нина. — Я ничего не знаю, вообще ничего, — снова заключила она довольно дерзко, даже вызывающе.

Тогда полицейский, почувствовав неладное, решил сменить тактику и не так нажимать на женщину, которая явно была не в себе:

— День сегодня просто чудесный. И я слышал, что сегодня вы собираетесь петь при большом скоплении народа.

— Не знаю, я ничего и об этом не знаю. О каком пении может идти речь, если вы, вот лично вы, ничего не сделали, чтобы найти моего мужа? Какой крик, что я должна была слышать?

— А, вот и ошибочка. Ни про какой крик я не говорил. Я задал вопрос совершенно иначе. И вы что-то слышали? А ведь кричали очень конкретное, и вы были здесь, не могли не слышать.

— И что же конкретного вам сообщили? — довольно брезгливо спросила Нина.

— Как же, скажу! Речь была, если это можно назвать речью, о ком-то, кто находится здесь и кого, судя по всему, давно ищут. Никого не встретили необычного? Может, лежащего? Кстати, а где сам этот Гриф или как его там?

— Он обычно бывает в своей каморке, можем зайти, — охотно отозвался Фредерик и сразу двинулся вперед, показывая дорогу и всем своим видом давая понять, что он готов оказывать всяческую помощь и содействие. — Вот, именно здесь и обретается наш садовник, — сказал он, стуча в маленькую дверцу, которая закрывала вход в очень странного вида жилище: хилое, невзрачное, совсем не похожее на весь тот праздничный, даже роскошный дом, в котором была Нина.

На стук, однако, никто не ответил, и тогда Фредерик толкнул дверь, она поддалась, и пришедшие с изумлением увидели, что на старенькой кушетке, разбросав руки в стороны, лежит мужчина.

— Господи, да что же это? Петя! Петя, ты жив? — вскричала Нина, бросаясь к постели и тормоша лежащего. — Скажи же что-нибудь, что с тобой? — все го-

ворила и говорила она, прикладывая голову к груди мужа, видимо, желая удостовериться, правда ли, он жив или нет.

Однако тот лежал по-прежнему неподвижно и не подавал признаков жизни.

Нашелся полицейский, который выгнал какое-то премудрое устройство и стал вызывать скорую помощь. При этом вел он себя весьма уверенно, и та растерянность, которая нет-нет, да проскальзывала еще час назад, куда-то улетучилась. Он сам осмотрел лежащего, не прикасаясь при этом к нему, а только потрогав место на шее, и заключил:

— Странно, мне кажется, что он жив. Прошу вас, — обратился он к Нине, — не надо, возьмите себя в руки, скоро все разъяснится. Прошу вас, — обратился он к стоящим в комнатке людям, — ничего не надо трогать, все пусть остается на своих местах.

Было понятно, что, наконец, он обрел не только уверенность, но и оказался, что называется, в своей стихии, где можно было и командовать, и распоряжаться, давать указания, и, главное, проявлять свои профессиональные навыки и умения.

В этот момент в двери показалась большая кудрявая голова и, пригнувшись, в помещение вошел высокий человек. Был он худой, глаза смотрели очень остро и были весьма выразительными. Руки тоже были длинными и тоже выразительными. Он вошел как-то очень осторожно, несколько удивился людям, неожиданно появившимся в его жилище, но врожденная его интеллигентность не позволила как-то резко и неприязненно реагировать. Он простодушно спросил:

— Вы уже здесь? Значит, услышали? Это хорошо.

— Позвольте, это вы кричали? И что вы слышали, что вам известно?

— Да что известно, — почесал свои кудри садовник. — Видел, как человек в красивом пальто, — при этом все взглянули на Фредерика, который напрягся и поправил свой воротник на красивом своем пальто, — вот на него похожий, — продолжил он столь же простодушно, — он вытащил какой-то инструмент и пальнул.

— Что-что? Какой такой инструмент? Вы что же, считаете, что инструментом можно пальнуть или даже убить? А какой, кстати, был инструмент? Не рояль же в кустах? — пошутил полицейский и хохотнул.

— Нет, не рояль, а такая длинная трубочка. Может, флейта?

— И что же, даже и флейта, хотя я на ней не играю, — откликнулся Фредерик.

— А я и не говорю, что это вы. Вы же мой хозяин, — ответил садовник по имени Гриф.

— Стоп, — воскликнул полицейский, — и что, что хозяин? Хозяин не способен на плохое, скажем на выстрел?

— Конечно, — снова просто подтвердил Гриф, — он не может, никак не может.

— А с чего такая уверенность? — задал вопрос полицейский и выразительно обвел взглядом стоящих. — Вы, кстати, сядьте, — обратился он к Нине, — не стесняйтесь, садитесь.

— Действительно, присаживайтесь, — любезно предложил Гриф, подвигая кресло и стряхивая с него крошки. Было понятно, что он тут же и спит, и обедает, и даже вырезает какие-то фигурки по дереву, которых в комнате было огромное множество, и все они изображали только зверушек.

— Итак, вернемся к главному. Вы слышали и даже видели человека в красивом пальто, как тот вытащил

некую трубочку и именно ею выстрелил. Так? И еще вы сказали, что видели этого человека, да?

— Совершенно верно.

— На кого же он был похож? Опишите его. Раньше он вам встречался?

— Конечно, но только откуда у него такое пальто, не знаю.

— Говорите точнее, кто это был?

— Это наш повар, я его сто раз видел. И что его в сад потянуло? — удивился Гриф.

— Как повар? Что ты такое говоришь, Гриф? — возмутился Фредерик. — Он не мог, он никогда никого не трогал. Что ты болтаешь? — занервничал почему-то Фредерик.

В это самое время послышались шаги и в комнату вошли, не спрашивая разрешения, два врача с чемоданчиками. Были они сосредоточены, даже суровы и не располагали к тому, чтобы расспрашивать о чем-то постороннем и надеяться на сочувствие.

— Что случилось? — спросил доктор-мужчина, наматывая на руку лежащему манжетку для измерения давления.

— Скажите, прошу вас, он жив? — не удержалась Нина.

Доктор строго взглянул на женщину и ничего не ответил, продолжая свои измерения. Затем так же строго указал другому врачу, а скорее всего, помощнику-медбрата, что именно следует сделать.

— Умоляю вас, скажите хоть что-то, — взмолилась Нина.

— Женщина, я вас тоже прошу, пока я разбираюсь, дайте возможность работать. Потерпите.

Тогда не выдержал полицейский, который зачем-то отдал честь, склонился к врачу и задал тот же вопрос, что и Нина.

— Как он, жив?

— Давление критическое, нужна реанимация.

— Да какое давление? — не удержался Гриф, — в человека стреляли!

Это сообщение повергло доктора в замешательство, и он, наконец, тоже спросил полицейского, что случилось. Тот ответил, что был выстрел, а до того, как утверждает жена, — он указал на Нину, — до того больной или убитый лежал на втором этаже дома и, как утверждает жена, был мертв.

На этих словах уже доктор, выпрямившись, оглядел присутствующих и заключил:

— Паноптикум какой-то. Кто был мертв? Этот мужчина? Но он еще не умер, что вы его хороните?! — Он подошел все же к Нине и спросил, не нужна ли ей помощь. — Как вы себя чувствуете?

— Речь не обо мне. Я ничего не могу понять, я даже не знаю, жив ли мой муж, — обреченно сказала женщина.

— Успокойтесь, сейчас вызовем реанимацию и увезем в больницу. Мы же все делаем, вот, все реанимационные действия. Никакой раны я не вижу. Какой такой выстрел? — уже не так хмуро и отстраненно сказал врач.

— Вы точно говорите, что он жив? — задал вопрос полицейский.

— Я, знаете, двадцать один год на этой скорой тружусь, все повидал, всё и вся! — рассердился врач. — И могу отличить живого от мертвого.

Полицейский отер лоб, положил, наконец, свою фуражку на подоконник и сел.

— Видите ли, на моем участке ничего такого не случилось давненько, а может, и совсем никогда. Мне бы только не труп. Да вот и жена переживает. Чего-

тоей привиделось там, в доме. Скажите, — обратился он к Нине, — скажите, может, вам просто показалось, ну, там, на втором этаже?

— Нет, знаете, я не сумасшедшая. Хотя кто знает, что в этом доме происходит! Я уже ничему не удивлюсь, ни страшному, ни загадочному.

— А вот в загадочное верить стоит! — запальчиво сказал доктор, — только необъяснимые на первый взгляд явления и способны объяснить простые вещи. И нечего этого бояться: иногда чудеса и излечивают, и дают надежду. Да, мало ли чего они могут сделать! Вы, скорей всего, были в сильном волнении, если вам показалось, что ваш муж мертв. Ничего страшного, такое случается. Это, скажу я вам, от любви. Как и все в этой жизни.

Никто, разумеется, не ожидал от сурового доктора подобного изъяснения чувств и мыслей, и потому возникло молчание, которое как раз и объясняло то, что, сказанное, заставило задуматься. Один только Фредерик во все это время не произнесший ни слова, наконец, погрузился, и было очевидно, что ему тоже не просто. Он держал руки на груди, поглядывал на Нину, но так и не решился на какой-нибудь открытый выпад или насмешки: все было слишком серьезно.

Когда подросла реанимационная машина и мужчины стали переносить лежащего Петра на носилки, он вдруг открыл глаза и произнес:

— Никто и не догадается, все спят.

Что это была за фраза и что она означала действительно, понять было сложно. Ясным оставалось одно: чудеса и необъяснимые вещи не только не заканчивались, а все больше усугублялись и множились, словно возвещая о том непостижимом, что может происходить разве что в фантазиях и мечтах, но только не в реальной жизни.

Петр, однако, был прав: надвигалась ночь. Но при таком развороте событий, несурзацах и мистификациях легко можно было предположить, что ночь — вот-вот сменится ярким днем, или уступит свои права тихому утру — возможно было все!

Нина бросилась вслед за докторами в машину скорой, намереваясь быть при Пете, но ей коротко пояснили, что не положено и что поедет сопровождающий врач. И все же Нина пыталась что-то говорить, твердила, что ей трудно и вообще ничего не известно.

— Скажите хотя бы, куда вы его повезете, и можно ли туда будет? Сразу можно?

— Можно, почему же нельзя? — сказал первый врач, который явно успокоился, не хмурился и не выговаривал ничего уже. — А в какую? Да я и сам толком не знаю. Наверное, в самую центральную, случай уж больно необычный.

— Это что же, в Склиф что ли? — не унималась Нина.

— Берите выше! — многозначительно заключил доктор и закрыл дверцы машины.

Все остались на своих местах и находились явно в каком-то оцепенении. Первым нашелся полицейский, который снова надел свою куртку темно- синего цвета, водрузил фуражку, отер снова лоб и произнес:

— Ну, что же, теперь следует позвать повара.

Люди переглянулись, не очень понимая, чем именно может помочь этот человек, но вызвался пойти в дом Гриф, а все остальные остались в каморке. Только Нина никак не хотела входить в домик. А все еще смотрела вслед давно скрывшейся из виду машине. Было заметно, что она что-то для себя решает и что вряд ли дальше останется здесь. Так и вышло. Женщина неожиданно подхватила и побежала к выхо-

ду из этого странного дома, но в какую-то секунду прямо над ухом услышала уже знакомый мужской голос, который принадлежал Фредерику:

— Не спешите, прошу вас! Вам все равно не выйти.

— Уйдите! Что за глупости вы тут городите? Я все равно уйду. Превращусь в травинку, вот почти как вы, и выпорхну, вылезу. Переломлюсь, но меня здесь больше не будет.

Фредерик схватил ее быстро и неожиданно.

— Послушайте, не делайте глупости. Выкарабкается ваш Петр, ничего с ним не станется. Лучше подумайте о себе. Вам надо, наконец, петь! Вы можете это понять?

— Петя — пианист, мне все равно, что будет со мной. Он, только он, должен жить, — она брезгливо посмотрела на Фредерика, — его лавры покоя не дают?

— Какие лавры? Да он давно выдохся! Все, спекся ваш Петя.

— Отпустите меня, слышите, отпустите. Что вы можете знать, жалкий превращенец! Что вы вообще хотите от нас? Что вы вторгаетесь в нашу жизнь? Пустите меня, или я буду кричать. И так сильно, что вам никто не поможет, — и она и вправду закричала, и действительно очень сильно, так, что на мгновение Фредерик отступил, и в это мгновение Нина вырвалась, освободилась от него совсем и успела проскользнуть в щель закрывающихся ворот.

Очутившись в незнакомом месте, она, не раздумывая, пошла вперед, как ей казалось, за уехавшей машиной. Именно ее следы она видела на дороге и на смятой траве совсем рядом с домом. Потом они словно растворились, слились с множеством других полос, но Нине казалось, что она на верном пути и эта дорога выведет ее куда надо. А надо было в город,

который уже спал, и ночь полностью захватила все принадлежащее ей пространство. Женщина вдохнула пряный воздух, насыщенный непривычными ароматами, услышала звуки, которые явно свидетельствовали о том, что она где-то далеко за городом и что туда она так просто не доберется.

Она побежала, и бег ее был все сильнее и сильнее. Она бежала так быстро, так стремительно, словно за ней гнались привидения, не меньше. Она так увлеклась бегом, что не сразу заметила, как ее окликали из машины, остановившейся рядом. Она все еще бежала по инерции, а когда остановилась, ужаснулась: за рулем сидел Петр. Силы ее покинули, и она сползла прямо вниз на землю.

Петр выскочил моментально и опустился перед Ниной.

— Ну, что ты, что? Все нормально, я вот он, живой!

Нина приоткрыла глаза, скользнула взглядом по Петру и снова впала в забытие. Тогда он метнулся к машине, достал термос с чаем, который всегда, с незапамятных времен, хранился у него на заднем сидении, и налил в стаканчик горячего черного чая. Поднес его к Нининым губам и с ужасом увидел, что у нее по правой стороне губы течет кровь. «Откуда это, где она могла удариться?» Он вытер белоснежным платком ее губы, лицо и снова приблизил стаканчик ко рту. От чая шел пар, и именно он, скорее всего, помог Нине: она ощутила тепло и наконец открыла глаза. Вглядывалась в темноте в Петра и все не могла взять в толк, что это происходит и происходит ли на самом деле. Наконец она подняла руку и дотронулась до руки Петра:

— Это, правда, ты?

— Как видишь. Все в порядке, успокойся.

— Но там, в машине, там тоже был ты.

— Точно, я. Но я всех перехитрил: убежал на одной из остановок.

— Этого не может быть, ты же ранен.

— С чего ты взяла?

— Но я сама видела тебя там, наверху. Это ты лежал, растерзанный, на полу. И была кровь.

— А-а, была и сплыла. Теперь вот кровь у тебя. Ты что же, ударилась?

— Наверное, — Нина без всякого интереса посмотрела на испачканный платок, — какое-то раздвоение личности. Но только не в психологическом, а в физическом плане. У тебя есть хоть какое-то объяснение всему?

— Послушай, надо скорее двигаться. Какое объяснение? Мы живы — и замечательно!

— Но там..., — Нина пыталась снова вернуться в недавнее прошлое и рассказать о событии, ее потрясшем, — там точно был ты. Потом исчез, затем эта хибарка. Что это все означает?

— Милая моя, — Петр прижал жену к себе и поднял с земли, — какая уже разница! Какая разница с тех самых пор, как появился этот оборотень? Мы, скажу тебе, или попались, или нас заколдовали, или просто нам снится один и тот же странный сон, — говорил он все это не горестно и печально, а даже весело. — Ну, поднялась? Порядок, едем, едем, моя ненаглядная.

Нина успела отметить, что за последние несколько лет Петр не называл ее подобным образом. «Надо же, ненаглядная», — повторила она и тут же забылась каким-то тревожным сном на заднем сидении машины. Напоследок еще успела подумать: «Только бы

никто больше не появился, хватит». И они поехали. Поехали сквозь непроглядность ночи в свой любимый дом, где было тепло и где можно было, вернее, еще недавно можно было спрятаться ото всех и ни о чем не заботиться.

И действительно, поездка получилась спокойная, ничто их не тревожило. Нина спала на заднем сидении и постепенно освобождалась от всех тревог и страхов последнего времени. И глубоко про себя успевала иногда подумать, что ей повезло с мужем и что все будет хорошо. Осталось до совершенства совсем немного: начать петь, заниматься вокалом, заставить Петра работать по-настоящему, а не изредка и невсерьез. Еще надо бы, — она прикинула возраст свой, — да, хорошо бы успеть еще родить. Но... ладно, об этом не теперь.

А ночь, обступившая их со всех сторон, буквально торжествовала. Даже редкие фонари не спасали в эту пору, пору зрелой осени, которая уже не страшится, что ее потеснит лето или нагрянет невзначай зима. Нет, до холодов еще было время, и сама осень наслаждалась тем, что успевала и подарить людям, и разлить вокруг себя царство спелой, влажной, чуть заржавевшей листвы. Это ее пряный запах так поразила Нину совсем недавно: такой аромат листьев не спутать ни с чем: такой он выразительный и насыщенный.

Вдруг мощный взрыв музыки буквально вломился в тепло машины, заставив обоих вздрогнуть. Петя успел выровнять руль, потому что автомобиль мотануло в сторону, оглянулся на Нину, которая выпрямилась и спросила: «Что это?» Он, однако, был в замешательстве: радио было выключено, по соседству больше машин не было, и оставалось только домыс-

ливать, что это могло быть. Но, к счастью, никто хотя бы внутри не появился, и то хорошо. Музыка словно искала возможность выплеснуться наружу, металась и с невероятной силой настаивала на своем превосходстве: так велико было ее торжество. Звучал Бах, Петя понял это моментально и еще больше заволновался: именно об этом маленьком произведении он думал совсем недавно, когда размышлял о новой программе. Он решил еще, что непременно надо будет включить именно Баха, может быть, Моцарта, но совсем на время уйти от Шопена. И тут сумасшедшая мысль буквально полоснула его: а не являются ли все превращения последнего времени, включая появление этого Фредерика неким ответом на его безудержное стремление играть только Шопена? Что, неужели он не может пойти дальше и стать певцом не одного только композитора? Может, все дело именно в этом?

Пока он вспоминал, что и как собирался включить в новую программу и начинать работать над ней, музыка начала постепенно затихать и, наконец, замерла или исчезла: во всяком случае, слышно ее почти не было. А вскоре она и вовсе стала неслышимой. «Вот он, ответ. Все дело в этом! — догадался он. — Если расширить диапазон, начать изучать другое, других, не заикливаться только на романтиках, тогда... тогда, быть может, я освобожусь от всего этого?» — подумал он, при этом отчетливо понимая, что исчезнувшая музыка словно отозвалась на его догадки и что в его размышлении есть толика правды.

Они не произносили ни слова, словно стоворившись об одном и том же: ни слова о наваждении, ни единого намека о происшедшем. В полной тишине они доехали до города, и стало понятно, наконец, что все это время они добивались где-то с северо-восточной

части области к Москве и что совсем скоро покажется их дом. Тишина исчезла, рев и грохот машин даже и в это время ночи наполнил их души иным содержанием, и они оба подумали, как же трудно найти истинное отдохновение от шума и рокота огромного города, куда тишина никогда не сможет добраться и осесть там.

Однако в их квартире тишина и покой расположились очень надежно. Во всяком случае, так им показалось теперь. Все было тихо, прибрано, рояль стоял совершенно неподвижно на своем привычном месте и, что важно, с закрытой крышкой. Петр первым делом откинул именно ее и взял первые ноты той мелодии, что витала, вернее, что так неистовствовала в машине. Это его увлекло, и он уже не мог оторваться от глубины этих звуков, горестных и словно прощальных.

Нина поняла его порыв и сразу отправилась на кухню. Там царил тот беспорядок, который она не успела устранить. Мясо, правда, было в холодильнике и не успело задохнуться. Она быстренько все приготовила и заглянула в комнату: Петр сидел у инструмента, склонив голову и положив на крышку рояля руки. Было заметно, как он устал от всех перипетий последнего времени. Однако Нина сдержалась и не стала подходить к мужу, а только тихонько окликнула. Когда он выпрямился, она спросила только, о чем он думал. Он, по-прежнему не глядя в ее сторону, покачал головой и почему-то довольно бодро, даже весело сказал:

— А знаешь, есть все же прелесть во всех этих чудачествах, ты не находишь? Ну, я не об этом. В детстве маме не приходилось упрашивать меня играть. Я сам выпросил инструмент, как тогда говорили. Жил

у нас в соседней комнате одинокий дядька, необразованный, как мне тогда казалось, даже темный. И вот он— то частенько просил меня, а иногда и через маму, чтобы я поиграл. Но странно так говорил: «Верочка, попроси Петю нежность мне на душу набросить». А нежность более всего была сосредоточена именно в Шопене. Или мне так казалось. Вот я его с тех пор и играл, и играю. Всё Шопен да Шопен. И я подумал, ну, помнишь, когда рвануло в машине, подумал, что надо осваивать другое пространство, в этом я уже захлебываюсь, мне тесно. И все кошмары, наверное, от избытка моего Шопена. Ты меня понимаешь?

Нина ничего не ответила, только сказала, что мясо стхнет и что его сегодня хотя бы уж точно надо съесть. Петя, наконец, поднялся, сбросил пиджак, провел рукой по груди и отчего-то застонал. Он вспомнил, как совсем недавно (или ему это только показалось?) он лежал на полу в чужом доме и его Нина страшно расстроилась. Может, все это только померещилось и ничего не было? Однако боль в груди, которая становилась острее, говорила о том, что все это не просто так. Он умылся, передел рубашку, но никаких видимых следов какого-то увечья на своем теле не обнаружил. Однако сомнение не улетучилось, и он решил, что ночь, вернее, то, что от нее осталось, поможет ему разобраться и подумать над тем, что же случилось на самом деле.

Идиллия семейного позднего ужина завершилась тоже на хорошей ноте, и оба, не сговариваясь, решили, что, наверное, вмешательство в их жизнь закончилось и больше их не потревожат. Как же хотелось думать именно так!

Тело у Нины, несмотря на ее почти тридцать восемь лет, было, как у всамделишной голливудской



звезды: ухоженное, холеное, просто прекрасное. И самое удивительное, что она к этому не прилагала никаких усилий! Цвела себе и пахла! Да еще как! И он подчинил себе это воздушное прекрасное тело, как делал это множество раз в самых невообразимых ситуациях и на разных континентах, в разные времена года и время суток. Он так ее любил и так был счастлив!

Было уже около трех часов ночи, когда они уснули. И лишь утром оба обнаружили, что в области груди Петра виднеется какой-то шрам, которого прежде не было. Нина провела рукой и спросила, не больно ли. Но Петр не среагировал, а снова задумался, словно вспоминая, что это могло бы значить и когда с ним что-то такое случилось, что вдруг остался след.

Но почему-то обоим снова не захотелось развивать тему и вчерашнего, и недавних событий, и они с удовольствием воспользовались розовым утренним чаем, чтобы не бежать сразу по делам, а понежиться и насладиться друг другом. Нине чудилось, что неведомая лошадь, почему-то в яблоках, стремительно и даже воинственно неслась ее потаенной дорогой к какому-то пруду или реке и, наконец, бросилась туда со всего маху, едва не сбросив женщину с седла. Но та удержалась, вцепилась посильнее и так, не отрываясь, все мчалась и мчалась к одной, ей ведомой цели. И она взяла эту цель!

Тогда радостная и необыкновенно счастливая, она вскочила, запела свою любимую «Тучу», как они называли известный романс, в который на этот раз она вложила совсем не драматическое звучание, а какое-то задиристое, с подковыркой, ну, просто смешное. И когда она выводила «Лель мой, Лель мой, Лели-Лели Лель», было понятно, что, обращаясь к Пете, она под-

задоривает, дразнит его. И первые строки «Туча со громом сговаривалась: ты греми, гром, а я дождь разолью» звучали, как предложение не только разделить и разделить свои ноши, обязанности, но и нечто другое. Например, стремление что-то сделать, совершить. Да, и в профессии, и в самой что ни на есть подлинной жизни. Это ее «а я дождь разолью» выходило у нее страстно и вместе с тем насмешливо. Оба засмеялись и стали собираться.

А потом Петр сел к роялю, приготовил заготовленные ноты и стал думать, как подступиться к Баху.

А думать было о чем. Что, если отказаться от привычного, уйти от стереотипов и начать искать в этом человеке что-то другое? Ну, совсем другое. Не одну только мощь, громаду страстей, глубину и непостижимости мыслей и чувств, а что-то очень человеческое? Любил же этот человек, жил, ссорился, воспитывал детей, ревновал? Эти, такие обычные проявления у обычного человека, казались неприменимыми к такому колоссу. Так и маячили и в мыслях, и в ощущениях эти привычные — громада и мощь. Он не притронулся к клавишам, не тревожил их своим прикосновением, пока одно только незнание наполняло его. Он действительно не знал, как подступиться, что делать с этими нотами, как их прочесть, увидеть, истолковать? По сути, он не знал ничего.

Решил посмотреть, что пишут о композиторе, но, прочитав несколько страниц известного текста, только поморщился. Даты, факты — как же все это скучно, а главное — как это мало приближает к постижению личности, откровениям, поиску причинно-следственных связей. Что значат эти даты и факты? Ровным счетом ничего. Да, важна эпоха, столкновение интересов, скажем, социума и отдельной личности. А, мо-

жет, и не было никаких столкновений? Жил себе человек тихо, сочинял, даже не подозревал, что творит, а не просто сочиняет, полюбил какую-то женщину, которой был верен всю жизнь, и делал многое из того, что присуще вообще любому человеку той поры.

Но нет! Что значит — жил себе и сочинял? Было, значит, в его натуре, характере, способе жить и видеть мир нечто такое, что выделяло его, делало неповторимым, что оставило его имя в веках, в вечности? Было, непременно, было. Но что? И откуда эта мощь? Она, что, дается при рождении, и ее нельзя ни развить, ни усовершенствовать, ни обучиться ей, наконец?

Задавая все эти вопросы, Петр только все больше раздражался, понимая, что и он недалеко ушел от тех авторов, которые писали о Бахе. Расставляя акценты в основном на событиях, но не на тонкой вязи ассоциаций, образов, странных совпадений, всего того, что имеет отношение к субстанции, чтимой только в искусстве и папахивающей сумасшедшинкой. Действительно, что он такое? Как произрастал его талант? Кто понимал его? Вот о Моцарте, о котором написано не меньше, почти ясно: гений-ребенок, не осознающий своего дара, легко живущий, легко отдающий. Но и здесь пустоты и провалы: что значит «легко»? Ну-ка, вдуматься если в «Реквием», какая легкость, о чем это? Только нелепые стереотипы способны отнести эту боль и горечь, этот шедевр чего-тосверхъестественного, такого, что к живой, обычной человеческой жизни и судьбе не может иметь никакого отношения. Это та высота, которая не просто приподнимает над обыденным сознанием, но и дает другое знание. Трудно сказать, о чем оно, но что оно есть, точно. И рождает все это музыка!

Ах, господин Бах, ну что же делать, как подступиться?

И Петр решил не торопить события, не налетать, как вообще-то было свойственно его натуре, на разучивание и исполнение. Нет, нужно время, нужно, чтобы что-то такое случилось с душой, чтобы разлетелась она необыкновенно и вразлет и налетела на ответ или хотя бы на какое-то опознание: что же это, в конце концов, такое?

И он задумал встретиться, как и обещал давным-давно, со своим старым приятелем, с которым виделся не часто, но уж зато как! Тот был философом, но после консерватории, то есть прошедшим музыкальную азбуку и путь музыканта. Учились на разных отделениях, Виктор — так звали философа — почитал один инструмент — виолончель, и ему поклонялся. Но что-то и в нем самом было такое, что только исполнительское дело его не устраивало. Сам инструмент, наверное, этому тоже как-тоспособствовал. Он всегда думал о смысле и первопричинах любого действия, его необходимости и назначения. Ни одна женщина не выдерживала его долго, убегала, не вынося пытки музыкой и анализом. Но мужики — другое дело, там было о чем поразмышлять и что обсудить. Да просто послушать его. Он давно не музицировал, иногда публиковался, но был совсем не занудой, а добрым, даже бесшабашным человеком. И, конечно, замечательно думал, размышлял, умел сопоставлять несочетаемое, провоцировал и в итоге пробивался-таки к истокам истины. Вот к нему-то и решил пойти Петр, позвав Витю в ресторан. Тот всегда с готовностью откликнулся, главное было — не напиться до срока, до того самого срока, когда понятия и цепочка логических экзерсисов еще не увязнет до конца в бокалах с вином.

Но обычно Витек держался долго и стойко, тут только важно было применить особый подход: не сдерживать, но и не давать волю.

Петя позвонил, сговорился и отправился на встречу. Был он в полной готовности спросить, задаться вопросами, может, даже посокрушаться, отчего это так: людям важнее факты и даты, нежели прихотливая игра мечты и сна, реальности и провокации. И вообще, что важнее, что может быть существеннее, чем само искусство? Спросил и тут же задумался и засомневался: а что оно, это самое искусство, зачем? Кому нужно? Только самому создающему что— либо, или оно — некий путь, само, может, познание и откровение? А мы все привыкли твердить: воспитывает, обучает, дисциплинирует! Да, ни фиги! Ничего оно не воспитывает. Оно есть, и basta! Хошь — бери, дыши им, а нет — так и иди другой дорогой. Оно совсем не для чего-то, оно просто есть. И бессмысленность его определяет его же пользу и прелесть, больше ничего. Ну, вот может, Витька чего другое скажет? Хорошо бы!

Шел Петр и думал, как ему подступиться к разговору? Не то чтобы приятель был шибко заносчивым, а потому, что сам не очень понимал, что ему самому нужно. Куда он плывет и что дальше? И не есть ли его сегодняшний успех, признание уже слышимым отголоском увядания и даже распада? В нем самом, в его творчестве? Может, уже все: корабль уплыл и больше ждать нечего?

На какое-то мгновение он так глубоко задумался, что не заметил, как перед ним возник человек, мужчина, и, по всей видимости, давно возник и что-то такое настойчиво спрашивает. Был он странно одет, нелепо, можно сказать, и все время тербил кепку, которая была повернута набекрень и сильно напоми-

нала головной убор пьющего человека. Здорово пьющего. Однако его ясный взгляд и другая, в особенности верхняя часть одежды, говорила о принадлежности мужчины не к бомжам и низкому сословию какому— то, а напротив, к бывшему интеллигентному слою. Как раньше говорили, к прослойке общества. Выдавала свежая рубашка, стоячий воротник и ремень. Красивый такой, не обшарпанный. Но вот брюки и башмаки снова отклонялись от интеллигентского образа и сворачивали куда— то вбок, словно говоря: «Да пошли вы, мне абсолютно наплевать на ваше мнение, да и на все остальное тоже!» Этот тезис вскоре был подтвержден его словами: «Вы что же, не слышите что ли? — спрашивал он Петра. — Я уже столько времени добиваюсь, чтобы вы ответили, в чем смысл существования?»

Петя, наконец, поднял голову, удостоверился, что не ослышался и что вопрос и, правда, обращен к нему, несколько отодвинулся от неожиданно вторгшегося в его пространство господина в кепке и спросил тоже:

— Вы что же, ко всякому так вот запросто обращаетесь?

— Не-а, не ко всякому, — улыбнулась кепка, — а только к лицам, вызывающим у меня скорбное наслаждение мазохиста.

— Что? — рассердился Петя.

— Да не бойтесь, я о лице. Оно у вас хорошее, правильное лицо. Только очень вы чего-то боитесь. Вопрос о смысле жизни так и несете на блюдечке. Бросьте его совсем, это блюдо, нехай, разобьется, идите себе и идите. Вы же знаете, куда путь держите? Или так, скорее, по инерции?

— Да кто ж его знает? — неожиданно миролюбиво ответил Петр.

— Вот, это уже разговор, — почему-то обрадовался незнакомец, явно настроенный на подробную беседу. Он даже попытался взять под руку Петра и немного отвести его в сторонку. Тот, однако, не сдавался и все еще надеялся выскользнуть из философских пут собеседника. Неожиданного, прямо сказать. Да и тема не была отвлеченной, прямо о том, о чем и сам Петр думал и чем мучился. Но не принимать же так бегом всякого, кто к тебе в уши начнет вещать. Он на минутку замедлил шаг, подумал, что встреча-то к месту, но решил, что не в его правилах рассуждать с первым встречным о смысле жизни.

— Не знаю я пути, может, его и нет вовсе, — только и ответил Петя. — Вы вот, к примеру, знаете?

— А как же! — обрадовался незнакомец. — Знаю. Больше того, даже и вам подскажу.

— Ай, нет, это лишнее, сам разберусь, — привычно запахнулся Петя и даже поправил воротник темно-синего пальто.

— Напрасно, — заключил человек в кепке и почему-то снял ее. — Напрасно потому хотя бы, что вот в таком легком импровизационном выпаде может что-то важное открыться. Не находите?

— Ну, отчего же? — попытался смягчить неловкость ситуации Петя. — Все может быть, так даже и проще. Почти, как в поезде. Никаких обязательств, выраженный симпатии и прочее. Не так ли?

— Вот! — обрадовался мужчина, продолжая идти и подталкивая Петра. — Идите, идите, не смущайтесь, я вас не украду, — потом пригляделся и добавил, — да и кому нужны вы такой? Помятый, скомканный какой-то. Не правда?

Петя даже оглядел себя, взглянул на полы пальто, поправил волосы, но его перебили:

— Да не в этом смысле. Тут все комильфо! А внутри уже не горит! Нет, совсем не горит. Случилось что?

— Послушайте, а вы кто?

— А-а, не хотите?! Ясно, не всякий может вот так запросто открыться. Вон, вы какой застегнутый, — заключил он.

— Извините великодушно, но я ...

Он не успел закончить фразы, как увидел своего приятеля и решил, что в этом его спасение. Он окликнул Витьку и совсем освободился от прохожего. Но с некоторым сожалением все же, словно мог, но не набрался духа, чтобы договорить. И тогда, уже совсем отодвигаясь и собираясь уходить, увидел поднятую руку незнакомца, который протягивал ему клочок бумаги: «Не бойтесь, авось, сгодится», — сказал тот и исчез.

А Витька уже сжимал в объятиях старого друга и приговаривал, какой он стал тощий. «Ничего себе! — пролетело в голове у Петра, — какой я, к чертям, тощий? Наоборот, разжирел, как... да, как кто? — Спросил он себя и засмеялся. — Дурачок ты. Я — жирный!» — вызывающе заключил он, но не преминул добавить свое излюбленное: «Жизнь начинает налаживаться!»

Они в обнимку ввалились в кафе и не сговариваясь, пошли к столику, который был им хорошо знаком. Сели и стали молча рассматривать друг друга.

— Ну что, жирняк тощий, как мир? И ты в нем?

Такое начало было весьма свойственно Витьке, его манере, обычаю говорить, скрупулезно разглядывая собеседника и словно проникая в него.

— Чего молчишь? Великим стал или готовишься к этой участи? На что она, хоть знаешь? — все спрашивал он, пока Петя молчал. — Ну, говори давай, начинай свое скерцо.

А Петр не спешил начинать разговор, тоже приглядываясь к товарищу и словно ища какую-нибудь зацепочку, которая позволила бы что-тооткупорить в нем самом. Он рассматривал меню, тихо передавал официанту заказ и все продолжал молчать.

— Ну, значит, так, — снова вступил в игру Витька, — начну я, пожалуй. Анамнез ясен, жалоб вроде словесных нет, диагноз готов поставить. Щас! — провозгласил он, произнеся любимое свое словечко. — Щас! — повторил он снова, — я готов. — Потом хитро зажмурился, наклонил голову, все так же цепко впиваясь в Петра своим взглядом и затем произнес:

— Нет видимых причин для тревог и волнений, все мирно, прекрасно, и все процветает. Почти все, — поправился он. — Есть, есть нечто такое, что свербит, не дает покоя, точит, одним словом. Как, считаешь, есть? Ну, говори же! Ага, молчишь, это тоже знак, мой дорогой. А чего молчишь? Или сказать нечего, — ответил сам себе Витька, — или все так хреново, что лучше и впрямь молчать. Ты ведь когда меня призывает? Правильно, когда катастрофа, почти коллапс, высокая температура, жар зашкаливает. Только температура у тебя, жирняка, нормальная, вот что страшно. Вот что удручает! Стало быть, спекся. Все хлопают, ура кричат, цветочки кидают, а у самого сквозняк на душе. Так? Можешь не отвечать, сам знаю. Эх, Петька, всегда ты с цимбалами какими-то был, а как стал великим, спасу от самого себя не стало. Нина, говоришь? Жизнь ей сгубил? Все так, знаю. Но, значит, и нечего пищать, сама не хотела работать, петь, тебя, хрена лысого, преодолевать.

— Это как? — отозвался Петр.

— Ха! Как! Да так, все вы оттуда и туда.

— Куда? — не понял Петр.

— Куда, брат? А к такой-то матери, если она есть.

— Но подожди, Витька, есть она, нет ее, какая разница? Что душу точит? Тебе, что, никогда хреново не было?

Витька почему-то почесал грудь, покрутил головой, кому-то успел подмигнуть, а потом и сказал.

— Как это — не было? Еще как было, когда не допьешь! Ха-ха-ха! — И он заржал так, что девушка за соседним столиком брезгливо посмотрела и фыркнула. — Правильно, молодая леди, так меня, так, — не унимался Витька, покручивая кудрявой своей головой.

Принесли закуски, на которые он даже не взглянул, зато поднял рюмку и залпом, без всяких тостов, выпил. Это был он, точно также он проделывал пируэты с выпивкой и прежде. Для него не существовало никаких церемоний, принятых в застолье: хочу — пью, не хочу ... Нет, такого, пожалуй, не было. Но не это, не стремление набраться определяло отношение к нему. Он пил совсем немного, всего пару рюмок, иногда три. Но и этого становилось достаточным для того, чтобы можно было его слушать и начинать как-то иначе относиться к себе, к тем, кто рядом с тобой, да и вообще к миру. И ничего такого особенного он вроде и не говорил, а вот поворачивалось что-то внутри и прояснялось. За таким прояснением и шли, не один только Петр.

— Витька, ты, что, и вправду знаешь, как жить? — спросил Петр.

— Я? — сильно удивился Виктор, — с чего ты взял? Я вообще мало что знаю, так только, про музыку немного.

— И что же ты про нее знаешь, философ ты наш? — спросил музыкант и тоже выпил рюмку не чокаясь.

— А что про нее знать? Есть, и ладно, — не захотел раскручивать тему Витька.

— Врешь, все-то ты знаешь, — не унимался Петр.

— Ты Толстого читал? — неожиданно спросил Витька. — Читал, ясно. И что там? А следишь ты, конечно, за тем, что будет. Даже про то, что есть, уже не так интересно, а вот про это самое — что будет. То есть важна цепь событий, их развитие. Каждый роман, даже у Толстого — детектив своего рода. В музыке нет этого будущего.

— Как нет? — изумился Петр.

— Да так, нет и все! Сам подумай, зачем нам в музыке знать, что там дальше? Это невысказанные колебания не воздуха, нет, но биосферы, соединенные с космосом. Аристотель все сказал. Но нам ведь этого мало, нам новые теории подавай! А зря! И старые сходятся. Если в прозе ты можешь что-то предположить, то музыка легко обходится без этого. Она настолько сама по себе, гуляет, как та самая кошка. Ей ни от кого ничего не надо. Она просто закрепляет, фиксирует то, что ты ощущаешь. Даже не мысль, которая так важна в романе, а чувство, ощущение. И в этом ее неповторимость, отдельность от всего. Она ни с чем не может соединиться. Тебе кажется, что вот, ты уже проник в нее, она поддалась. А завтра все насмарку. И все по той причине, что сегодня ты звучишь — внутри, конечно — иначе!

— Но и роман — разве это не звучание? И зависящее от настроения, опыта, наконец, погоды? Не так ли? — спрашивал Петр.

— Нет, в романе есть композиция, сюжет, характеры. Но даже если о композиции, архитектонике сам композитор и обмолвился, это еще ни о чем не говорит. Нет ее там и быть не может! Одни лишь волновые колебания и ритм. Рваный, без стихотворной рифмы, но он есть. Как циклы жизни у человека. Ты

думаешь, он событиями живет? Ни черта! Он живет циклами и все теми же колебаниями, и поэтому только он и способен создавать музыку.

— А что, роман кошка написать может? Уже роботы сочиняют какую-то музыку.

— Пусть себе хлопочут. Они все равно не постигнут циклов и безрифмованных рифм.

— Как это — безрифмованных? Рифма или есть...

— Да, или нет. Так вот, в музыке она и есть, и ее одновременно нет. Ты исполнитель, а вот композитор в каждую следующую секунду не знает и не может знать, что дальше. И это «дальше» совершенно неважно ни для него, ни для нас. Полет, течение, что-то похожее на согласующийся с природой ритм, иногда рифма, и тогда возникает песня, даже если к ней нет слов.

— А какова моя роль? Я просто довожу до чьего-то слуха ноты?

— Ну, чертище, какие ноты?! Ты переводишь движения, ритмы сочинителя, пытаешься в них попасть. Но это все равно невозможно.

— А для гениев?

— У гениев своя история, они творят по второму кругу, не повторяя композитора, но рассказывают о себе.

— Я точно не гений. Был им, может, пару раз. И тогда зал...

— Что, взрывался сумасшествием? Точно?

— Почти.

— Так и должно быть.

— Что, присутствие сумасшедшинки?

— Ну, положим, об этом каждый знает умный, не надо вузов кончать. Только та идея может претендовать на гениальность, которая страдает некоей сумас-

шедшинкой. Помнишь гения-физика? Это не литератор, не музыкант сказал. А конкретно мыслящий физик. Но это мы так считаем — конкретно. А что там на самом деле — еще большой вопрос. Не может человек что-то создавать и быть совершенным прагматиком. Потому-то столько свихнутых ученых.

— Витька, — сказал Петр, разливая водку, — а ты любил когда-нибудь? Ты что про это знаешь?

— А пошел ты, — ответил Витька, опрокидывая рюмку. — Все, больше не буду. У меня норма сегодня такая, больше не хочу.

Они закусили, стали отрезать мясо, пахнущее чем-то пряным, особенным, и оба понимали, что никогда не договорятся до истинных первопричин рождения музыки и согласия в ней.

— Хорошо, знаешь, кому? — И он повертел на вилке кусочек мяса. — Поварам, к примеру. Готовишь себе, и никаких проблем. Режешь, перчишь, изобретаешь там.

— Вот, я тебя поймал. «Изобретаешь», ты сказал. Значит, и они — творцы? Пусть не в музыке, не в поэзии, но тоже сочинители?

— Глупости! Тогда и водитель трамвая — тоже приравнен к создателям. С выражением остановки произносит. Нет, мил человек, глупости. Создать из мяса произведение искусства можно разве что на свадьбе у Буйнова или у кого там, не знаю. Там — конкретика. А здесь, — и он продирижировал в воздухе рукой, — здесь нет абсолютно ничего! Понимаешь, ни-че-го! Одни воздушные колебания, которые непостижимым образом прокрадываются в душу, бередят ее, подступают к сознанию и начинают звучать. И ты уже не волен остановиться, тебя несет неистовая сила к инструменту, и ты едва поспеваешь записывать то, что тебе

кто-то посылает. Если это и, правда, музыка, а не шарманка какая-нибудь. Да и её, знаешь, тоже кто-то ведь озаряется и сочиняет. Даже и радуется. Нет, отрежем это, отсечем. Есть то, о чем говорим ты и я, и она — загадка, волнение, триумф. Но самое главное — ее невозможно подвергнуть анализу, она не поддается, вот в чем прелесть. Не поддается! — повторил он и почему-то сник.

— Вить, но как же так — вот играю, проникаюсь идеей, чувствами автора-композитора, и все — мимо? Так?

— Почти, как ни грустно это звучит.

— Но почему? — не унимался Петр.

— Да что ты все пытаешь меня? Что я могу знать, жалкий бывший виолончелист?

— Нет, ты и музыкант, и философ!

— Философом я заделался поневоле, надоело соцбайки читать про сокровенное и потаенное. Музыка учит, искусство воспитывает! Ересь, да и только! Ни-чему она не учит, да и не может этого сделать. Видишь, какая штука, в ней есть отречение, уход от мира, от суеты. В ней — одно сплошное страдание, — он внезапно резко поднял голову, посмотрел, снова пробурлавивая Петра и входя внутрь его существа и сказал:

— Нет, никто ничего не знает про эту тайну. В особенности нынче ты! Ты забыл о страдании, тебе сытно жить стало.

Петр плеснул водки, опрокинул рюмку и зло подумал, что совсем недавно уже слышал нечто подобное от существа, ставшего частым гостем в его доме.

— Нет, не забыл, да и не все могу рассказать, — вдруг оцетинился музыкант Петя, — разве расскажешь обо всем?

— А и не надо обо всем! Я был на последних твоих концертах...

— И что?..

— Да то, что подходить не захотелось, грустно. Грустно и досадно, — повторил Витька, — видать, спекся.

Это уже было страшно. Страшно, что даже Витька не подошел, не захотел, поделикатничал.

— И что, скажи, что меня может спасти? — чуть ли не заорал Петр.

— Спаси, говоришь? Все одно — пахота и музыка. Другое попробуй, хватит гнать своего Шопена, надоело, всем надоело. Тебе — в первую очередь!

— Да, я знаю. И уже кое-что начал. Но только подступаюсь, только ищу. Ты прав!

— Как же не люблю я быть правым! И обижать не хочется, но, правда, Петька, давай что-то придумай. Ну, отвали куда-нибудь, разведись, стань лысым отшельником, но отойди на время от музыки. Все, в завязке, словно с водярой завязал. Как, сможешь, выдюжишь?

Петр водил вилкой по пустой уже тарелке и думал, как же попал в точку его Витек. Зажирел, перестал страдать, точно. Ну, кошмар просто! Что же делать, что нужно делать?

Витька тоже доел свое мясо и молча посмотрел на Петра.

— Утешать не стану, лишнее. Сам поймешь, а может, и уже понимаешь, что дальше так — пропадешь. Еще можно что-то поправить. Наверное, — добавил он и поднялся. — Пойду, прогуляюсь, — сказал он и почему-то погрозил пальцем.

Петя откинулся на стуле и окинул взглядом зал. Та девица, что фыркнула недавно, оживленно щебетала неподалеку, а с нею был жирный дядька, кото-

рый все прикладывался к ее ручке и что-то нашептывал. Петр поморщился от очевидного мерзопакостного расклада и стал думать, почему его Витька не раздражает и что следует сделать уже завтра. И вдруг его обожгло: вот она, старая советская привычка — работать, что-то непременно делать, не заботясь о накоплении своих чувств, размышлений. Так хочется иногда просто зависнуть в прострации, посмотреть вокруг, оглядеться, посозерцать. Молодцы все же буддисты! Живут в такой гармонии и не думают о строительстве какого-то мифического, всякий раз нового общества. Думают о человечестве, о мире, о душе, наверное. Но тоже работают, но не спешат законопатить все свое наработанное в жесткие рамки, которые непременно как-то должны называться: общество такое, общество сякое. Или так только кажется и внутри у них эти самые рамки тоже всюю играют? От незнания такое чудесное хочется наворочать!

— Мечтаешь? — спросил Витька, потирая руки. — Давай, давай, полезно. А, знаешь, брат, я тут подумал, что не все так уныло. Может, подступишься к Баху или Бетховену? Даже и не выносить можно на слушателей, а сам для себя? Там же совсем другая история! Другая философия. Сечешь?

Петр внимательно посмотрел на Витьку и снова удивился дерзости его фантазий. Надо же, просек, причем, в самую точку.

— Я буду думать, Вить, — серьезно сказал Петр, — буду. Даже и начал уже. А ты что теперь делаешь, чем занят?

— Занят, Петюнь, одним, — скорбно сообщил Витька, — обустройством... нет, не дома, — засмеялся он, у меня его и нет совсем, а души.

— И как ты ее обустраиваешь?



— А очень просто: хожу, думаю, наблюдаю, что-то пишу.

— А я, и правда, подступаюсь. Как это тебе все известно?

— А что, когда кризис, идешь за великим: мыслями, личностями, историями. А тут все сошлось! Представляешь, Бах, в отличие от других гениев, прожил вполне счастливую семейную жизнь. И творил себе. Бывает же такое! Так что давай, подгребай поближе.

— Но как же так? Ты говоришь — кризис, все правильно, сам сознаю. Но почему великие могут помочь?

— Да все просто! Только там, только у них и черпаешь всю истину жизни, ее лад и гармонию. Чего наскрести по мелочам? Уж идти если, то идти правильным путем, тем, которым и те, величайшие, путь совершали.

— Эх, Витька, слушаю я тебя и диву даюсь: как у тебя все просто! Что мне великие, если я не таков?!

— Не таков или не готов? Это разное.

— Не знаю, может, и то, и другое. Кто я? Так, поддался Шопену, увлек он меня, что-то даже вроде и получилось. Но разве я услышал нечто такое, что поставило меня хотя бы рядышком с ним? Да нет же!

— А зачем рядышком? У тебя своя дорога, своя. Он писал, сочинял. А ты несешь его мысли, его переживания...

— Глупости это все! Как можно задругого рассказать его переживания? Придумали себе уловку — исполнители! Чего? Чьей-то воли, любви. Страсти? Обман все это, скажу я тебе.

— Это уже хорошо, что ты так говоришь. И думаешь так. Но как же я, как, к примеру, дядя Федя какой-нибудь узнает, что такое сотворил твой Шопен? Понятное дело — интерпретация. Но без нее никак! И

Толстого читаешь, все равно интерпретируешь, успокойся на этот счет. Ты считаешь его мысли, но никакой нет уверенности, что в эти минуты он, писатель, думал о чем-то похожем. Все дело в ней, в интерпретации, и это замечательно. Есть тексты, а ты их переводишь, перевоплощаешь, можно сказать.— Витька помолчал, что-то соображая про себя, а потом неожиданно добавил:

— Нет, брат, никогда бы мир не успокоился и не постиг какие-то пространства, если бы существовал только во власти каждой авторской идеи, трогать которую было бы запрещено. Написал — и все тут! А что бы мы, смертные, узнали бы про то, что он такое мыслит себе про этот самый мир, про его насыщение? Как бы поняли, что он такое, не притрагиваясь к нему и живя под вечными запретами? Нет уж, ты это брось, играй. Противоречь, вот, как теперь, к примеру! А ты в последнее время забыл об этом, противоречить перестал, понимаешь? Или ноты передаешь, исправно, хорошо порой, но душа твоя давно уснула, дышать перестала. Давай, Петька, просыпайся! — и он нацепил на вилку очередной кусок мяса.

Помолчали, за окном становилось как-то тревожно. Или так только Петру показалось? Но отчего-то захотелось домой. Сесть за рояль и начать прикасаться, как это он сам себе определил. То, дальнейшее, связанное не с одним только Шопеном. И тут же скользкая мысль снова полоснула, как это неоднократно случалось в последнее время. «А что, если этот — имелось в виду пришествие нового господина, цель посещений которого была по-прежнему не очень ясна — появится снова, и что тогда?» Однако Витька вновь обрел прежнее, разудалое какое-то настроение и не очень в тему сказал:

— А знаешь, Петька, не заморачивайся, прошу тебя. Уже одно то, что ты откопал для себя Баха — о многом говорит. Давай, думай, мечтай себе, и все уладится.

— То корил, можно сказать, что аж голову стал посыпать себе пеплом, а теперь, говоришь, думай-мечтай?

— И что? Конечно, мечтай, думай, только в норку больше не зарывайся. Кстати, как у тебя с любовью? Или так, сплошные семейные будни? Тут, мой дорогой, всплеск нужен, душа чтоб заволновалась, замучилась.

— А как же Бах? — спросил Петр.

— Ну, хватил! Такие раз в тыщу лет рождаются. И семья тебе, и праздник души, и все прекрасно. А главное — музыка! Да еще какая — трагическая! — он снова примолк на время, потом сказал неожиданно:

— Я тут подумал, да не все так просто у этого нашего великого. Может, он так мучился, что никто и не знал об этом, только в музыке самой это и прорывалось? А так — все гладко. Не находишь? Приписываю тебе одно: всплеск, наваждение, бурю и натиск. Ясно? Все, мне пора, философ ты мой.

Он поднялся, бросил салфетку, потом наклонился к Петру и шепнул: «А всякую бесовщину брось. Хотя, — он помедлил, — хотя куда ж без нее?!» — Сказал и покинул помещение ресторана один, без друга.

Петр почти ошолбенел: откуда что может быть известно Витьке? Что он себе возомнил? Что он знает? Но первая резкая мысль сменилась пониманием: ничего не значили слова Витьки, ну, в том смысле, что он не мог ничего знать о существовании Фредерика. Господи, откуда еще эта напасть-то? Что, тоже предупреждение? Черт возьми все это вместе с этим но-

воявленным Шопеном. Действительно, ничего уже не хочется играть, ни Шопена, ни Шумана, ни вообще романтиков и грустящих мужчин. Только один, только новый и неожиданный, только Бах! Скорей, скорей домой! Там, только там можно будет начать, и нечего медлить!

Петя едва не бежал домой, чтобы тут же, немедленно приступить. К чему приступить? — сквозило в голове. Да, да, приступить, нет другого слова, только оно сейчас что-то определяет. Изучать, вникать, вслушиваться, набрасываться, но не яростно. Нет, наоборот, именно так — яростно! Как и сам этот старец. Был ли он молод когда-нибудь? Или сразу, с молодых лет начал сочинять свою гениальную трагическую музыку?

Дома он сразу же сел к роялю, раскрыл ноты, которые много дней лежали рядом, и стал смотреть. Просто смотреть на ноты. Это были такие же знаки, как и на тысячах иных партитур, те же пять строчек, кругляшки, палочки... Но сквозь весь их строй проглядывало нечто такое, что бредило душу. Еще в этой, не озвученной пока бумаге, она уже звучала, его сумасшедшая музыка!

Петя сидел и слушал, шелестя страницами, эту молчащую пока рукопись. Она пела, смущала душу, что-то начинало твориться с головой, но брать первый звук, первую ноту пока не решался. Он был весь — ожидание и недоумение. Как, почему его раньше не сразило это знание? Что он так долго бедствовал, не решаясь вступить на новый путь? По-че-му? Ответа не было. Точнее, их была масса, но главного все же не было.

Он, наконец, тронул одним пальцем клавишу, затем сделал паузу и вдруг, как разъяренный зверь,

набросился на эту нечеловеческую музыку. И она поддалась, поддалась сразу, без проволочек, без промедления, словно сдернули накидку с зачехленной мебели. Она рвалась и стонала, горевала и подмывала бросить все: и саму жизнь, в конце концов, но только оставить ее, одну ее!

Петя не мог остановиться и все играл и играл. Ушли сопротивление и страх, тот, что мешал отдаться этой музыке и насладиться ею. Он был как помешанный. Все осознавал. Не пропускал ничего, ни одной ноты, ни одной вибрации ее, но, тем не менее, неся и неся вперед, не ведая ни сомнения, ни тревоги, ясно понимая, что он осилит, непременно осилит эту музыку в совершенстве.

Наконец он остановился, откинулся назад и прислушался к еще не оставившим его звукам, которые истаявали медленно и осторожно. Музыка не пропала враз и мгновенно. Она не только не исчезла, а напротив, наполнила и напоила все пространство вокруг. И вместе с ней пришло освобождение от застрявшей в последнее время тревоги. Беспокойство, неуверенность, которые он испытывал уже долгие месяцы, вдруг покинули его, и стало казаться, что ему под силу будет не только эта музыка, не только Бах со странной своей, почти что счастливой судьбой. Но и многое другое, вовсе не связанное с музыкой напрямую. Например, любовь, его Нина, ее судьба, ее будущность и, конечно, ее пение. Он ощутил резкую боль: как-то перевернулось сердце и через несколько минут встало на место. И снова стало понятно, что его пронзило, задело так, что вся внутренняя, вполне буквальная жизнь должна измениться и заговорить как-то иначе. Он толком еще не знал, как, каким образом, но верил в то, что перемены уже начались и остановить их невозможно.

Петр Венцлов поднялся, подошел к окну и стал смотреть в него, рассматривая привычную за долгие годы картину: горку впереди, которая в эту пору года еще не была в снегу и на которой не катались на санках дети, она была почти уже голой, не заросшей травой; но и снега, который лежал порой до самого конца марта, тоже пока не было. Какое-то срединное состояние, что-то между уже ушедшим и еще только готовящимся к наступлению. Зима задерживалась, и это нисколько не удручало Петра, скорее, напротив: он очень хотел, чтобы затянувшаяся осень все длилась и длилась, чтобы декабрьские дни продлились как можно дольше. Вот так, без грозных холодов и снега.

И еще одно немаловажное наблюдение он отметил. Его уже не тревожило появление в его жизни нового странного персонажа. Он впервые подумал, что какая-то толика правды в его обличительных речах все же была: наверное, так и есть — ушел Петр от своего предназначения, забросил самого себя и стал пользоваться давно привычным и наработанным. И снова его пронзила уже свободная и раскованная мысль: а ничего и не будет, если он подступится к Баху, совсем к другой музыке. Ему показалось, что этот путь и есть самый правильный и, более того, оздоравливающий. Смелость такой мысли и позабавила, и придала новый импульс уверенности: все еще может состояться, не все потеряно. Да и не все поняли, не все его поклонники, зрители, что с ним происходит, что он остановился и случилась едва ли не катастрофа. Но самые прозорливые, конечно, не были равнодушны к переменам, которые произошли с пианистом в последние годы. Ничего, он еще покажет, на что способен, еще все переменится!

В какой-то день он решил пойти в консерваторию. Это было определенным событием, поскольку в учебном заведении, которое когда-то сам и закончил, не был давненько. Ему важно было встретиться с Надеждой Осиповной, пожилой очень женщиной-педагогом, у которой учился в свое время. Он намеренно не со званивался, не назначал встречу, а решил именно так: неожиданно, не нарушая привычный ход событий человека.

На вахте все было по-прежнему: пропускали даже тех, кого видели первый раз. Так было и прежде, и это радовало. Он поднялся по лестнице, прошел по знакомым коридорам, даже потянул носом, с удовольствием отмечая, что и запах остался прежним. Запах дверей, коридоров и, главное, аудиторий, которые, даже будучи закрытыми, все равно источали тонкий, очень специфический аромат.

Около одной из них он остановился, прислушался, потом несколько отодвинулся и стал ожидать. Ему показалось, что голос именно Надежды Осиповны он услышал, которая что-то убежденно говорила кому-то. Наверное, очередному студенту или аспиранту, который вот-вот станет знаменитым. Интересно, сам этот студент осознает, уже ощущает, что он — знаменитость? А сам он, Петр Венцлов, тогда, в давние годы, понимал, что его ожидает слава, признание? Нет, конечно! Да разве об этом думалось? Нет, нет и нет! Точно, об этом не думал, это уж точно. Зачеты, разучивание новых партитур, концерты, подготовка к разным выступлениям, исключительно студенческим — вот круг, вполне привычный, который проходили все. Кое-как ели, вечно не хватало до стипендии, а уж у матери просить — нет, на такое не был готов, хотя она все же высылала, когда могла. А, правда, как жил?

Чем? Точно, были подработки, но не на вокзалах, не грузчиком — это точно. Смешно, но шел на все: уроки, левые выступления, на которые горазды были студенты, да еще что-то, но как-то жизнь не казалась плохой, страшной, голодной. Устраивались, что-то все делали, как-то жили. Даже и в кафе бывали. Не в таком, как нынешнее при консерватории, дорогое, неоправданно дорогое. А в каких-то скромных — точно. Но самое важное: никто не скулил, не отчаивался, казалось, что жизнь вечна и при этом еще и замечательна. Вот что!

Дверь открылась неожиданно, из нее выскочила с заплетенной косой девушка, и Петр сильно удивился, что в таком роскошном учебном заведении встречаются особы, которые еще носят косы. Никто больше, однако, не вышел, и тогда он заглянул внутрь. Надежда Осиповна сидела перед инструментом и поглаживала клавиши. Надо же, давешняя ее привычка никуда не делась, и она по-прежнему не могла оторваться от рояля, пока была возможность пребывать в аудитории. Потом приходили другие заниматься согласно расписанию, приходилось покидать ее, в конце концов. А пока педагог могла посидеть и подумать. Было, конечно, о чем.

Женщина обернулась, взглянула на Петра и обрадованно улыбнулась: узнала. Махнула рукой, попыталась подняться, но Петр сделал упреждающее движение и вошел. Обнялись, сказали хорошие слова и стали смотреть друг на друга.

— Петя, ты меня удивил! Ты, впрочем, всегда меня удивлял, — сказала Надежда Осиповна.

— А разве это плохо? — парировал Петр.

— Я всегда тебя любила. И все о тебе знаю. Ты — большой музыкант, — преподаватель помолчала, слов-

но раздумывая, продолжать или нет, — но мне стало казаться, что тебе нужно ко мне на урок. Или не ко мне. Но все равно на урок.

— Серьезно?

— Да, а ты не ощущаешь?

— Я и пришел потому. Потому, что стало как-то плохо внутри, что-то стало ускользать. Я начал терять.

— Вот. И я о том же. Но у меня есть маленький рецепт. Совсем маленький. Ты же слушаешь?

— Вас — да! — воскликнул Петр.

— А сам что думаешь? — не торопилась педагог.

— Подождите, скажите сначала, как вы, как здорово? Что сразу обо мне?

— Да вот, работаю. Наверное, и помру на этом стуле. Приросла совсем.

— Я так соскучился, вы не представляете.

— Почему же? Очень представляю. В особенности это тогда вас настигает, когда подступает какой-нибудь кризис. Нет?

— Думаю, вы правы, — откликнулся бывший студент.

— Знаешь, что я думаю? Нет, если не хочешь, я помолчу... Ясно, я поняла. Знаешь, что стало уходить? Мысль, сильная и глубокая. Тебе стал мешать твой же репертуар. Ты уже все выжал. Хватит. Иногда, чтобы воскреснуть и ожить, нужно от чего-то отказаться. Ну, не знаю, развестись, плюнуть на налаженную жизнь, нажитое добро, съехать с насиженного места, поменять еще что-то. Ты понимаешь, что-то сломать, совсем уже привычное и устоявшееся. Сло-мать! Но на это, как ты догадываешься, нужно мужество. Готов ли ты? Ой, да ты меня прости, — через некоторое время сказала Надежда Осиповна, словно спохватившись, — я тут говорю, говорю, а ты, может, считаешь, что ничего худого не происходит? А?

— Все так, все вы правильно говорите, дорогая Надежда Осиповна. Потому и пришел. Хотел, наверное, сам убедиться в своих опасениях. Сломать, говорите? Ну-ну! — вызывающе сказал Петр.

— Не обиделся?

— Да о чем вы? — воскликнул Петр и горячо обнял своего педагога, — спасибо, только спасибо. Я пойду. Как ученики? Не обижают? Только скажите.

— Ну, вот еще! Меня обидишь! — весело отозвалась Надежда Осиповна и даже погрозила пальцем кому-то.

Хотя наступил уже декабрь, у Петра настроение было под стать весеннему. Он много занимался, не отвечал на звонки, не включал телевизор и только сосредоточенно вчитывался, вслушивался в Баха. Закрылась даже мысль, что его необходимо изучить, вникнуть в него, даже если и не случится исполнять. Конечно, было страшновато. Все воспринимали его, Петра, как тонкого ценителя и интерпретатора музыки романтиков. Как глубокого лирика. Более же всего ему подвластен был Шопен. О нем он знал все. Знал о его жизни, превратностях любви, склонностях характера, даже о привычках. Не только ту часть биографии композитора, которая доступна и изучается в консерватории, но он еще в юности проникся им настолько, что действительно стал постигать и характер, и особенности личности. Так, например, он со временем понял, что Шопен с удовольствием сам погружался в страдания по какой-нибудь любви и долго и страстно носил ее в своем сердце, подвергая себя различным испытаниям и мучениям. Так, наверное, скроено было его существо, что именно это томление и мука приносили свои творческие плоды: он истово сочинял и думал, скорее всего, ни о какой-нибудь ре-

волюции, но все о той же стихии, что наполняла его душу. Именно она металась и жаждала освобождения и, как ни странно, закабаления вновь и вновь. Он настолько лелеял эти свои любовные мучения, что даже их вещественный итог перевязывал ленточкой и давал обозначение — «Мое горе». Его тянуло-то всегда к женщинам сильным, свободолюбивым, властным. Наверное, с самой нежной из них он вскорости бы зачах и сник. А так — сплошное вольнодумство, замешанное на мечтах о бесконечности своего чувства, которое — увы! — не было подвластно только его лишь настроениям. И он с охотой погружался в неизведанные глубины очередной страсти, превращая свою жизнь подчас едва ли не в пытку.

Куда там Баху с его мерным и поступательным движением жизни! Он не купался в откровенных страстях, они бушевали где-то так глубоко в этом человеке, что казалось, глядя на его портреты, что он и не был молодым, и не мог им быть, а всегда, с юности был стар и мудр.

И Петра никто не тревожил и не появлялся больше в их доме. Нина была, что-то делала, спрашивала, говорила, но как-то в стороне, как-то не задевая его настроения. Она не вмешивалась в процесс разучивания, не задавала вопросов, все в доме словно замерло и готовилось принять что-то новое, что так неистово возвращал в себе Петя.

Только однажды она спросила его, не хочет ли он пойти к их общим знакомым, на что он хмуро ответил, что очень занят. И она больше не приставала. А он и не видел, чем она была занята, что происходило в доме, где бывала. Он отрешился от всего настолько, что и Нине становилось не по себе.

Однажды, где-то в середине декабря он решил,

наконец, оторваться от своих занятий и позвонить человеку, который обычно занимался его концертами, поездками. Не то чтобы он был директор, нет, скорее, опекун, товарищ, поклонник, владеющий всей бумажно-бухгалтерской стороной творческой деятельности пианиста. Сам он проявлялся редко, зная Петин нрав, и это понимание позволяло удерживать их союз на протяжении многих лет. Особо Генрих Иванович не нуждался в зарплате, не был похож на привычных директоров, привычно обманывающих своих подопечных. В нем самом сидела какая-то неистраченная любовь к музыке, и он с готовностью делал все от него зависящее. Петя убежден был в его честности и порядочности. Главное же заключалось в этом странном ритме их существования: пианист объявлялся только тогда, когда имел какое-нибудь предложение, или наоборот — сам администратор возникал лишь в том случае, если поступало действительно заманчивое предложение.

Он не знал, что делал Петя, он просто ждал, что тот возникнет при первой же необходимости. И вот она наступила.

— Генрих, жив? Это я. Надо придумать поездку.

— Слушаю, Петр Теодорович. Далеко? Куда же едете?

— Куда-нибудь в глубинку, в Сибирь, например.

Повисла пауза, расценить которую можно было только так: человек, которому звонил известный пианист, просто растерялся. Ни по какой Сибири они не ездили лет двадцать.

— А программа?

Петр нетерпеливо перебил его:

— Программа вам неизвестна. Никому, впрочем, неизвестна.

— Ясно, понял. Сколько городов, дней? И сроки?

— Я готов. Можем собираться. И вы подготовьте все к самому ближайшему, — он повторил, — в кратчайшее время.

— Хорошо, я все понял. Наверное, пара городов, как считаете?

— Можно и пару, можно и совсем глубинку, без залов и свиты. Действуйте!

Он подумал, что на подготовку уйдет не меньше месяца. А, может, и больше. Но его Генрих проделывал вечно такое, что всего можно было ожидать. Петр не удивился бы, если бы и через неделю тот позвал его и доложил о готовности.

Такое сосредоточение исключительно на музыке Баха сделало свое дело: Петр и впрямь сделался отрешеннее, он был весь словно пронизан одной-единственной мыслью — не пропустить ничего из того, что так тщательно изучал. Причем, совсем не ноты, а то, что, скажем, в литературе называется «между строк». Тот второй план, третий, те глубины и подтексты, которые иногда вообще отстоят далеко от нот, определяя между тем самое главное в произведении.

И все же в какой-то день он поднялся и вышел из дома. Прошел по своей улице, которую любил и которая называлась улицей Щепкина. Располагалась она укромненько в очень симпатичном районе Москвы. Пусть и не в самом центре, ну, не на Тверской, скажем, но все равно улица была замечательная. Петя ее любил и только сегодня сообразил, как под стать она его нынешнему состоянию: такому же отрешенному и замкнутому на самом себе. Нет, недаром человек живет на той или иной улице, все не случайно. Забрались же они с Ниной именно сюда, почти рядышком с Садовым кольцом, и в то же время в тишине. Случа-

ется такое в этом мегаполисе. Точно, называется это, как сказала героиня в одном кино, — тихий центр. Она искала там именно такое тихое и одновременно не удаленное от пика города место. И очень хотела выйти замуж за героя, которого играл Папанов. Здорово играл, деликатно так.

Вот, стало быть, он жил в тихом центре, а сам никогда и не определял свое местожительство с таких позиций. Часто выезжал, покидал дом, эту улицу, но возвращение всегда таило не просто радость, но нечто такое, чему он так и не нашел названия. Что-то смыкалось внутри, начинало холодеть где-то внутри живота, и он, едва не утрачивая элементарную ориентацию, входил все же в свой подъезд и всякий раз пытался унять свое колотящееся сердце, поднимаясь к себе на пятый этаж.

Он вышел на Садовое, прошел какое-то расстояние и оказался рядом с каким-то кафе, которое прежде ему не попадалось. Чуть помедлив, он все-таки открыл дверь и очутился в весьма уютном месте. Оформлено заведение по заведенной нынче традиции было в старорусском классическом стиле. И самое удивительное заключалось в том, что интерьер не пахивал пошлостью и безвкусицей. Выдержаны были стиль, детали смотрелись очень кстати, и именно они создавали приятную атмосферу чего-то давно забытого. Камерность обстановки подчеркивалась прелестно выполненными светильниками, которые располагались по периметру заведения. Скатерти, а не блестящие современные тряпки, были настоящими, в приглушенных кофейных тонах. Стены покрашены в светлый тон, и только отдельные бордовые вкрапления на изгибах стен подчеркивали принадлежность интерьера к чему-то давнему, почти утраченному.

Подошедший молодой человек был строг, полон достоинства, и Петр снова удивился, как много в современной Москве он не знал и даже не мог предположить, что есть такое, как это место: интеллигентное и достойное. Официант не заигрывал, коротко сказал, что, на его взгляд, заслуживает внимания, и выжидающе замер. Петр, не торопясь, заказал мясо, закуску, немного подумал и решил выпить. Попросил сто пятьдесят граммов «старки» и снова огляделся. Народа было немного, и в самом углу он разглядел человека, встретить которого в таком месте никак не предполагал. Это была та самая женщина, из какой-то почти забытой жизни, когда Нина приревновала его на курорте. Женщина с низким голосом и очень неприятной манерой общения. Однако деваться было некуда, и Петр решил, что пусть будет что будет, и не стал прятаться.

Ему показалось, что и женщина заметила его, узнала. Но пока не подходила. И тут неожиданно зазвучала музыка, «Первый концерт» П.И. Чайковского, который он, конечно же, узнал сразу. Но сильная эта мелодия, наступательная даже, лилась и вторгалась в помещение, в сидящих людей не лавиной, не наскоком, а как-то деликатно. Имел, вероятно, значение звук, аппаратура и общий стиль заведения, где громкость звучания, сосредоточенная в одном месте, была бы лишней. Петр откинулся на спинку стула и стал вслушиваться в такие знакомые такты. Вспомнил, как еще в юности, в середине шестидесятых, он впервые услышал это произведение в исполнении американского пианиста. Уже тогда он почувствовал разницу с привычной ему школой, с узнаваемой трактовкой. То же, что делал Ван Клиберн, как он запрокидывал голову, как по-юношески радовался каждому такту вол-

шебного слова Чайковского, привело Петю в восторг. И все же он и тогда мечтал о большей силе и глубине. Пианиста выделили, наградили, осыпали почестями, но в душе у Пети так и закрепился образ человека, нечаянно прикоснувшегося к святой музыке, несколько своевольно ее использовавшего, но не сумевшего ощутить всю сложность и совсем не оптимистический дух русского композитора.

И тогда его мнение в музыкальной школе шло словно вразрез с теми восторгами, что сыпались на голову приезжей знаменитости. А Петя понимал, что пройдет время, что-то изменится, и Клиберн не станет большим, грандиозным музыкантом. Только память светлого времени, принесшего раскованность в настрой душ и умы граждан, сделали свое дело. Его ленинградская учительница музыки все недоумевала, отчего это он так равнодушен к славе, успеху заокеанского музыканта. Но Петя словно и тогда умел проникать в такое сокровенное, такое почти непостижимое, что и спустя годы оказался прав: вряд ли американец выдержал испытание временем, судьбой и просто проникновением в сложный классический материал.

Его мама в те дни, Нина Алексеевна, больше молчала и не перечила сыну. Она была явно за него. В этой хрупкой женщине таилась такая силища, что только спустя годы Петя осознал, как много она сделала для него. Сумела вытянуть в тяжелые годы две школы, отправила сына учиться в Москву, как могла, помогала. Много болела, но была крепкой, держалась. И умерла сравнительно недавно, всего семь лет назад. Так и жили в разных городах, но Петя сумел добыть для матери отдельную квартирку, был внимательным, слал деньги, наезжал.



Вот она-то, его дорогая мама, тоже что-то почувствовала и снисходительно относилась к славе американского пианиста. Может, думала себе, что уж ее-то Петр непременно станет большим музыкантом. По-настоящему большим и глубоким. Иногда и на концерты удавалось приезжать. Но больше, конечно, он сам бывал в родном городе и водил мать на свои концерты. Однажды после очередного концерта мама вошла в гримерку и молча присела. Ничего не говорила, а только смотрела на своего сына.

— Мам, чего это ты? Расстроена что ли?

Однако Нина Алексеевна продолжала молча смотреть на Петю и неожиданно спросила:

— А ты вот не помнишь, как тебе и в детстве казалось, что музыка звучит отовсюду. Ну, буквально отовсюду: из соседней стены, откуда-то с потолка. Иногда тебе казалось, что старинный чайничек, которому уже лет сто, наверное, было, однажды запел. И ты подхватил.

— Мам, что ты, неужели правда?

— Да, представь.

— И что же пел чайник, а я — вслед за ним?

— Знаешь, он пел не песню, в этом все дело. Ты как-то услышал сонату Шуберта, в гостях у моей сестры, может, помнишь? Так вот, именно эту вещь ты и воспроизвел. А это было не так просто. Это не песня какая-нибудь с конкретной мелодией.

— Да уж, неужели Шуберт? Его не пропоешь, это точно, — усмехнулся Петр.

— В том-то и дело, что с музыкой у тебя творилось нечто необычное. Она, и правда, звучала отовсюду и повсюду. Помнишь Вернадского — всюдность жизни? А у тебя была всюдность музыки. Ты спать ложился, я свет гасила, а ты все напевал что-то, но только не

популярные песни. И еще говорил, что музыка действительно находится везде и даже спать не ложится. А один раз заявил, что родишь сам такую музыку, какой никогда не было.

— Надо же! Нет, этого не помню, вот и композитором не стал, но читать чужое — это, мне кажется, могу. Слышать так, как не слышит никто. Одни и те же ноты, а вот ложатся они совершенно особенно. И так у всех музыкантов! Все слышат и вычерпывают свое. Ничего с этим не поделаешь. Да и не нужно ничего делать, иначе исчезнет сама профессия пианиста, исполнителя, истолкователя.

— Петя, я вот столько лет спросить тебя все хочу. Ты теперь уже, после стольких лет, после признания и уважения к тебе, ты считаешь, что так надо — играть чужое сочинение?

— Мама, ну ты даешь! А как же иначе? Как люди узнают, как поймут, что был, жил такой-то, так мыслил, так чувствовал?

— А может, он совсем и не так чувствовал?

— Ты права! В этом все дело! И все равно человека не остановить: он видит ноты и не может остановиться, начинает читать их, играть, передавать чувства и мысли другого.

— А если он ошибается?

— Точно, ты опять права. Вот. Чтобы не ошибался, мы и есть, и учимся, и вдумываемся. И играем по шесть часов. Все для этого, чтобы постичь другого.

— Как же это тяжело — другого понять. Ты вот точно знаешь, что понимаешь?

— Не знаю, я, правда, не знаю. Я только очень хочу это сделать. Мама, это самый сложный разговор, он бесконечен, как бесконечна сама музыка. Давай так: я играю, ты — слушаешь. И все. Другого нет ничего. Я серьезно.

Прошли годы, но разве что-то изменилось в попытке понять, зачем другому постигать кого-то, даже самого гениального? Зачем? Наверное, не для других, а, скорее, для самого себя. Чтобы и себя услышать, раскрыть, понять. Через этого другого.

Петя сидел и вспоминал давнюю встречу и разговор со своей мамой. Как же пронзительно она мыслила, как точно ощущала то, над чем бились столетия великие умы. Задавалась вопросами. Разве этого мало?!

— Простите, я не помешаю? — раздался над его головой голос, который он бы узнал из многих и многих.

Он поднял голову и увидел эту женщину, из-за которой были сложности у него с Ниной.

— Вы? Что вам угодно?

— Бросьте! «Угодно», — передразнила она, — мне угодно одно: ходить за вами тенью и, по возможности, портить вам жизнь! — засмеялась она и села без приглашения.

У Пети мгновенно испортилось настроение, он ничего не ответил и даже слегка отодвинулся, давая понять, что ему не хочется вступать в разговор, вести беседу.

— И все же, что вы желаете?

— Я?— Отозвалась странная женщина, которую, кажется, звали Лизой. Имя совсем не вязалось с легкой грубостью старой знакомой, которая не отличалась ни изяществом, ни изысканностью манер, ни просто воспитанностью. Было, однако, в ней нечто такое, что привлекало, заставляло смотреть. Эта явная грубость, может быть? Петя старался не смотреть, но все же улавливал не только ее интерес к нему, но и невяжущиеся со всем ее обликом замечательные, с рыжиной, густые вьющиеся волосы. Они шапкой обрам-

ляли лицо, ниспадали на плечи, в них можно было укутаться, как в теплый шарф, наверное. Он почему-то вспомнил Льва Толстого, как он описывал внешность сестры Андрея Болконского. Женщина была некрасива, и только глаза казались чуть ли не волшебными: большие, выразительные, они светились, и некрасивость молодой женщины уже не так бросалась в глаза. И здесь было что-то странное во внешности: некрасивая женщина с густой охалкой рыжих волос. Очень красивых, которые заслоняли эту непривлекательность. Становилось страшно: казалось, что женщина в какой-то момент становилась не уродливой, а привлекательной. Или происходила такая аберрация сознания, при которой что-то внутри менялось на прямо противоположное. Но все равно он решительно сторонился этой дамы, ему казалось, что от нее следует ожидать чего-то нехорошего.

Но дама и не думала уходить, она словно не слышала и не замечала явной нелюбезности Петра:

— Как вы живете? Творите по-прежнему? Я, правда, кое-что слышала.

Ах, это человеческое любопытство! Всегда хочется знать о себе немного больше, чем нужно!

— Что же? Что такое вы слышали?

— А-а, интересно? Слышала, что вы как-то спеклись что ли...

— Глупости, это неправда! — воскликнул Петр.

Женщина засмеялась и наклонилась совсем близко к Петру:

— Земля, знаете ли... Слухи!

— А что вы хотите от меня?— еле сдерживался Петр.

— Что значит «хотите»? Пообщаться, понять кое-что, — уклончиво ответила женщина.

— Послушайте, — поднялся Петр, — это переходит все границы, — оставьте меня.

— Ну-ну, бросьте! Что вы так ерепенитесь? Разве забыли наши посиделки тогда, на берегу моря? — нагло продолжала женщина.

— И что? Какие посиделки? Это не дает вам права ни на что! — вспыхнул Петр.

Женщина усмехнулась, слегка отодвинулась от Петра и неожиданно заявила:

— Думается мне, что все не так просто. Может быть, вы меня любите. Или потом полюбите, — задумчиво протянула женщина, — кстати, вы помните, как меня зовут? Лиза, помните, Лиза, — снова повторила она своим грубым голосом, о котором его Нина сказала: баритональный бас.

— Слушайте, еще раз повторю: я зашел отдохнуть, а тут вы... Неужели непонятно, что есть корректность, деликатность, в конце концов? Что вы навязываетесь? — уже устало спросил Петр.

— Заблуждаетесь! Я о другом. Слушайте меня. Если вы будете продолжать в том же духе, если ваш Шопен затмил для вас все и вся, то произойдет такое, что ни Фредерик, никто другой уже не поможет.

— Какой Фредерик? — насторожился Петр.

— А-ах, интересно? Подумайте, напрягите ваш светлый ум. Получается? Ничего не припоминаете? — продолжала интриговать Лиза.

Петр решительно поднялся, покрутил рюмку, в которой была водка, махнул ее и сделал движение, чтобы уйти.

— Как ваша жена? Говорят, снова поет? — не унималась женщина.

Тут Петр не выдержал: он схватил за руку нагло

улыбающуюся женщину, дернул ее и заговорщически произнес:

— Отвали, слышишь? Не нужна ты мне, совсем не нужна! — выдохнул он.

— Вот это уже разговор! — совсем не обиделась Лиза и уверенно налила себе остатки Петвиной водки в его же рюмку и залпом выпила. — А теперь слушай меня. Не бойся, всего несколько слов. Нина уйдет от тебя, и ты еще вспомнишь обо мне. Если хорошо попросишь, может, и помогу. А теперь — пока! — и на этих словах она поднялась, взяла свое пальто и вышла из заведения.

Петр впился руками в край стола и все никак не мог успокоиться. Подошел официант, склонился в вежливом поклоне и спросил, не нужно ли чего. Петр качнул головой, и было непонятно: нужно или нет.

— Повторить, может быть? — спросил официант, поднимая пустой графинчик.

— Наверное, да, — ответил Петр, — повторите, но только... только одну рюмку.

Он подумал, что почему-то перестала звучать музыка, и, когда подошел официант, он спросил, что случилось и отчего отключили звук.

— Одну минуту, что вы желаете? — спросил молодой человек.

— Я не знаю, что-то хорошее, может быть, Баха. Но, наверное, у вас нет, — предположил Петр.

— Отчего же? Есть Бах. Что именно желаете? Какое произведение?

Петру полегчало: если здесь знают, что есть Бах, и, более того, знают, что он сочинил, тогда не все так скверно в жизни. — Пожалуйста, на ваш вкус, — не стал обнаруживать свои знания Петр, — что есть, что сами хотите, то и ставьте.

Молодой человек отошел, и вскоре Петр услышал знакомые звуки той маленькой сонаты, которую он совсем недавно разучивал.

«Нет, рановато — месяц, могу не успеть. Лучше потяну, еще подумаю, поучу. Ну, полечу позже, что такого? Хотя, обкатать, опробовать лучше там, далеко от всезнающей московской публики. Ведь и там такие знатоки, такие тонкие слушатели попадаются — просто замечательные». Он слушал музыку, ту, которую собирался исполнять сам, вникал в нюансы чужого исполнения и понимал, все больше и больше осознавал, что пока не готов к аудитории. Просто не имеет права. И решил не спешить с поездкой, а расширить репертуар, взять не одного только Баха, но и небольшие вещи Бетховена, может быть, Моцарта. Учить, думать, не торопиться. И все же искушение поделиться своим открытием мощнейшего композитора с кем-то, публикой, живущей далеко-далеко, брало верх. Он подумал даже, что пусть это будет пока концерт, состоящий и из старого репертуара, и из того нового, что он начинал осваивать. Нет, наверное, не стоит отменять поездку, что-то поймется, узнается уже на публике. Он не допил принесенную водку, потому что и уже принятого количества вполне достаточно, и решил, что дослушает произведение и уйдет. Постепенно успокаивался и сосредоточивался на своем главном деле: даже находясь не у рояля, он все равно проигрывал своего Баха.

А на улице, между тем, было замечательно. Как-то повеселело, тучи, что томили столько времени, расползлись, и возникло в воздухе, на небе и вокруг то легкое, слегка возбуждающее настроение, которое он так ценил. Оно являлось всегда предвестником какого-то прорыва, всплеска фантазии, озарения. И он по-

вернул назад, к своей любимой улице. Шел и думал, как бы поскорей сесть за рояль сыграть эту тему Баха, которую слышал только что. И еще подумал, что он точно сделает это иначе, у него получится непременно сильнее и глубже. Так ему казалось. Был, конечно, осадок от неожиданной встречи, но Петр уговаривал себя плюнуть на это нечаянное обстоятельство и не придавать ему никакого значения. И все же он не мог не думать, как это, каким образом в одно и то же время и в одном месте нечаянно оказалась эта женщина. Почему возможно стало такое совпадение? И, может быть, встреча эта не так и случайна?

Но думать о неприятностях не хотелось, и Петр всячески отбрасывал нехорошие мысли и кое— какие подозрения. Ему хотелось домой, скорее к инструменту. До основного поворота оставался всего один небольшой кварталчик, и он успел еще подумать, как же здорово, что он живет в таком месте. Но не успел он додумать эту мысль, как остановился от неожиданности. Прямо впереди него, чуть ли не в нескольких шагах от него шла пара — и это была его жена Нина и Фредерик. Шли они довольно медленно, как-то так в такт, словно только и делали, что всю жизнь ходили вместе и хорошо изучили ритм шагов, движений каждого. Можно было слегка напрячься и услышать, о чем они говорят. Но Петр не стал этого делать, напротив, замедлил шаг и остановился. А парочка продолжала движение, не догадываясь ни о чем: ни о том, что кто-то может их увидеть, дать в морду или просто доложить Пете. Им было все равно, это бросалось в глаза. Они настолько были заняты собой, что и не думали прятаться, таиться. И еще: им было хорошо друг с другом — вот что бросалось в глаза.

«Господи, да когда же они успели? Неужели это Нина, моя жена, с ее представлениями о семейной жизни, где правит честность и доверие? И куда они держат путь, идя вот так вольготно, не таясь? Что, в самом деле — к нам домой? Нет, этого не может быть!» У Пети все кричало внутри, но каким-то десятым чувством он сознавал, что не должен забегать вперед, что должен узнать как можно больше. А на это требовалось терпение и выдержка. И он заставил себя не двигаться, более того — отойти в сторонку и ждать. Теперь ему, как он понимал, оставалось только ждать. И он решил, сжимая кулаки, вытирая потом мокрые руки о полы пальто, что выдержит, что узнает всю правду, чего бы это ему ни стоило.

Парочка удалялась, а он смотрел ей вслед, по-прежнему желая как можно скорее оказаться дома. Его не смутила даже мысль, что и они могли направиться именно туда. «Нет, вот уж этого не будет точно», — решил Петр и ускорил шаг, зная, как подойти к дому с другой стороны.

Оказавшись у подъезда и удостоверившись, что никого поблизости нет, он толкнул дверь парадного и вошел внутрь. Там тоже было пусто. Он ехал в лифте и надеялся на чудо: чтобы Нины еще не было и чтобы она появилась как можно позже.

Он подошел к роялю, откинул крышку и стоя, не присаживаясь, взял первые ноты. Потом постепенно стал все больше и больше проникаться музыкой, присел на краешек стула и уже не мог оторваться до самого конца сонаты. И в эти минуты он вспоминал какие-то обрывки детских игр, воспоминания теснились и наплывали одно на другое, а он все неистовее и упрежнее погружался в звуки музыки, которая будила

такие ассоциации, которые способны были перевернуть все что угодно, если нужно, и саму жизнь.

Он и не заметил, как, когда вошла Нина, которая стояла рядом и смотрела на него. Странно так смотрела, не восхищаясь, не улыбаясь, нет, она словно замерла в своем оцепенении. Наконец он дотронулся последний раз до клавиатуры, уже не беря звук, а только прикасаясь к клавишам, как это обычно делал, когда завершал исполнение, и только тут взглянул на жену. Смешанное чувство стыда за нее, неловкости и брезгливости обдало его, но он ничем не выдал себя, а просто спросил:

— Давно пришла?

— А я и не уходила, ты меня просто не заметил, — солгала Нина.

— Надо же! Действительно! Да, я же и не заходил никуда, сразу подошел к роялю, ты права.

— От тебя пахнет спиртным. Ты где был? — наступала Нина.

— Я? Что ты, тебе показалось! — добродушно солгал и Петр.

— Зачем ты врешь? Я что, не слышу запах? Тайны? Понятно! — воскликнула она и вышла из комнаты.

А Петр подумал, что ничего народ просто так не сочинит: верно, нападающий сам и лжет. Что только он отстаивает? Или медлит, может, ему страшно признаться во лжи? Как теперь Нине? Легче, и правда, обвинить, напасть самой. Чудеса! Он даже рассмеялся от неожиданной догадки.

Она заглянула и нервно сказала:

— Что, решил добить окончательно?

И Петя снова подивился женской изобретательности: как это так возможно, что только что шла с

мужчиной, а нападает на него? Но сдержался и весело ответил, что просто хорошее настроение и что, надеется, у Нины — тоже.

— Как, дорогая, тебе же хорошо? Нет же причин для печали? — провоцировал он ее.

— У меня всегда найдется причина.

— И какая же, позвольте спросить?

— Ты вообще перестал обращать на меня внимание. Я совсем одна, — продолжала лгать женщина, твердо веря, что говорит правду.

— Вот тебе — на! Когда это ты была одна? Глупости! Просто растерялась в последние годы. Но это ничего, ты же готова к новым действиям, поворотам в своей жизни, не так ли? Уроки берешь, запела, все нормально, даже здорово, а будет еще лучше.

— Это у тебя только все всегда нормально. Я не могу так жить. Я вообще не хочу жить очень часто.

— И что, даже и сегодня? — чуть ли не издевался Петр.

— И сегодня, и вчера, и часто.

— Нужно заняться делом, в крайнем случае — кого-то полюбить. Не пробовала?

— Какой же ты мерзкий все же! — оскорбилась женщина, еще час назад державшая под руку чужого мужчину.

— Ты говоришь, дома была? А что делала, о чем думала? — задавал свои вопросы Петя.

— Да, была, а где мне еще быть? — снова нападала Нина, выговаривая себе некое алиби. Знала бы она, что оно вряд ли нужно, что все известно, а что — нет, так вскорости станет известно.

— Да нет, могла бы погулять, пройтись куда-нибудь, — не унимался Петр.

— Что ты такое говоришь?! Куда, ну куда я могу пойти? И с кем, главное?

Это было круто, ничего не скажешь. Только когда оно началось, ну, ложь, вранье это? Неужели сам Петр повинен в том, что увидел пару часов назад? Что, действительно погрузился в себя и в свою музыку? А это что, повод для измен? Почему он просмотрел, когда, когда? — все не унимался он, задаваясь этими вопросами.

Он внимательно посмотрел на жену, затем поднялся, подошел поближе и взял ее за руку. Она тут же отдернула ее и отвернулась. «Вот, значит, как! Совесть есть еще!» — заключил про себя Петр и, не говоря ни слова, отошел.

Механизм лжи прост: говорить не то, что было на самом деле. Но загвоздка вот в чем: человек со временем забывает то, что придумал и помнит только истинные события. Вот на этом противоречии и можно, в конце концов, узнать правду. Но не к этому стремился Петр. Он не спешил уличить жену, напротив, ему хотелось протянуть как можно дальше: так было бы знать, что родной человек тебе лжет. И ведь совсем еще недавно она чуть ли не умирала, когда узнала, что жизнь Петра в опасности. И плакала над его телом и действительно думала, что он погиб, и это для нее было непереносимо. Что же, когда произошло? Что случилось и как этот идол, этот неизвестно откуда взявшийся проходимец смог склонить ее к измене? А то, что была измена, Петр не сомневался: достаточно было увидеть, как они шли, как склонялась ее голова к его плечу, как медленно они проходили тем путем, который прежде был привычен для Петра и Нины. Даже в этом он тоже усматривал измену.

Но сцепил зубы и стал ждать. Чего? — он толком не знал и только больше и больше осознал, что есть выход из положения, есть его Бах, та музыка, которая, и правда, спасает. Или спасет непременно. Он стоял у окна, тербил занавеску и по привычке смотрел в окно. Было темно, и лишь отдельные всполохи света, его игра, преломление лучей создавали настроение напряжения и ожидания чего-то. Чего — сказать трудно. Вдруг звуки Первой симфонии Яна Сибелиуса наполнили пространство квартиры, и Петр вздрогнул, оглянулся, но не увидел никого в комнате. Тот, пришелец, не появлялся. Стало даже весело: надо же, живешь себе, и неожиданно случается то, к чему ты не готов совсем, чего не ждешь. Откуда взялась эта изумительная музыка, как жил этот Ян Сибелиус, кого любил, о чем мечтал и как ему дышалось? Он подумал, что так мало знал об этом композиторе, редко исполнял, казалось, что это была не его тема. Но вот ведь — услышал и стоял как завороченный: так хороша была музыка.

«Боже мой, сколько еще не знаю: ни композиторов, ни их жизни, ни чего-то такого важного, что определяло их стиль, пристрастия в искусстве. Вот с Бахом чуть-чуть начинает проясняться. Только отдельные проблески проступают. Его сила соизмерима, наверное, с картинами Рембрандта. Та же мощь, вместе с конкретностью нечто глубоко запрятанное, скрытое. Не один лишь сюжет можно прочесть. Другое, не менее интересное. Чем томима была душа Баха, когда он сочинял то очень объемное, то совсем камерное, небольшое произведение? Сопоставление по годам вряд ли что даст. Разве проникнешь в судьбу, в те переживания, которые в один только миг способны менять и первую взятую ноту, и настроение, и состоя-

ние духа, наконец, тот покой или неистовство, в котором пребывал композитор.

Он много думал, много играл и понимал, что даже его попытка проникнуть внепознанное в Бахе тоже приближала его к постижению творца, к какой-то отгадке. И все вместе — это и была та работа, без которой разучивание только лишь нот не дает ничего ровным счетом. Конечно, ты фантазируешь, додумываешь за мастера, но во все эти минуты живешь только его судьбой, пусть и прописанной только в фактах. Проникнуть — как же это важно! Но как, как же это сделать? Только это, одно лишь это составляло теперь весь смысл жизни Петра. И на этом фоне меркло отступничество Нины, появление странного субъекта в его жизни да много чего.

Странное дело, приближение Нового года, а вслед за ним и долгая, затяжная зима не только не печалили его, но напротив, создавали ощущение чего-то протяженного и долгого, когда можно будет и впрямь насладиться своими занятиями, изучением судеб и звуков, мечтаний и нотных знаков. Обычно в это тяжелое для здоровья время он находил для себя и новые произведения, и их интерпретацию, и удавалось разглядеть то, что в другое время года как-то уплывало. Здесь же, зимой, случались всякий раз такие превращения, такие подарки в его музыкантской практике, что он только диву давался: как это время здорово работало на накопление, познание, проникновение далеко вглубь. Все равно чего: самого произведения, каких-то отношений, которые именно в эту пору выравнивались, прояснялись, и вообще многое становилось понятным. Весной уже все было иначе, а уж летом и тем более. Конечно, гастролей хватало и зимой, но все равно это было какое-то благостное вре-

мя, способствующее переосмыслению многого и многого.

А вот Нина терпеть не могла зиму, и ему всякий раз стоило больших усилий уговорить ее ехать вместе на гастроли. Она в последние годы совсем не любила покидать привычные места, дом, менять уклад жизни. Но Петр не придавал этому обстоятельству большого значения, ездил один, сопровождал его, как обычно, Генрих Иванович. Ни в поездках, ни на отдыхе, ни будучи дома, он никогда и не помышлял об изменах. Мог, конечно, засмотреться, но на этом все и заканчивалось. И дело, быть может, не в такой уж его чистоплотности и безгреховности, нет, он просто вполне был доволен своей личной жизнью и тем, как они жили с Ниной. И только в последнее время что-то стало напрягать и то пространство, которое казалось таким безоблачным и органичным, стало понемногу утрачивать свой чистый привкус. Ну, а уж последнее, что он сам увидел, и вовсе говорило о том, что произошло нечто совсем-совсем плохое, чему названия пока он не находил. И дело не в названии, а в его оценке: нельзя было не понимать, что Нина в какой-то момент отодвинулась настолько, что измена оказалась неизбежной.

Он взял со столика ее фотографию, всмотрелся, отодвинул слегка и вдруг услышал прямо над собой голос. Он-то, наивный, думал, что все плохое уже миновало и возврата к видениям или что это там было на самом деле, уже не будет. А тут — вот, пожалуйста, случилось!

Он обернулся: перед ним стоял Фредерик и на этот раз не улыбался, а смотрел даже как-топокаянно. Был он в привычном сером костюме, а в руках держал какое-то подобие трости. Не самую настоящую трость,

а какую-то часть ее, почти половинку. Что это был за предмет, сказать было трудно, да это и не особенно заботило Петра. Он почти равнодушно протянул:

— А-а, снова вы? Давненько, однако, отсутствовали. Что на сей раз вас привело в этот дом? Даже странно... — Он не закончил фразы, так как человек из рояля дотронулся до руки Петра и неожиданно произнес:

— Видите ли, я хотел бы внести некоторую ясность, — был он явно взволнован, палку свою, похожую на трость, постоянно теребил, и на лице его уже не блуждала его вечная сардоническая усмешка. — Дело в том, что мы с Ниной уезжаем.

Петр посмотрел в окно: как же ему не хотелось развивать этот неприятный разговор! Но он сдержался и так же, не глядя на пришельца, спросил.

— А Нина в курсе?

— А-а, шутить изволите? Понятно, — отвечивал Фредерик, — а мне, представьте, не до шуток.

— А вам до чего? — вполне серьезно спросил Петр.

— Мне? — он явно медлил, словно выжидая чего-то, но только чего именно, Петр не знал.

— Да. Нина, жена моя, она в курсе ваших планов?

— Ох, я бы на вашем месте так не шутил, — отвечал Фредерик, почему-то опустив голову.

— Что, неужто влюбились? — не сдержался Петр.

Гость выпрямился, одернул полы пиджака и неожиданно выпалил:

— Выхода больше нет...

— Как это — нет? — спросил Петр.

— Дело в том, что мы совсем уезжаем, вы не поняли.

— Да все я понял, слух вроде бы ничего еще, — довольно миролюбиво сказал Петр, но его снова перебибли.



— Вы не даете мне сказать. Дело в том, что мы любим друг друга и что...

— Да, я вас слушаю, продолжайте, — помогал Петр.

— Да, любим, уже вполне уверенно заявил Фредерик и почему-то потер руки.

— Да не нервничайте вы так, — снова вполне спокойно сказал Петр.

— Я больше не побеспокою вас, можете изучать своего Баха. Это вы очень правильно делаете.

— Ой, только без рекомендаций, — одернул его Петр.

— Да, правильно. У вас появились силы. Вспомните, что еще недавно я вам говорил. Помните? Вы справитесь с этой ситуацией, уверяю вас. А мне это необходимо. Я понял, что вы сильный, справитесь. Да и что говорить? Нину вы почти забросили...

— Как это? Она что, по-вашему, ненужная игрушка? Может, прочитанная книжка?

— В каком-то смысле — да! — воскликнул Фредерик, обретая былую уверенность. — Вы вычитали ее, она для вас...

— Ну, продолжайте, — подбодрил его Петр.

— Вы не любите ее, — решился, наконец, гость.

— А вы? — парировал Петр.

— Я?

— Вот именно, вы?

— Я вам уже сказал, мы оба любим.

— Боже мой, какая, в сущности, банальная ситуация! — не сдержался Петр, — вот уж не ожидал, что буду участником семейной мелодрамы.

Был конец декабря, давно уже стемнело, и в какой-то момент Петру начало казаться, что он присутствует не здесь, не рядом с этим странным существом по имени Фредерик, а совсем в другом месте, назва-

ния которому пока не находилось. Действительно, что это было за место? Какая-то кривая дорога, покосившийся домик, совершенно одиноко стоящий, вокруг — никого и ничего. Что за аберрация сознания?! В какую-то секунду оба и впрямь оказались стоящими в небольшой прихожей, из которой шла дверь в комнату. Так, по крайней мере, казалось. Но все вышло совсем не так. Дверь, которую толкнул Фредерик, открылась, и Петр увидел прямо перед собой небольших размеров бассейн, никак своим роскошным убранством и отделкой не сочетающийся со всем вокруг. Из замызганной прихожей — выход к воде! Да еще какой чистой и прозрачной, подсвеченной огоньками, с лестницей, бьющим фонтаном прямо посередине этого сооружения. Петр восхитился и не удержался:

— Я-то думал, что все ваше богатство — это чудная прихожая, а тут такая роскошь! Здесь собираетесь обретааться?

— Может быть, — уклончиво сказал человек в сером пиджаке, с которого слетела его неуверенность, и он постепенно возвращался к себе прежнему: язвительному, нахальному, циничному.

— Ничего себе, только не вижу предмета вашего восхищения и муки.

— Какой еще муки? Я, скажу вам, вообще не мучаюсь, — съязвил Фредерик.

— Ну, это самонадеянное заявление, не спешите так, — улыбнулся Петр, которого, по-видимому, уже ничего не удивляло.

Тут Фредерик сел прямо на кромку бассейна, свесил в воду ноги в своих начищенных башмаках и снова, как и в квартире Петра, опустил голову.

— Вы не все знаете, да и стоит ли вам..., — он не докончил фразы, как появилась маленькая девочка в

розовом платице, которую, как показалось Петру, он уже где-то видел. Девочка подошла к сидящему у бассейна человеку, обвила своими розовыми руками его голову и спросила:

— А я купаться сегодня буду?

Этот простой и наивный вопрос заставил Петра несколько по-иному взглянуть на происходящее. Неужели это маленькое существо имеет отношение к огромному дядьке? Кто она ему? И почему так ласкова с ним?

Фредерик улыбнулся, погладил девочку по спине и заглянул прямо в глаза:

— Чуть попозже, потеплеет вот, ладно?

— Но уже скоро обед, когда же? — не унималась девочка, и Петр снова подивился превращениям времени: они совсем недавно были в его квартире, где темень за окнами говорила о том, что вот-вот наступит ночь, а тут, на тебе, снова день что ли?

И тут Петр удивился еще раз:

— Папа, ну, давай искупаемся, ты же вчера обещал! — все теребила розовая девочка большого века в сером костюме.

— Скоро, совсем скоро, — отозвался, наконец, отец и почему-то взглянул на Петра. — Что, удивлены? — спросил он.

— Мне кажется, я уже ничему не удивлюсь. Была ночь, стал день, куда-то подевалась моя квартира. Не знаете ли куда, кстати?

— Да не волнуйтесь вы так! — воскликнул Фредерик. — У меня столько всего!

— А я-то запечалился: как жить будете? Нина моя, — он поправился, — ваша, забыл, знаете ли. Так вот, Нина любит комфорт, это точно. Вы ее, наверное, этими благами соблазнили? — Петру стало совсем смешно и даже весело.

Фредерик поднялся, поболтал ногами, освобождаясь от воды, наклонился к розовой девочке и что-то шепнул ей на ухо. Она тут же убежала, на ходу развязывая бант и напевая.

— У вас вся семья, выходит, музыкальная? — не сдержался Петр. — Вы, часом, не волшебник? Может, я просто чего-то не понимаю? — он подергал себя за ухо. — Вот вы, к примеру, что больше предпочитаете — езду на машине или поезд?

— А это-то к чему? — нахмурился Фредерик. — Я перемещаюсь иначе, — загадочно сказал он.

— На ковре-самолете или на истребителе?

— Вы почти угадали, именно так.

— Ну, от вас я ничего другого услышать и не ожидал.

— Не спешите, прошу вас, не спешите. Могу и рассказать, — словно подбадривая самого себя, сказал Фредерик. — Дело в малом: я не только не музыкант, я даже нигде не учился, да вы, как пианист, вполне это сами могли и распознать. Так, играю себе, но больше как математик, как человек, изучивший природу цифр, а главное — другое.

— И что же это другое? — спросил Петр.

— А то, что я не только физик, математик, кандидат физмат наук, но я еще кое-что понимаю по части времени и пространства. Вы вот, к примеру, уже устали, наверное, удивляться всем этим перемещениям, моему появлению и решили одно из двух: либо крыша поехала, либо попали в сказку и, кроме сказочного объяснения, этому нет иного. А напрасно, скажу я вам.

Было видно, как Фредерик все больше увлекался собственным рассказом и как его воодушевляло то, о чем он говорил. Он возбужденно ходил вдоль воды,

откуда-то в руке появился прутик, которым он время от времени взрывал поверхность воды. Вообще эта привычка что-то непременно держать в руке и производить этим предметом какие-то движения уже давно была отмечена Петром. Даже когда он увидел их вместе с Ниной, он тоже держал какую-то палочку, похожую на трость. Что это, неуверенность в себе или постоянная потребность что-то чертить, хотя бы и в воздухе?

— Так вот, я о времени. С ним не все так просто. Можно даже сказать, очень сложно. Вещь это материальная, я имею в виду время. И может спрессовываться, искажаться, преломляться. В особенности мне нравится это его преломление, удивительная способность. Оно иногда идет впереди событий, словно опережая их, подталкивая к какой-нибудь развязке. Иногда, очень-очень редко, наоборот — способно оповещать о будущем, предвидеть его...

— Вы, что же, предсказатель, экстрасенс? — съязвил Петр.

— Так я и знал! — воскликнул кандидат физмат наук. — Нет, не то, я ученый, по крайней мере, был им, когда служил в официальных учреждениях. Потом, когда зарулили докторскую, в которой и шла речь о будущем и об этих искажениях времени, плюнул и ушел в никуда. В такое пространство, в те территории, которые способны мне подчиняться, способны к превращениям. В нем, в пространстве, есть такие зоны или территории, в которых время, и правда, искажается. Но при определенных условиях. Где играют роль два фактора: личность человека, его психологическая податливость, уязвимость. И второе — точная географическая точка. Она очень локальна, можно пройти в пяти метрах от нее и никуда, ни в какой разлом, ни

в какое иное время не попасть. Потому так редки подобные совпадения. Необходимо, чтобы сошлись несколько факторов. И один из них — эта особенность психологии, особая структура личности. В этих зонах — пересечение энергетических узлов на земле. Причем, как с выделением положительной энергии, так и наоборот. И эта вторая, то есть отрицательная, способна к поглощению энергии и искажению времени. Первопроходцем в этом вопросе был наш, питерский, ученый Козырев. Попинали его изрядно. Потом я, было, сунулся, но не тут — то было, не дали. А на днях буквально прочитал в солидном журнале, да и в интернете это было, как американцы провели эксперимент по остановке времени и света. Вдумайтесь только! — света, уж не говоря о времени. Они же, путем построения зеркал, их кривизны, формы и еще многого, соорудили нечто, ну, чтобы было понятно, похожее на наши комнаты смеха. Бывали в детстве? Не знаю, есть ли они еще, но, по крайней мере, такие игры не чужды рациональным заокеанским физикам. У одного и впрямь чуть крыша не поехала, но цель-то была иная — изменить пространство и попытаться попасть в него путем многочисленного переотражения света. Это зеркала, отражающие бесконечно друг друга. Отличие от детской комнаты в том, что там просто плоскости зеркал, здесь же их многочисленные переотражения. Они висят там, как сосульки на крышах. И эта-то кривизна меняет представление не только о самом пространстве, но и о времени.

Было заметно, как тема эта выстрадана рассказчиком, как он озабочен этими проблемами, и невольно вкрадывалась мысль о том, зачем ему вообще понадобилась музыка.

— А как математику то, что вы слышите, видите в музыке? Она вам зачем?

— Ну-у, это же просто! — удивился ученый пианист, — музыка по большому счету и есть математика, со всеми этими расчетами, совпадениями и тоже, заметьте, искажениями. Все в ней, в математике. Помните Аристотеля?

И Петр снова, уже в который раз за этот день или вечер — трудно сказать точно — подивился тому, как его Витек говорил почти о том же, только не включал сюда время и пространство. Но, конечно, он ведь философ, точность и материальность мира ему ни к чему. Однако что-то в этом есть, наверное, коль скоро с разных сторон и из разных наук нехилые умы берутся разгадывать природу и свойства музыкального дела. Даже не искусства, а природы музыкальных вещей, трансформации звука из глубин человеческого сознания, образного видения мира в нечто конкретное, способное к запечатлению. Даже и на нотной бумаге. Придумали же эти линейки, значочки, кругляшки, до этого всего дойти надо было.

— А как же история с выстрелами? Что, тоже другая зона?

— Именно! — чуть ли не вскричал физик-математик. — Вы-то, небось, думаете, что это вот месяц назад произошло, ан нет! И было это совсем, может, и не с вами, да и не в вас стреляли, и не Нина ваша стенала.

— Быстро у вас, однако, все сладилось, — заметил Петр.

— Ошибаетесь снова! — обрадовался Фредерик. — Сладилось года два как. А реальность и плотность такие, чтобы и вы поняли, меня увидели. Да, не так и давно.

— Вы что же, не из самого рояля объявляетесь? А из времени иного? Что ж, это тоже своего рода сказка.

— Да поймите вы, никакая не сказка, а самая настоящая реальность! И вы еще поймете, как заманчиво, как удивительно попадать в некую бесконечность и сознавать, что тебе многое подвластно.

— Ну вот, а избежать чувства, любви, словом, не удалось даже вам. Она и накрыла все ваше пространство вместе со временем.

— И, слава богу, скажу я вам. Кому ж удастся ее обойти, избегнуть. Сторонишься, убегаешь, а она, злодейка, все равно настигнет!

— Почему же злодейка?

— Да потому хотя бы, что она равна судьбе, а та, как известно, злодейка: что хочет, то и творит! И никуда от нее не скрыться. И это самое настоящее счастье! — заключил ученый.

— Что, и вам известно, что это такое? — спросил Петр.

— Ну, это вы теперь со зла, понимаю. Я все, мой друг, понимаю.

— Никакой я вам не друг. Несмотря на все ваши заманчивые теории. Нет, не друг, — повторил Петр и попытался выйти из помещения, где вода становилась все темнее и темнее, и неожиданное волнение на воде было похоже на маленькое разбушевавшееся море, края которого делались все менее отчетливыми, и на темном фоне воды возник откуда-то то ли призрак, то ли истинный корабль. И постепенно стало проявляться одно: то, о чем говорил Фредерик, не так уж и сказочно. Может, и, правда: пространство, как и само время, способно менять представление о конечности, о границах и перетекать в иные измерения и сферы, даже становясь другими объектами и сущностями?

И вот уже они стояли не возле бассейна, не на тверди суши, а держались за поручни корабля, кото-

рый несся так стремительно, рассекая волны, словно для него не существовало вообще никаких преград. Удивительное дело, но казалось, что кроме них на этом судне не было больше никого. Или это снова только казалось?

Волна настигла края кормы и резко хлестнула в лицо Петра. Была она холодной и жесткой. А цвет больше походил назеленый, и Петр даже подумал, отчего это иногда по-разному называют моря — то черным, то красным, если на самом деле вода в них совершенно зеленого цвета?

Он отодвинулся от поручней и хотел было пройти куда-нибудь, в более теплое и приветливое местечко, как Фредерик, словно предугадал его желание и пригласил в каюту, но не в такую, какие видел Петр, переезжая иногда на гастроли и по воде, а большую и очень насыщенную солнцем. Он даже поднял голову, огляделся в поисках ответа: откуда сюда так щедро проникает солнце? Оказалось, что потолок в помещении был прозрачным, стеклянным, и не мудрено, что свет так и переполнял пространство. На стенах тоже было не то, что соответствовало бы внутреннему убранству корабля. Нет, напротив: висели гобелены, и казалось, что эта большая комната к плавсредству имеет отдаленное отношение. Два дивана с роскошными обивками, бар, киноэкран, а также бассейн с рыбками дополняли картину. «Что им рыб в море мало?» — удивился Петр. И его проводник по необычным местам словно угадал вопрос Петра.

— Видите ли, здесь можно не привинчивать все, как на обычных кораблях: ничто никуда не упадет.

— Ну, это уже что-то запредельное. Так не бывает! — отчеканил Петр. — Есть же принцип гироком-паса.

— Ох, какие познания! — воскликнул мужчина в сером костюме. — Он есть и здесь, и путь нам указывает, но особенно и не нужен. Вы до сих пор не поняли, что мы с вами живем и движемся совершенно по другим, может быть, и не совсем принятым, законам физики. Нигде же вы не прочтете о том особенном состоянии времени и пространства, о котором я вам говорил недавно. Оно работает и здесь.

— И что же ваше пространство? Оно, что, может и здесь меняться?

— Самым естественным образом, — заверил Фредерик.

— Ну, я бы сказал, — противоестественным.

— Ошибаетесь, мой друг, — снова оживился новый знакомец Петра, — законы везде одни и те же. Только одни открыты и поняты, другие же — только в стадии осознания. А есть и те, что подвластны разуму очень и очень немногих.

— И вы — один из них? — съязвил Петр.

— Можно сказать и так, — покорно принял выпад Петра Фредерик.

— А где мы, можно спросить? — задал естественный вопрос Петр. — И знает ли Нина, в каких вы или я краях?

— А вы не волнуйтесь так, она скоро появится, — очень спокойно заверил Фредерик.

— Что? И она здесь?

— Ну, куда же нам без нее? — усмехнулся мужчина, влюбленный в жену Петра.

— Вы, что же, это серьезно?

— Вполне, — ответил, приглаживая свои волосы, любовник Нины.

— Ну, уж нет, нельзя ли применить ваши необыкновенные способности и отправить меня куда подальше? Например, вернуть в свой собственный дом?

— Можно, конечно, можно. Но неучтиво как-тоне поздороваться с женой. Она все еще ваша жена, заметьте! — воскликнул Фредерик.

Петр опустил голову на руки, словно примеривая на себя новую роль то ли покинутого мужа, то ли еще ничего не знающего об измене, но все того же мужа. А, правда, кто он теперь? И выберется ли когда-нибудь на берег, попадет ли к себе домой?

Ответов не находилось, и Петр решил покориться обстоятельствам и принять все то, что совершается, не сопротивляясь судьбе. Действительно, куда еще она заведет и его, и всю ситуацию?!

Нина появилась как-то сразу и неожиданно. Было понятно, что она возбуждена, весела и ей очень приятно находиться на таком замечательном судне. Волосы ее развевались, она беспричинно чему-то улыбалась, и казалось, что сам ветер и это прекрасное море ее совершенно раскрепостили. Она нисколько не удивилась тому, что на судне находится и Петр, и обратилась к обоим.

— Ой, Петя, как же здесь здорово! Мальчики, вы видели, вот только что проплыла огромная рыбина, и мне показалось, что она махнула хвостом. Хотя, как вам отсюда ее увидеть? — она закружилась, как делала это всякий раз, как только удивительное настроение, похожее на эти раскачивающиеся волны, охватывало ее. Похоже, ее нисколько не смущало ни присутствие Петра, ни то, что двое мужчин вели только что какой-то напряженный разговор. Нет, она кружилась, а потом запела, и не свою любимую арию Далилы или Леля, а современную песенку, одну из тех, о которых всегда отзывалась очень несимпатично. Но, по-видимому, сейчас ей было все равно, что петь, лишь бы пропевать чистые, округлые, богатые обертонами звуки.

Неожиданно и Фредерик поддался ее очарованию и тоже запел. Петр впервые слышал, как поет этот большой человек в сером костюме, и очень был удивлен: его пение словно слилось с Нининым, и они составляли весьма приятный дуэт.

«Вот оно, вот что, — думал Петр, — так они и на самом деле спелись. Этот черт все сделал для того, чтобы увести ее. Мало того, что стала врать, да еще так бессовестно, так и поет всюю и кружится. Ну, уж нет, с меня хватит!» — успел подумать Петр, а сам посмотрел вперед и увидел, что корабль отчего-то пошел с невероятной скоростью. Задребезжали рюмки, посуда, что-то даже грохнулось об пол, но Петя вышел из помещения, оказался на просторной палубе и удостоверился, что их корабль несетя так быстро, так неистово, что вот- вот может и взлететь, и стать другим каким-нибудь средством передвижения, причем, самым фантастическим.

Но его более всего в этой нескончаемой веренице мистических превращений, выдумки и чего-то, что к реальности не имело никакого отношения, заботили не эти прыжки во времени и пространстве, а его Нина и этот новый человек. Хотя, да, какой уж он новый?! Он посмотрел внимательно на ее лицо и не узнал его. Не узнал какого-то нового выражения его. И ему сделалось неприятно: он подумал, что такое лицо он вряд ли полюбил бы! Появилась на нем иное выражение, иной оскал что ли. Нина, всегда такая добрая и приветливая, все больше стала отдаляться от него, даже и при том, что все еще пела и временами кружилась в странном танце. Его даже полоснуло: неужели, и правда, это она, его дорогая жена? И тут же поймал себя на мысли, что и не жена, и не дорогая она ему, и что все происходящее непонятным образом отодвинуло и

ее, и саму реальность, в которой они прожили с ней почти двадцать лет.

Он отошел от того места, где так игриво резвилась Нина и где Фредерик с восхищением наблюдал за ней. Он перешел на противоположный борт, хотя далось ему это с трудом: так раскачивало и несло корабль. И все же желание остаться одному пересилило: он больше не хотел наблюдать за весельем и счастьем двух людей, которым он постепенно стал чужим. Вернее, одному, своей жене. И снова спросил себя, когда началось, с какого момента стало расти, шириться это непонимание и отчужденность? Ведь еще совсем недавно она так ловко накрывала на стол, готовила ужин, они выпивали? Когда? Или снова эти штучки со временем, и он даже не успел заметить, когда это произошло? А может, он уже очень и очень давно живет в таких условиях, не понимая ее, не видя провала, что произошел? Может, этот Фредерик сделал все так, так устроил, что не только забрал жену, но и изменил представление о ней? Странно, как это все мешает жить. И тут же поправил себя: ничего не мешает, а, может, напротив, создает ту нужную, ту особенную грань, которая одна только и позволяет балансировать на острие жизни, со всеми ее выдумками и фантазиями? Может, именно она поможет по-новому взглянуть и на музыку, на самое себя, понять, что делать и куда двигаться. Ладно, пусть так и будет. Скорей бы только появился дом, чтобы сесть за рояль и услышать Баха.

И в ту же самую минуту он с удивлением обнаружил самого себя, сидящего на привычном месте у себя дома. Он помолчал какое-то время, а потом решил, что удивляться уже попросту нечему. Ну, и что такого, что куда-то делся, испарился корабль с выгнано-

вывающей Ниной и ее кавалером, что все, сказанное Фредериком, — правда и от этого никуда не деться? И что теперь? Ну, уж нет! Есть, в конце концов, он, есть дом, есть инструмент, за которым он сейчас сидит и вслушивается в молчание пока нотные знаки.

Он все еще молча сидел и прислушивался к звукам не музыки, но тем, которые можно было разобрать за окном. И снова — в который уже раз! — подумал, как хорошо, что он живет именно на этой улице и в таком доме. Он действительно любил его, свой дом, эту квартиру, которую смог купить еще в те времена, когда ничего так легко не продавалось. А он все же смог! И здесь заслуга была его и его, как ни странно, приятеля Витьки, который в пору учебы в консерватории, имел обширные связи, мог запросто помочь в решении совсем нерешаемых проблем. Себе, кстати, он делал меньше всего, а вот помогать обожал. И тогда он придумал какую-то схему, нашел подходящую бабульку, которая потом и переписала квартиру на Петра, еще прожив в ней целых пять лет. И они с Ниной жили вместе с ней, и очень даже неплохо жили. Бабушка была преданнейшей поклонницей музыки, а уж Петра — и подавно. Это-то обстоятельство и сыграло свою окончательную роль. Она даже не посмотрела на то, что обделила племянника, а без всяких вымучиваний и дополнительных условий взяла и подарила квартиру Петру.

Понятное дело, они с Ниной ухаживали, кормили— поили, но союз этот, просуществовавший несколько лет, принес и им с женой много хорошего. Так, они беспрепятственно уезжали со своего насиженного места, не боясь за жилье, его сохранность. Ездили подолгу и не беспокоились ни о чем. Витька навещал их бабулю, разговаривал с ней об искусстве, прежде все-

го — о музыке, и всякий раз разговор плавно перетекал к обсуждению Петра и Нины, их жизни, любви, работы. Надежда Витальевна — так звали любительницу музыки — иногда выражала некоторое опасение в отношении будущности Нины. Ей казалось, что Нина никак не раскрылась как певица и что Петр к этому не прикладывает почти никаких усилий. Так оно и было на самом деле. Петр был занят репертуаром, репетициями, но меньше всего в этом была задействована его жена. Поначалу это не особенно и заботило, но потом, с годами, все яснее становилось понятным, как права была их бабушка, так прозорливо увидавшая всюдальнейшую историю их жизни. Она и сама то была в прошлом не только любительницей, но и педагогом известного музыкального училища и музыку знала, разбиралась в ней хорошо, а талант Нины видела отчетливо. Но спорить — нет, никогда не делала этого. Более того, в осторожных своих суждениях только намеком, только очень неназойливо замечала, какой талант отпущен ее квартирантке, потом хозяйке, но прежде всего — певице и жене музыканта. Она их так и называла — мои романтики. И действительно, в ту пору, пору молодости и беспечного времяпрепровождения, когда все давалось легко и стремительно, казалось, что так будет вечно и что талант, силы, вдохновение и успех никогда не иссякнут.

Жизнь с Надеждой Витальевной не доставляла никаких хлопот. Видимо, сказывалось обоюдное увлечение музыкой, любовь к ней и просто единая профессия. Пожилая женщина была на редкость доброжелательным и тактичным человеком. Даже если ей казалось, что что-то не так, прямо и уж тем более жестко она об этом никогда не говорила. Считала, что всему свое время. Она так и говорила об

этом: «Время подойдет — все поймется!» Про себя — то она думала и считала, что многое делается не так, не правильно. Однако вслух свое мнение никому не навязывала.

Так было легко и спокойно общаться с этой молодой уже женщиной! Редко болела, а если и заболела, то никому не умножала забот и хлопот, всегда приговаривая, что нечего умножать сложности, их и так хватает. Вообще на всякий случай жизни у нее имелась какая-нибудь пословица, поговорка или рассказ, большой или маленький, но всегда содержащий некую изюминку, правду, соль, о которой говорить напрямую было, по ее мнению, не принято.

Детей у нее не было, зато с мужьями повезло: их она насчитывала аж четверо. И только об одном из них, не музыканте, говорила с некоторой насмешкой. Считала, что ее поразил его изумительный голос, который — о, ужас! — оказался не певческий, а просто громогласный. Человек не пел, не играл на инструментах, но самое ужасное, что и к музыке относился столь же плохо: не любил. Она промучилась с ним четыре года, насладилась его необычным голосом, пробовала учить ноты, играла для него на своем инструменте, прекрасном, надо сказать, но ничего не добились! Человек упирался и только говорил так же громко и не музыкально и по-прежнему не воспринимал ее попытки приобщиться к музыке.

Иногда, правда, она все же добивалась некоторого прогресса: он шел с ней на концерт. Но потом! Потом он долгое время пребывал в плохом настроении, разбрасывал вещи по всей квартире, рычал, что слуху Надежды Витальевны совсем было не под силу переносить, взвизгивал, если она варила не тот суп, и всячески измывался потом за любое посещение музы-



кального мероприятия. И ей пришлось оставить свои попытки приобщить огромного детину к своим музыкальным изыскам. А он был так красив, и ей было так жаль расставаться с ним. Но что поделать: страсть к музыке оказалась сильнее любви. Ее не пожелали понять, и с этим смириться она уже не смогла.

Все эти истории она рассказывала со смешанным чувством некоторой горечи, иронии, но уж ни в коей мере не драматически. Она умела во всем видеть капельку прелестной сказочности, не винила других и лишь разводила руками, всякий раз вспоминая анекдот про таксу. И о ней-то не рассказывала, а только прибавляла: «Вот, я та самая такса!» Еле упростили поведать, наконец, чтобы понять, кто же была эта самая такса.

Потом уже, по прошествии многих лет, когда Надежда Витальевна давно умерла, они и дома завели привычку вспоминать про таксу, превращая основной смысл анекдота в некое никчемное подведение итогов. Тех, которые не случились.

Соревнования собак. Все ставят на приличных: больших, заслуженных, ухоженных. Подбегает к мужику такса и просит: «Поставь на меня, я буду первой!» Удивленный мужик все же соглашается, ставит и смотрит. Первый круг, все бегут, такса отстает. Он кричит: «Такса, давай, такса!» Она делает лапой движение, говорящее: все будет окей, не беспокойся. Так, второй круг, история повторяется, такса снова успокаивает своим привычным жестом, поднимая лапу, словно говоря: окей! И вот — третий круг, такса приходит последней. Мужик подходит и спрашивает, что же это такое. Она разводит лапы, опять — таки говоря, что, мол, бывает же! Вот это разведение лап в стороны и стало привычным отсчетом того, что где-то

что-то не получилось и что в этом никто не виноват. Разве только такса!

Даже умерла их благодетельница легко и на свой манер — иронично, что ли. Легла после обеда на диван, приказала не беспокоить, добавив при этом: «Не мешайте, дети мои, торжественный момент должен пройти в одиночестве». Они и не поняли, что она имела в виду. А когда подошли, уже все было кончено: Надежда Витальевна, лежала, скрестив руки, и не дышала.

Петр взглянул на диван, который, как и прежде, все еще стоял в комнате, и подумал, что, как все же складывается странно жизнь! Живешь, живешь — и на тебе: столько приключилось всякого разного, трудно даже представить. Но Нина, как такое могло произойти? Неужели она и, правда, полюбила это чудовище? А, в самом деле, почему чудовище? Он что сам, такой уж прекрасный и безупречный? Себе сделал карьеру, а про жену забыл; все последние годы занимался исключительно собой: поездки, зрители, восторги. Где же была Нина? Или он думал, что так будет длиться вечно? Нет, — сказал он себе, — не будет, все имеет предел, окончание. И здесь он тоже наступил: Нина ушла. Пока еще пребывает в их общей квартире, но от него, именно от него ушла. И он все никак не может сообразить, когда же это произошло. Может, полгода назад, а может, несколько лет уже. Кто ж это скажет теперь?

Он вспомнил, как она веселилась и пела, и с горечью подумал, что при нем подобного не было давным-давно, очень давно. Да, действительно, когда-то она любила домашнее хулиганство, но со временем все сошло на нет. Не стало домашнего ее пения, остались заботы все о нем, о Петре. Бывали, конечно, светлые

периоды, не только дни, когда была близость такого понимания и слиянности и друг с другом, и с целым светом, что казалось, так будет вечно.

Петр все также отрешенно сидел за роялем и уже не думал ни о Бахе, ни о новом репертуаре — ни о чем. Где-то глубоко внутри него был образ его Нины, которую он все пытался забыть, представить в неприглядном виде, отмечал даже изменившийся ее взгляд, посуровевший и злой. Но это так — придумки! На самом деле все было иначе! Какой уж там злой взгляд, в особенности после сегодняшнего ее пения и веселья?! Однако все это относилось не к нему, а к другому, совершенно чужому мужику, который неожиданно возник, забрал самое драгоценное, что у него было, и оставил его с одним только Бахом. И еще неизвестно, как этот Бах получится, откликнется, что вообще станет с ним, если устои дома, налаженного быта рушились все и подчистую?!

И все же надо было работать, а не только заниматься страданиями. Он резко поднялся, закрыл крышку рояля и прошел на кухню. Там открыл шкаф, так же резко вынул бутылку, плеснул себе в большой полуквадратный стакан и залпом выпил. Через несколько мгновений сделалось легче. Очистились мысли, во всем теле возникла ни с чем не сравнимая невесомость, хотелось прыгнуть или сделать какое-то движение, которое позволило бы перехитрить само пространство, самого себя, весь свет, наконец. Но именно движение, резкое и непривычное! Он подпрыгнул на своей кухне, сложив ноги как-то в сторону, причем сразу обе, как в танце, который исполняют во втором акте балета «Лебединое озеро». И вспомнил, что это, кажется, из венгерского танца, что-то, похожее на чардаш. Такие пируэты он исполнял еще в

школе, когда занимался бальными танцами, и откуда-то к ним просочился этот, совсем не бальный, чардаш. Получилось здорово! Он попробовал еще раз и тут же услышал похлопывание: кто-то явно смотрел на него и оценивал усилия пианиста.

— Bravo, bravo! — говорил уже такой знакомый голос. Казалось, что в доме, где проживал только Петр со своей женой, давно поселилось некое существо, которое имело возможность захакивать, когда вздумается, расспрашивать, выносить вердикты.

— Черт, я и не думал, что время способно так мгновенно спрессовываться, а уж тем более — пространство! — усмехнулся Петр, наполняя снова странной формы стакан. — Не желаете?

— Нет, — развел руками мужчина, — видите ли, я давно бросил это глупое занятие. Никакого толку от него, уверяю вас. Так, легкое облегчение, не больше. А вы бы тоже не злоупотребляли, мало ли чего?

— Чего? — съязвил Петр.

— Ну, сами знаете, что мне говорить? Алкоголь вреден, и все это знают. Надеюсь, и вы тоже. Хотя, что там? Иногда человеку просто необходимо как-то взбодриться, влить в себя некий бальзам, тонус. А не пробовали в этот момент, ну, когда так хочется, просто пробежаться? Знаете, здорово помогает!

— Где? Здесь, по квартире? — не унимался Петр в своем агрессивном желании сразиться и, если возможно, растоптать этого зазнайку, знатока всего чего угодно, включая проблемы мирового, земного значения и обустройства.

— Ну, зачем же так примитивно? Можно и не по квартире, а например, по улице, которую вы так почитаете.

— Улицу почитать невозможно. Только человека или его творение.

— Но и улица — тоже творение человека! — воскликнул Фредерик.

— Послушайте, на сей раз, вы что пожаловали? Что еще вам нужно? Моего благословения?

— Ах, какие мы благородные и обидчивые. Со всем нет. А вы и не догадаетесь. Мне нужно не это. Мне нужно, пожалуй, одно...

— И что же?

— Не поверите: понимания.

— Да уж, не ожидал. И что такого я должен понять?

— Немного, уверяю вас. Только отпустить с миром Нину.

Петр от души расхохотался, сел на маленький диванчик, который помещался тут же, на кухне, и снова плеснул себе в стакан напиток, о котором так нелестно отозвался Фредерик.

— Не находите, что в этом мире что-то сдвинулось? Например, ваши расчеты со временем, с тем же пространством. Не находите? Вот только что мы, кажется, беседовали с вами на корабле. Сейчас вы осчастливили меня в моей квартире. Это такое у вас хобби — проверять, как чувствуют себя ваши подопечные от скорой перемены мест? Или демонстрируете собственное могущество?

— Вы прозорливы, ничего не скажешь. Наверное, я тоже начинаю давать осечки: путаюсь. Слишком много захотелось продемонстрировать. Лишнее это, согласен. Но согласитесь, игра стоит свеч! Ваша Нина — это то, что поставлено на карту!

— Дурак, как я сразу не догадался, что вы еще и картежник! Нина не уживется с вами, вот что страшно. Но и я ее к себе уже не допущу. И это уже страшнее будет. Кстати, а почему все решаете вы? В

этом видится — вы удивитесь — даже какая-то ваша слабость. Почему она-то не решает, молчит, ничего не говорит, не просит? Зачем вы ее заставляете лгать?

— Ничего подобного, я дал ей полную свободу.

— Какая глупость! Женщина не нуждается в свободе, тем более — полной! Ей так важно, чтобы ее вели, подсказывали, стращали иногда, но все же были с ней заодно. Не приходило вам в голову, что вот это «заодно» — самое важное?

— Не понял.

— Я и не сомневался. С женщиной требуется работать. Понимаете, чтоб свободу — не на полную катушку, а прививать ее в малых дозах. И тогда, отравившись по полной, она понимала бы, что это такое — свобода! Думаю, вам такая мысль в голову не приходила.

— Иногда меня настигать начинает мысль: вы меня вот— вот опередите. В смысле превращений. В смысле этих моих коловращений со светом, временем и пространством.

— А, вы еще мастер и по свету?

— Прошу вас, видите, теперь я прошу вас, не прогоняйте! Я впервые, может быть, первый раз в жизни полюбил!

— Да бросьте вы! — брезгливо отдернул руку Петр, которую успел схватить Фредерик. — Придумали вы все тут от начала и до конца. Возвращались бы туда, откуда пришли — и баста! — неожиданно грубо Петр. — В чем ваше— то предназначение? Что сами— то можете? И думаю: ни-че-го!!! Это поначалу вы ошарашили меня, не скрою. И обомлел, и испугался даже. Но потом стал анализировать. Спасибо, в какой-то мере Бах помог, и отчасти вы этому поспособствовали. Но не один вы, уверяю. А что потом? А потом

снова ничего. Одни лишь эскапады, работа на эпатаж, а по сути — ноль. Мне даже кажется, что вас нет и вовсе, что вы — такой же ноль.

Воцарилось молчаниеё которое длилось довольно долго. Фредерик давно сел, без всякого на то приглашения, склонил голову, затем обхватил ее руками, как еще совсем недавно делал Петр, и замолчал совсем.

А ночь все мощнее и неотступнее накрывала и дом, и все пространство вокруг, и казалось, что нет никаких преград только для мечты, которая одна только и способна разорвать то, что не под силу никакой физике с ее временем, пространством и прочими составляющими. Плотность и неотвратимость этой ночи почему-то давала надежду. И Петр впервые за последнее, довольно продолжительное время, вдруг осознал, что все можно изменить, что только он один властен надо всем. Он один! И никакой Фредерик с его немислимыми заскоками и вращениями Луны и Солнца не способен на это. Так, в одну минуту понял это пианист, который только и думал что о Бахе, глубине музыки, сопоставлении невиданных чисел и рифм, не надеясь больше ни на любовь, ни на преданность — ни на что!

Он почему-то отодвинул свой стакан и весело сказал, словно приглашая неведомое существо в какую-то столь же неведомую страну ощущений.

— Желая счастья, как ни банально это покажется! И лучше всего — без меня, без этого дома, — и он добавил очень осторожно, — без моего Баха, замечу! А что до Нины... нет, не получится. Вот посмотрите. Да что я, сами увидите! Но дерзайте, кто ж мешает? Я, по крайней мере, — ни в коем случае. Каждый должен пройти сквозь опыт. Даже опыт поражения. Вперед!

И действительно, почти тотчас Фредерик исчез. Остался сладковато-приторный запах, похожий на смесь кураги, изюма, еще чего-то, что смешиваться не должно. И тогда Петр подумал, что, может, все и к лучшему и что, наверное, это так и есть, что к лучшему. Он уловил какую-то перемену, происшедшую в их поединке, и чаша весов, чаша превосходства и лидерства стала медленно, но неуклонно склоняться в сторону именно его, Петра. Он не мог не помнить этого мгновения, когда Фредерик явно проявил слабость, когда выглядел незащищенным, и это дало основание Петру почувствовать, что он еще и вправду может все: и играть, и постигать новое, и, наверное, любить. Даже не самое главное — кого! Главное, что то чувство, которое в последние годы, в последнее время казалось ему утраченным навсегда, вовсе никуда не делось, а бурлило и пело. Более того, именно оно стало сопровождать Петю и во время его репетиций, разучивания нового материала, и в те минуты, когда он просто шел по улице, в особенности — по своей улице Щепкина. Только понял и ясно осознал он это не сразу, а вот только теперь, после встречи с Фредериком. И ему вдруг стало весело, снова захотелось подпрыгнуть и совершить нечто такое, чего в иные времена и не делал никогда. Ну, например, взять и поехать по Москве-реке с кем-то, а лучше одному, посмотреть, чем живет его столица, как она без него? Или еще: отправиться в свой родной город, который во времена гастролей, выступлений не позволял приблизиться к нему и быть запанибрата. А тут... тут можно было дать себе волю, воздуха. В конце концов, чтобы набраться новых впечатлений, насладиться запахом детства, побывать в их стареньком доме, навестить кого-то из близких. Ведь ничего в последнее время он не делал и даже не помышлял о подобном.

Он захотел представить лицо Нины и не смог. Оно расплывалось и таяло, и казалось, что очертания этого, когда-то дорогого, образа навсегда утрачены, а ключ потерян. Он улыбнулся, вспомнив Ахматову, и с чувством полного, неведомого доселе успокоения и радости припомнил и известные строки о потерянном ключе, и решил, что, действительно, ключ принадлежит лишь ему, кем-то оставлен и хранится только у него. И какое может иметь значение при таком-то богатстве уход женщины, измены, какие-то дрязги и выяснения, когда он владеет таким сокровищем — ключом. От себя самого, от того, что запрятано глубоко внутри, что может принадлежать тоже только ему одному. И это называлось очень просто — нравственным законом, которому нельзя изменять, иначе будет очень, очень худо. И он почти что прикоснулся, приблизился к этому плохому, почти задохнулся в нем. И никакие это не внешние события, а тоже только то, что подвластно и известно одному ему. И то, что все вокруг называли «отыгрался», изжил себя, нет роста, — оказалось тоже одним из проявлений этой утраты внутреннего закона. Именно ему он стал изменять, а не жене или музыке. Он стал предавать себя, а это уж страшнее будет!

## Часть вторая

# ***ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ***

Со мной надежда всё играет в прятки.

*Франческо Петрарка*

Когда Генрих Иванович доложил, что все согласовано и можно ехать, Петр собрался в один момент. Вернее, он давно уже был собран, оставалось доложить некоторые вещи. Прежде он никогда не бывал ни на Алтае, ни в Сибири, и ему было крайне интересно, что он увидит там, что почувствует. И как, собственно говоря, воспримут его программу.

Самолет, поезд, затем машина — и вот они на месте. А место, как и просил Петр Венцлов, не какой-то крупный город, избалованный приезжими знаменитостями, а совсем небольшие, незнатные совсем города. Вот в один из таких они и прибыли. Прибыли — это, конечно, некий итог чему-то: путешествию в данном случае. Но как ехали! Петр и не предполагал, что на земле, которая называется Россией, есть такие места. И это при том, что он поездил много, где только не бывал! Весь Север, восточную часть страны, юг, волжские города, а вот в маленьком сибирском или алтайском — не приходилось. Честно говоря, он не особенно и различал, где там Алтай, где начинается Сибирь. Что-то далекое и отдаленное. Был давненько в Новосибирске, но впечатления стерлись, он не запомнил, что там было, кроме успеха, застолий и прогулок по городу, который и тогда тоже очень понравился. Но не сказать, что поездка составила какой-то особенный, глубокий след. В ту пору, когда он много гастролировал по стране, все превращалось в одно сплошное, очень схожее в разных городах впечатление. Да не было, в общем, и возможности, пристально рассматривать города: все

уходило на подготовку, репетиции, отдых и на сам концерт.

Здесь же, после стольких событий и внешнего, и глубоко внутреннего порядка, он иначе, совсем другими глазами всматривался в окружающее: местность, людей, их речь, проявления. Но более всего его заботила мысль: как перед этими людьми сыграть так, чтобы не только опробовать репертуар, себя, но непременно завоевать их. И совсем не так, как многие годы в многочисленных поездках, где привыкли к твоему имени, положению, где порой и усилий-то особенных прикладывать не надо было. Нет, здесь все было по-другому. Стало это понятно уже с первых же шагов, с водителя маленького автобуса, типа московской маршрутки, но только очень ухоженной и не с водилкой-злыдней из азиатской республики, а с русским мужиком, для которого его рабочее место отнюдь не пустой звук. Он молча вез московскую знаменитость, и не было ни малейшего подобострастия в его поведении. Только однажды он спросил: «Что, решили посмотреть на загадочный край? Или так, себя показать?» Но и в этих, казалось бы с издевкой сказанных словах, совсем не проскальзывало зло или поддевка. Он так думал — вот что было важно. Он думал и понимал, что перед ним прежде всего человек, а уж потом все остальное. И никакое громкое имя, популярность, предупреждение начальства не могли изменить самого подхода: он так считал, и это было основное. Ни подхалимажа, ни выспрашивания фактов биографии, о которых впоследствии можно было бы рассказать другим знакомым, — нет, ничего такого Петя не уловил. Напротив, достоинство и самоуважение и уважение к человеку, прибывшему в их край издалека. Это ничего, что из самой Москвы, ничего, гость — так его

надо уважить. И на этот счет все было тоже правильно: Василий, водитель, возивший кого-то из местной администрации далекого от Москвы края, который простирался по всей Уймонской долине и еще дальше, был и впрямь немногословен. На это не мог обратить внимания наш пианист. Не то чтобы задело, нет, но поговорить, расспросить хотелось. И он стал спрашивать:

— Вы что же, всю жизнь здесь живете?

— Всю, так, и родители — тоже самое. Сами видите, что за край, места наши! Не просто так здесь.

Да, наслышан. Вот когда-то и Рерих, но, может, вы не знаете... — он не успел продолжить, как Василий перебил его и сказал, что и Рериха знает и знает даже, что именно его отец помогал пробиться в ту страну, которой великий человек так был заражен — Тибет. Отец был проходцем, такое словечко употребил водитель, а вот Рериха не повел.

— Отчего же так? — спросил Петя.

— Нет, не стоило. Не то, что далеко, но вот цель была отцу не совсем понятна. Что, только увидеть? А дальше-то?

«Надо же, — подумал про себя Петр, — какое, однако, своеобразное мышление, рациональное, что ли? Не повел и не подумал, что, может, стоило преподнести эту историю более фантастически, приспособив ее под общее благоговейное отношение к художнику? Но, надо же, абсолютно правдиво рассказывает этот человек про то, как было, ничего не прибавляя и не меняя в исторической правде. Не повел — и все тут!»

— А потом-то не жалел? Ну, отец ваш? Все же такой человек великий, Рерих?

— А что жалеть-то, когда неправильно все было?! Не надо было просто любопытничать. Если мечта есть,

то уж другим каким-то путем проклюнется. Все равно исполнится, уж известно.

— Кому известно? — спросил Петя.— Вам?

— Да и мне тоже! — даже удивился водитель. — Все смысл должно иметь, не просто так. А увидеть и пройти там — нет, несерьезно.

— Но, может, у человека действительно мечта такая? Прикоснуться, постоять рядом, пусть и не долгое время?

— Может, оно и так, только на все знание требуется. Он же не только постоять там желал. И рисовал бы? А отец, что он? Вот поэтому тут другое нужно было решение, понятно дело. Не добраться и обомлеть, нет, но вжиться, а на это время требовалось, да немалое. Потом-то он все равно путь нашел, не этот, другой. Но главное, что нашел!

Было понятно, что человек сам доволен и своей причастностью к событию, и пониманию того, отчего это у его отца не сложилось препроводить великого художника к его мечте.

«Надо же, какой странный путь понимания, — снова подумал про себя Петр и снова удивился тому, как по-разному скроены люди вокруг. — Живешь, живешь, а дальше московских мерок и не продвигаешься. На них и зацикливаешься», — упрекнул сам себя пианист.

А между тем приближалось то место, где предстояло выступать.

— Что, уже скоро?

— Да нет, еще часа два, — усмехнулся водитель, для которого, видно, три часа и даже пять не были большим отрезком времени. А уж из Барнаула езда до Горно-Алтайска, куда предстояло ехать, занимала около четырех часов, и Петр решил, что это не так уж и много. Однако потом предстояло лететь еще на

самолете до Усть-Коксы. Но он не роптал, сознательно пошел на долгое путешествие: очень уж захотелось увидеть края, до того закрытые и неизвестные, что открывать их предстояло не один день, а уж тем более — не пару часов.

— У нас уже бывали знаменитости. Не знаю, что они едут: то ли план у вас такой, то ли потребность? — спросил водитель, не особенно напирая на развитие диалога. Скорее, спрашивал он больше себя, нежели приезжего пианиста. Ему начальство велело не только довести, но потом и проследить, чтобы накормили, устроили. Однако он все-таки не понимал, что в такую их глушь едет столичная птица. И ему важно было это понять. — Это мы привыкли и к морозам, и к отсутствию людей на сотни километров. А вы-то что ищете?

— Ищете, говорите? А что вообще в жизни ищет человек, не задавали себе вопрос?

— Как же не задавал?! — отозвался водитель, при этом почему-то на ходу хлопнул дверцей машины и посмотрев на дорогу. — Видно, что так и едете, что за смыслом жизни. И замечу вам, не молодые, а все больше вот в вашем возрасте едут. Смотрите, смотрите, — вдруг резко сменил тему сильный человек за рулем, — думал, ошибся, нет, вон, целая колония сурков! Видите? Да, точно, надо же, еще и дорогу норовят перейти. Ну, надо же, — засмеялся он, — ничего не боятся.

Петр впился взглядом в окно, но сначала действительно никого не увидел. Однако присмотрелся внимательно и опешил: совсем близко к дороге подошла целая вереница зверьков. Но вовремя остановилась, внимательно разглядывая, что это и кто мог потревожить их налаженное существование. Нет, под машину не полезли, а мирно стали у самого края и дожидались, когда можно будет перейти на другую сторону.



«У каждого, даже у этих крох, своя надобность и привычки. И чего им там не сиделось? Вот, задумали перебраться на ту сторону!» — все удивлялся Петр, понимая, как далеко он отстоит от того, что в их кругах называется глухоманью и вообще невесть чем. «Гнем из себя, а сами-то что? Вот сурки, зверечки маленькие, а и у них своя жизнь, свое место! А тут ищешь, ждешь, что-то перебираешь, мучаешься, идешь на компромиссы — и все для чего? На кой черт?»

Он повернул голову, посмотрел, как там его Генрих Иванович, и тихонько шепнул ему на ухо: «Все проспите, дорогой мой. Тут такие зверушки! Только что хотели перейти нам дорогу». Но его директор и друг едва приоткрыл глаза, поменял положение рук, которые всегда отчего-то держал скрещенными, и ответил, словно и не спал вовсе: «Пусть себе. А нам еще часа два ехать. Посплю, однако».

«Надо же, — думал Петр, — и спит, и сохраняет трезвость ума, а самому-то уже семьдесят летом. Молодец!» Спал его директор, прикорнула и женщина из местных, которая тоже сопровождала их до места назначения. Это была маленького роста, не очень красивая пухленькая дама, которая и сама, наверное, знала о своей неприглядной внешности и несколько стыдилась ее. Видно было, однако, что и работник она хороший, человек добрый. Когда Петр заикнулся, что четыре часа — многовато, да и еды-то у них немного, она молча пошла куда-то, а потом сказала, что все припасено и что доедут они замечательно. И не тушевалась вовсе, а вела себя достойно и опять-таки очень спокойно. Эту черту Петр подметил и в ней, в водителе, да и в тех людях, что его встречали — провожали, а главное — в зрителях города. Концерт был всего один, народу собралось — полный зал, и Петр подумал, как

это в таких краях возможно такое, все же не шлягеры петь приехал! И тут же осекся, устыдился: везде люди хотят чего-тотакое, к чему либо привыкли, либо — наоборот, редко выпадает прикоснуться к искусству классической музыки. Он отметил, когда проезжали по улицам города, что одеты граждане очень даже неплохо, в далекие пятидесятые о них сказали бы: богато! Заехали и в местный институт культуры, и там Петр приятно удивился. И атмосфере, и тому, что услышал на уроке по сценической речи. Вела занятия уже очень пожилая женщина с очень смешной прической, которую время от времени поправляла. Сказала, что сама закончила ташкентский театральный институт, что там вообще сильная речевая школа, все ведь в эвакуацию из столиц приехали, вот она многое и взяла оттуда. Звали ее Евгения Николаевна, и она тоже поразила Петра своей выправкой, чистой, отнюдь не сибирской речью, без всяких говоров и пришептываний. Была она в розовом костюме из кримплена, который лет двадцать как вышел из моды, но шит был очень аккуратно, сидел как влитой, и создавалось ощущение, что дама эта только что покинула их класс на Большой Никитской. Она занималась с парнем, который тоже показался знакомым. Он понимал, что это ему только кажется, что на самом деле он знать того не мог, но напоминал парень актера Александра Михайлова, очень похож был на него и внешностью, и голосом, и манерой говорить, разводить руки, двигаться. Репетировали Шукшина, и это было очень кстати такому характеру, как у этого мальчишки. Оказалось, что приехал на Алтай аж из Иркутска, что наслышан был об институте, о педагогах. И читал с удовольствием. Когда дошли до места, где герой Шукшина должен был рассмеяться, педагог

пошутила: «Ну, вот, не опростоволоситься бы, все же из столицы гости. А ты не тушуйся, знай свое дело и делай его. Что там твой Витька делает? На гармошке играет, вот и представь, что это — ты. Умеешь играть? Нет? А ты снова представь, давай, бери свою гармошку и начинай!» И, действительно, парень поднес кулачок к губам, да как дунул, как запел, а потом так рассмеялся, что показалось: он и не на сцене, не на уроке вовсе, а где-то в поле, в деревне, на большом луту — словом, здорово получилось!

Ну, что такое атмосфера, Петя знал не понаслышке и тут же отозвался на удивительную атмосферу в этом учебном заведении и на уроке. Эта в летах уже женщина произвела сильное впечатление. Он подумал, не за деньгами же она приехала сюда, трудится уже полтора десятка лет, а это немало. После занятий он поблагодарил Евгению Николаевну и не удержался, спросил: «Вы как сюда, насовсем или временно?» Она поправила полы своего розового пиджачка и с достоинством ответила: «Знаете, я работаю, словно навсегда, но в душе знаю, вернее, мечтаю иногда, что вернусь в Ташкент. Без него скучаю». — «Что, неужели такой замечательный город? Уже много раз приходилось слышать». Храмова помолчала, глянула куда-то вперед себя, а потом ответила: «Да уж, самый лучший, это так». — «Но позвольте, вы же зачем-то сюда ехали? Как вообще здесь оказались?» — «Ох, это долго, все из-за мужа, военный, знаете ли», — сказала она коротко.

Петр помолчал, еще раз подумал, как многие очевидные поначалу вещи на самом деле не так и просты. «Надо же, здесь же намного холоднее», — еще раз подумал он, а сам снова вспомнил Нину, но уже не так отчужденно, не так враждебно. И что-то сразу

защемило в груди. Захотелось обнять ее и забыть про все пережитое последних месяцев. «Ну, почему все так должно было случиться? Зачем?» — спросил он у кого-то, не надеясь на ответ. И услышал сквозь шум воспоминания слова женщины в розовом костюме. «Вы расстроены, так мне показалось. Надеюсь, не нашим уроком», — вовсе не кокетничая, а простодушно сказала Евгения Николаевна. И Петр улыбнулся, оторвался, наконец, от своих мыслей и попрощался, сказав: «Напротив, все здорово, я это нутром каким-то ощутил. Успехов вам! А если что — действительно, езжайте. Разве можно изменять мечте?» Они обнялись, и Петр ушел в сильном волнении и от встречи, и от воспоминаний о доме. «Нет, не закончилась его история с Ниной», — снова заметил он, но уже не так больно билось сердце.

И в автобусе, который вез его и его спутников уже третий час по Уймонской долине в место со странным названием Усть-Кокса, он вспомнил эту встречу — и на душе снова посветлело.

Когда добрались до места, было совсем темно, и Петр вздрогнул: «Да неужели же кто-то придет на его концерт в этот час?» На что водитель, словно уловил вопрос пианиста, обернулся и сказал, что люди, скорее всего, уже ждут, уже собрались.

— Как? — не удержался Петр. — Неужели придут? Ведь почти девять вечера!

— Ну, так что же? Объявлен концерт, столько ждали, да куда ж они денутся? — засмеялся мужчина.

— А если б еще позже приехали? До какого же часа ждали бы?

— Да хоть до ночи! — удивился водитель Василий, который искренне не понимал, как можно спрашивать о том, что и так понятно.

В главном городе Алтая они и не задержались, что-то не срослось у Генриха Ивановича с местной администрацией, и решено было выступить на обратном пути. Вот и предстояло ехать в том же составе до поселка все на той же машине. Самолет отвергли, и ехали, и ехали уже так долго, что и сам Петр, и проснувшийся Генрих Иванович не могли в точности назвать, сколько же часов прошло с того момента, как они двинулись снова в путь.

Но в этом непредвиденном повороте была своя изюминка: можно было, не прерывая путешествия, продолжать общение, продолжать всматриваться в интересные, почти мистические места. Хотя было совсем темно, и проступали одни лишь силуэты, все равно создавалось ощущение таинственного тепла и какой-то непонятной ясности и просветленности. Ушли тревога, вечное ожидание чего-то нехорошего, каких-то неведомых неприятностей. Все очистилось, включая прежде всего сознание, и казалось, что и до этого предприятия на Алтае тоже было не так уж и скверно. Что, однако, делали с человеком такие простые вещи, как перемещения во времени и пространстве! И не какие-нибудь там фантастические, а самые что ни на есть обыкновенные.

«Вот и этот Василий живет себе, может, и не знает даже, что существуют проблемы на свете такого внутреннего, такого скрытого порядка, что никакими физическими усилиями их не одолеть. Ни ездой на машине, не пересечением огромных территорий — ничем! Однако могу и ошибаться, что уж я? Наверняка и у него тоже есть и семья и не все и не всегда гладко. Может, и он мечтает о чем-то, о чем и не догадаешься».

— Василий, а вы сами, ну, хоть разочек думали о

конце жизни? Я даже не о ее смысле, понятно, что думали, а вот о самом последнем. И тогда снова вопрос — зачем пришли, что хотим, да и хотим ли на самом деле?

Василий как-тоуж очень тяжело замолчал, потом насупился, как показалось Петру, и ответил:

— Сын у меня болен. Сильно. Вот тебе и смысл жизни. А что до конца ее — нет, не думал. Иногда мне кажется, что и нет, и не будет никакого конца.

— А что с сыном? Он дома или в клинике?

— Месяцами в больнице, вот в Москву собираемся, но тут свои сложности.

— Какие, материальные?

Василий не ответил, и ехали довольно долго молча. И Петр не знал, стоит ли продолжать разговор, но получалось совсем неправильно: спросил, а получилось простое любопытничанье. Но спустя время водитель сам сказал:

— Да, не готовы, но осталось немного, уже договорились на конец мая. Так что, даст Бог, поедem. Отвезу их, устрою, сам за баранку.

— Дорого?

— Ну, а как вы думали?

И Петр чуть ли не с маху хотел было предложить помощь, но что-то остановило его, он почувствовал, что так напирать не следует, нужно деликатнее действовать и осторожнее.

— Знаю, извините. Но потом, думаю, продолжим.

— Да, подъезжаем, — ответил Василий, и было понятно, что Петино заблуждение относительно отсутствия проблем у простого сибирского мужика очень скороспело и глупо. Проблемы — они у всех, это ясно.

Казалось, что из автобуса они вышли просто в никуда: так пусто, так бесконечно пусто было вокруг.

Однако так показалось только на первый взгляд. Присмотревшись, Петр увидел, как из темноты проступает силуэт здания, напомнивший знакомые по фильмам пятидесятых годов постройки. Действительно, когда подошли поближе, то оказалось, что приехали они к клубу, который был точной копией всех виденных и закрепившихся в сознании, в памяти типичных построек: колонны, довольно широкие двери, этаж один, пологая крыша и много разнообразных объявлений, аккуратно приклеенных на доске. Особняком висела и афиша о предстоящем Петинном выступлении. Помещалась она не со всеми рядом, а висела отдельно, освещенная фонарем. Но, странное дело, народа не было вообще! То есть ни просто мало или немного, а никого не было. Ни-ко-го! Петя обернулся, чтобы удостовериться в этом еще раз, но так и замер: все вокруг было пусто. И тут он вспомнил, как, еще будучи студентом консерватории, приехал с другом выступить в какой-то военной части. И там также зал был пуст, хотя время начала концерта почти вышло, оставалось каких-нибудь пять минут. Петя спросил тогда, что это значит, да и будут ли люди. Ему ответили: «Это, молодой человек, военное учреждение. Все будет, не беспокойтесь. Ровно в два все и будут!» Так и вышло: с боем часов в зал строем вошли курсанты и, не переговариваясь и не смеясь, все так же строго расселись по местам. Ровно в два часа! И концерт начался минута в минуту.

«Но здесь же не военные, — подумал Петр, — поздний вечер, отдыхать людям пора. Неужели прибудут?» Не успел он додумать свою мысль, как откуда ни возьмись, точь в точь как в сказке возникли люди, много людей. «Ну и край!» — успел подумать снова Петр и вошел внутрь здания.

Тут же откуда-то появилась женщина, которая-то и повела музыканта вего, как он полагал, гримерку. Но оказалось, что его проводят по большому коридору, затем еще по каким-то помещениям, сплошь охваченными витринами и рассказывающими о важном. Но женщина не задержалась ни у одной из них, чутко понимая, что человек приехал не за этим. Она открыла одну из комнат, и он оказался в помещении, где стояло пианино, висели зеркала, стол стоял, и все было чисто, намыто, даже празднично.

— А можно посмотреть на сцену? — спросил Петя.

— Да, вход из этой комнаты, — с готовностью ответила женщина. — Вам еще понадобится что-нибудь? Здесь, — и она откинула салфетку, — домашние пирожки, студень, борщ горячий. Ну, и фрукты, вода.

Была она строгой, но держалась приветливо, и Петр снова подумал, как мало он знает о России, а уж тем более — об этом крае.

Он остался в комнате, отданной под гримерку, один и удивился, куда же пропал Генрих Иванович. Обычно они перед концертом находились вместе, вместе шли на сцену, опробовали, вслушивались. И тут Петр вышел, по одному ему ведомому пути прошел на сцену и увидел, к своему удивлению, необыкновенной красоты рояль, весь новехонький, чуть ли не Стенвей. Он открыл крышку, взял несколько нот и снова счастливо удивился: звук был просто великолепный. Он осмотрел зал, выходы в кулисы, постоял еще какое-то время и отправился к себе в комнату. Там его уже дожидался его директор.

— Ну, как, видел? — спросил он, по привычке наклоняя голову в сторону, что всегда означало только одно: что он очень доволен.

— Да уж, — отозвался Петя, а сам переодевался и

пытался, опять-таки по привычке, освободиться от всего лишнего, внешнего, что так или иначе отвлекало его от предстоящего концерта. Генрих Иванович знал эту его особенность и всячески старался не отвлекать.

— Вы борщ-то видели? — задал вопрос Петя, разглаживая полы фрака и критически разглядывая манжеты.

— Не только видел, но и вот, приготовил, налил, — ответил директор, придвигая тарелку поближе к своему пианисту. — Сам— то поешь или как? — Он, конечно, знал, что перед концертом Петя не поест ни за что, только потом, но все же предложил.

— Нет, разумеется, потом, Генрих, потом, сам знаешь. А ты поешь. Там, в городе, мне кажется, было проще.

— С чем? С публикой?

— Да нет, с тем, что внутри, что называется волнением и еще чем— то таким, чему и названия не подобрать. Словом, — он не закончил фразы, как в дверь постучали и спросили, можно ли.

— Генрих, взгляни, кто там.

Директор подошел к двери, приоткрыл ее и увидел, что на пороге стоит девочка, почти подросток и держит в руках цветы.

«И откуда у нее такие в эту-то пору?!» — успел подумать директор и спросил, что она желает.

— Я знаю, что, наверное, нельзя, но очень хочется передать их, — она протянула букетик, — Петру Венцлову, я его знаю, мы с мамой еще в городе Петербурге были на его концерте, но там нас не пустили, а тут я все знаю, вот, пробралась. Вы не сердитесь? Передайте, пожалуйста, от девушки Алисы, я тоже буду музыкантом, но потом, не сразу. Извините, — без всякого перехода сказала девушка-подросток и исчезла.

Генрих вошел в комнату, положил цветы и взглянул на Петра, пытаясь понять, что он слышал. Тот улыбнулся, еще раз молча посмотрел на свои руки, костюм, прошелся по комнате, дотронулся до букета, потом подумал и поднес цветы к лицу и чуть не задохнулся: так они насыщенно пахли полем, чем— то таинственным и непостижимым. Пора было выходить, и он открыл дверь. Он шел по темному коридору и слышал, как женщина, наверное, та, что предлагала борщ, объявляла его выход и говорила о нем. Он слышал свои звания, перечень разных внешних атрибутов успеха и достижений, но думал только об одном: что ему теперь, вот именно сейчас, придется преодолеть нечто такое, с чем и в Москве, и в Барнауле, и даже в Горно-Алтайске справиться было куда легче.

Уже перед самой кулисой откуда-то выплыло лицо Нины, и он удивился: как странно устроена психика человека, что вот и теперь, в самый неподходящий момент, случается такое, о чем и не думалось и чем управлять просто нереально. Но воспоминание не было неприятным, и он даже сделал некоторое усилие, чтобы его закрепить, упрочить, но лицо уплыло. И он шагнул на сцену.

Обычно он не смотрел в зал, а даже когда садился к инструменту, тоже не отвлекался на поклонь, или уж делал это очень отстраненно, не распыляясь и не растрчивая то, что уже сидело в нем, что требовало выхода и ждало лишь главной минуты. И теперь он так же сосредоточенно, весь во власти предстоящих звуков и образов, шагнул в полную неизвестность, присел на стульчик, поднял руки и замер. Вместе с ним замер и зал в каком— то приподнятом, тоже сосредоточенном молчании. Он даже не успел подумать, отчего это такая тишина, ну, прямо, как в Париже.

Но мысль лишь скользнула, не оставив замятин на памяти, и он опустил руки на клавиши.

Как, однако, странно, почти непостижимо устроено то, что зовется воображением, вдохновением и прочими нематериальными вещами. Казалось бы, чего проще: взял нужные ноты — и музыка началась. Но без этих самых нематериальных слагаемых она не то что начаться, просто возникнуть не может! Откуда, из каких запасников берется то, что впоследствии назовется вдохновенным исполнением, полной слиянностью с музыкой? Но ведь берется же! И он понял, ощутил тоже каким-то нематериальным чутьем, осколочками и взрывами памяти, воспоминаний, что вот, началось! Началось то, к чему шел он, не останавливаясь и не поддаваясь ни искушению оставить все, как есть и до конца дней довольствоваться любимым Шопеном. Таким проверенным и не подводившим никогда. Но что-то утратилось, ушло, потерялось, и он не мог не осознавать этого. Потребовалось нечто такое, что начисто изменило и судьбу, и сам подход к ценностям, к восприятию музыки. Из сочетания звуков, образов, вихря ритмов она постепенно стала превращаться в живое существо с характером, со своими страстями и желаниями. И он в какой-то момент уловил, понял это, и музыка отозвалась! Она словно услышала его и зазвучала. Он еще не очень понимал, что стало происходить, но то, что он чувствовал нечто такое, что еле удерживало его на шатком стульчике, что едва не сносило с этой сцены и из этого загадочного края, было ясно. Он вдруг обрел такую уверенность и такую ясность, что казалось, ему под стать все, он все способен исполнить, запечатлеть, осилить.

Его загадочный Бах, Иоганн Себастьян, ставший почти другом, понятным и надежным, стал превра-

щаться в существо, которое обрывало все привычные подходы и требовало другого отношения, других решений и других сил. И он пошел на это искушение создать такую мощь и такую силу, что возможна лишь в самой настоящей дружбе: без остатка, без сил, без собственных желаний и оговорок. Все отдается только ему, истинному и отважному другу, одному единственному, который один только и способен понять, откликнуться и всегда быть рядом. И снова молнией, озарившей его сознание, пронеслась мысль: а кто вообще был его другом? Был ли он? Где он есть? Но он не стал останавливаться на этом горьком ощущении и снова понесся вперед, отдаваясь власти этой несокрушимой силы и торжества разума, чувства, гордости и тотального одиночества.

Музыка неслась стремительно, и он почти не управлял ею, оставаясь свидетелем сотворяемого чуда. Он и был при этом, и его словно не было: так отстояло от него то, что называлось сонатой, состоящей из сочетания отдельных нот, заговоривших и запевших безумную мелодию о страсти и боли, о невозможности быть любимым и об отвержении всего и вся, и себя — в первую очередь.

Она неслась, иногда совсем ненадолго замирала в скорбном, почти таинственном молчании, а потом снова вырывалась из тесноты и смуты и разрывала привычные образы и сравнения. Это была поистине волшебная, почти божественная ночь в его интерпретации. И ночь совпадала, отождествлялась с тем, что принято было называть просто музыкой. Он принял своего Баха, а Бах открыл для него то, что приоткрывалось очень и очень немногим.

Он так проник в этого могучего композитора, так слился с его музыкой, что когда она закончилась, чуть

ли не удивился. И еще больше той тишине, которая пронизала все пространство вокруг. А потом вдруг опрокинулась, взорвалась, и он уже слышал не только аплодисменты, но и крики, причем не только «браво», но и неведомые ему и невесть откуда взявшиеся «ура» и еще что-то. Он поднялся, наконец, посмотрел вперед себя и едва сохранил равновесие: люди стояли и так, стоя, хлопали ему. Он склонился низко—низко и словно застыл в такой позе. Не хотелось возвращаться в реальность, отдирать от себя еще звучащую, еще поющую в его душе музыку. Трагическую и ностальгическую, неувядающую, вечную музыку.

Кто-то подходил поближе, но не так, как в столицах, не раскованно и чуть ли не влезая на сцену, а стесняясь и осторожничая. «В такую пору и цветы?» — удивлялся Петр, а люди все подходили, осмелев, и все пытались вручить лично, а он все стоял в поклоне. И только когда шум и восторги стали постепенно стихать, он поднял голову и увидел перед собой ту девушку—подростка, что накануне приходила в гримерку. Она стояла, хлопала, была очень близко от сцены, и он заметил, как по лицу ее катились слезы.

Нечто подобное он испытал давно, еще в ранней молодости, когда где-то за городом, вот так же они приехали в клуб, и публика попросту неистовствовала, не отпускала, все просила, требовала играть снова и снова. Именно тогда он понял, что люди могут постигать почти непостижимое независимо от места, где живут. Да, другой интеллект, образование, подчас его просто нет, но есть нечто иное: умение и способность откликаться на неизвестное и оттого не менее прекрасное.

Не было ни сил, ни желаний — одно только застывшее разум и чувства ощущение полноты жизни, которое можно было бы назвать восторгом.

Когда все стихло совсем и он пошел снова по длинному коридору, на его пути попала маленькая мышка, и это обстоятельство почти вернуло его к жизни. «Надо же, и здесь жизнь, со всеми вытекающими последствиями!» — изумился Петр, остановился на мгновение и засмеялся. У двери поджидали и Генрих Иванович, и сопровождавшая женщина, и водитель Василий. Он стоял, неловко озираясь и теребя в руках какой-то сверток. Пока поздравлял директор, пока женщина говорила хорошие, трогательные слова, Петр все думал, что делает Вася и что у него в руках.

— Вот, это вам, — наконец выпалил он.

— Не устали? — задал свой вопрос Петр, не желая напрягать далекого от музыки человека.

— Разве ж от такого устанешь? — спасла положение женщина, наверное, главная в этом клубе.

— Спасибо, — отозвался водитель и добавил, что если что, будет в машине.

— Да нет, вы уж заночуйте, какая поездка? — уговаривала женщина, но водитель расклад знал и снова повторил свое:

— Значит, я буду ждать, если что, — добавил он.

«Это, наверное, его любимое выражение», — успел подумать Петр и не очень еще понимал, что следует делать: ехать или задержаться.

Решилось все неожиданно: главная дама с белыми крашеными волосами твердо сказала, что сначала надо поужинать, а потом и видно будет. Так и поступили. Стол, к тому же, был уже накрыт, все красиво и аккуратно разложено, и все сели. Пригласили и Василия, но тот отказался наотрез и вышел.

В комнате было очень тепло, и не чувствовалось, что на дворе переходная погода, что зима неохотно отступает и слякоть и грязь борющейся весны все еще

не пробьет дорогу теплу и устойчивой красоте расцветавшей, просыпающейся поры. «А в Москве и недавно, — подумал сокрушенно Петр, — там и вовсе все застрянет. Здесь хоть свежесть и красота, а там... Но люди, какие люди здесь!» — все удивлялся, приходя постепенно в себя музыкант.

На столе стояла бутылка вина, и женщина-директор пояснила, что так надо, что ничего страшного, после работы можно. Так и сказала — после работы. «А ведь и правда — работа, — подумал Петр, — но какая чудная это работа». Он выпил немного совсем вина и услышал сквозь стук своего колотящегося сердца слова Генриха Ивановича:

— Вот ведь какая история, ездим, пожалуй, четверть века, а такое увидели чуть ли не впервые. Здорово! Петя, ты умница! Устал? Спать не хочется? — и засмеялся.

Он-то знал, что его Петр не изменит и здесь своей привычке после концерта думать, шагать по комнате, вспоминать отдельные фрагменты исполнения — словом, переживать. Но на сей раз он ошибся: когда решили все же ехать, а не оставаться, в машине Петр уснул, что на него совсем не было похоже.

Ехали так всю дорогу, аж до семи утра. И Петя все спал. Куда-то подевалась сопровождавшая в этот поселок женщина, и только утром, когда все приобрело, наконец, очертания ясности и жизненной четкости, Петр спросил Василия, где их спутница, на что получил ответ, что она пробудет там еще два дня: так, мол, надо. Но добавил, что Раиса Михайловна на концерте была, даже и цветы вручала, но постеснялась подойти потом, привет и благодарность передала.

— Вы, Василий, скажите, что надо будет, я постараюсь помочь. Вот вам мой телефон, звоните без вся-

кого, договорились? — сказал Петр, протягивая водителю свою визитку. Тот съежился даже, наклонился и сказал, что неудобно все это, но бумажку взял и добавил:

— Понравилось, все довольны. Видно, что хорошо работали, хоть и из Москвы к нам. Не просто для галочки, спасибо.

Надо же, снова прозвучало это слово — работа, и Петр успел оценить его. «Для этого края, для его людей даже фортепьянная игра — все равно работа. Что ж, живут так, что ж в этом плохого?» — вникал Петя в слова водителя. Хотелось, наконец, остаться одному и поразмыслить надо всем. Понятно было одно: что-то задело зрителей, раз так живо, так заинтересованно откликнулись. Да и Генрих сказал, что все хорошо. Нет, значит, правильный был выбор: Иоганн Себастьян, ты победил!

Обратная дорога домой, в Москву, была, как в тумане: прыгали образы, отрезки воспоминаний, которые все стремились сложиться в картину целого. И только уже на подступах к дому, напряжение поездки стало отпускать, и он подумал, что только в родном, привычном месте сможет осознать все происшедшее и постарается понять, что произошло с ним.

А дома и вправду было хорошо! Чисто, уютно, даже продукты сохранились в холодильнике. Да и в свертке Василия оказалась замечательная, какая-то редкая рыба. И самое главное — был тот особенный, тот неповторимый дух, который всегда сопутствует конкретному жилищу. А его было таким и особенным, и неповторимым. Поэтому и аромат был несравненный.

Он потрогал рояль, даже прикоснулся щекой, наклонившись к нему, провел по клавишам, взял не-



сколько аккордов, но никак не связанных с Бахом и снова, в который уже раз, подумал, что настало время, видно, идти еще дальше, браться за Малера, к примеру, и за Скрябина, как ни странно. Почему-то в дороге он не раз думал о них. Одно то, что возникла потребность расширения не только репертуара, но освоения новых имен, стилей, иного языка и интерпретации — это прельщало больше всего. Он вспомнил, что те предложения, которые он получал, всегда были ограничены тем известным, что он многие годы делал, играл. И лишь однажды предложили в Вене сыграть Бетховена с Венским симфоническим оркестром. Он очень удивился, ведь он никогда почти не играл этого композитора. Только однажды, давно, совсем давно. Надо же, откуда-то они это прознали, запомнили? Он и теперь этого не знал, отказался, и все. Но потом читал записные книжки Бетховена, когда тот размышлял о музыке, какой она должна быть. И ему запомнилось одно: что она должна быть печальной, даже трагичной, что она может быть, какой угодно, но только никогда не должна быть безнадежной. И он в музыке этого великана как раз и чувствовал ту мощь и небезнадежность, каких в своих ощущениях жизни, может, и не испытывал.

Почему-то естественные мысли о Нине, о ее местонахождении никак не волновали его, он думал о ней, а если и вспоминал, то с необъяснимым чувством спокойствия и прощения. Да и была ли она виновата, он толком не знал. Как и не мог знать того, что с ней, действительно ли она полюбила это странное существо, мужчину по имени Фредерик. Он не знал ровным счетом ничего. И это совсем не печалило его. Может, это как раз он и виноват: не уделял внимания, весь был сосредоточен на себе, на своем творче-

стве. Ну, была себе Нина и была, и это была та данность, как и рояль, и все очень важное и ценное в его жизни. Но вот какое дело: ее не стало, и не возникло чувство невыносимой потери, горечи. Да, музыка должна быть только печальной, а все эти попытки сделать ее смешной, даже комической, ни к чему хорошему не приводили. На то она и музыка, чтобы волновать и страдать, что-то такое поднимать со дна души, чтобы лучше можно было рассмотреть на поверхности. А его душа? Она есть? Наверное, если люди так реагировали на его музыку. Но и это, быть может, одно из заблуждений? Реагировали на приезд московского известного пианиста, на саму, наверное, музыку? Что они могут знать об особенностях интерпретации, об изысках, тонкостях и нюансах? Что?

Но он прервал ход своих мыслей, потому что не мог не понимать: люди всегда способны отличить хорошее от плохого, даже в таких глухих местах. Они все видят, все оценивают. Да, не различат школы, не сделают тонкого анализа, но поймут другое: есть нечто в этой жизни, что увлекает настолько, так заводит тебя за грань привычного, что только поражаешься, как же ценна связь звуков с тем неистребимым и загадочным, что присуще любому человеку, будь он житель большого города или маленького селения.

Он подошел к своему любимому в квартире месту, заглянул в полутемное окно и удивился: прямо перед ним, буквально в нескольких шагах стоял огромный пес. Был он один и смотрел прямо на окно Петра. Удивительно: откуда он мог знать, что там человек, да вдобавок еще один, и ему нужен хоть какой-нибудь друг. Откуда?!

Петр набросил куртку и вышел в палисадничек, куда выходило окно и где находилась собака. Та быс-

тро подошла и, когда Петр наклонился, тут же положила голову на его руку. «Ну, что, брат, нет никого? И где он, твой хозяин? А он был, раз и ошейничек оставил, да вот, кажется, и записочка припасена. Да, точно: «Прошу простить, это моя собака, но я уже не жилец, заберите ее. Ее зовут Клим, я просто любил Горького, хотя теперь его никто не любит. Он добрый, ест практически все. Не сможете, так хотя бы пристройте, мне уже было некогда. Прививки сделаны, пусть он считает, что я плохой, тогда меньше будет тосковать. А я не мог ходить и искать ему человека. Возьмите!»

Такого Петр еще не читал никогда, это впечатляло. «Ладно, Клим с прививками, пойдем. Разделим трапезу. Готов?» — и он повел пса к себе.

Шел и думал, что когда-то в школе им действительно задали прочитать «Жизнь Клима Самгина» и что для него это было тяжелое занятие. То ли литература была еще не по возрасту, то ли обязаловка давила, но не вышло из этого чтения ничего приятного, не получил ни он, ни другие ребята удовольствия. Потом он читал и «Детство», и «Мои университеты», и даже стоял с Ванькой из соседней квартиры за этой толстенной книгой в очереди, и как у них не хватило пяти копеек, и из очереди люди с радостью откликнулись, дали недостающие деньги и мальчишки вышли с книжкой. Тогда прикупить книгу было большой редкостью, это даже не во времена тотального похода за макулатурой и сдачей ее в приемные пункты. Нет, это вообще была абсолютная редкость, и им здорово повезло, что купили Горького.

Потом он долгие годы перемещался по разным квартирам, но так и остался в жизни Петра некой данью памяти детству и такому удивительному род-

ству людей: кто бы теперь дал недостающие деньги на книгу?! А может, это и не так вовсе, и тоже бы дали?

Пес шел рядом, и как-то необреченно шел. А с надеждой что ли. Во всяком случае, Петр не увидел ни понурой морды, ни озираний. Было чувство, что пес что-то такое понимал, с чем уже внутри себя согласился и потому не сопротивлялся. Петя вспомнил, сколько раз он в детстве приносил домой таких покинутых или просто бездомных собак разных калибров и как мама всякий раз сопротивлялась и не разрешала оставлять щенков и взрослых вполне животных у них дома. Причина была одна: все это отвлечет ребенка от главного — от занятий музыкой. Но Петр подозревал, что была на все еще и иная причина: мама страшно боялась за его здоровье, а от собак могло быть все что угодно. И вот он вел пса к себе домой, где никто уже давно ничего не запрещал, и думал, как все устроено: пожалуйста, забирай, а той детской радости уж и нет. Напротив, мысли все больше о том, с кем оставлять собаку во время гастролей, так ли уж он правильно поступает и все такое. То есть той безоглядности, которая одна только и вела в детстве, уже не было.

Однако дома что-то снова поменялось, и Петя обрадовался словно ребенок: кормил, гладил, вычесывал, но блох явных не обнаружил и мысленно похвалил хозяина за хороший уход. Снова взял записку и уже не при тусклом освещении, а на ярком свете обнаружил и номер телефона, явно дописанный уже после, уже после всей подготовки. И Петя понял, для чего это было сделано: человеку, и очень больному даже, требовалось общение, и еще хотелось узнать, как сложится судьба его собаки.

Не сразу, не в этот вечер Петр набрал номер, указанный на клочке бумаги, и услышал голос. Это была женщина, и это поразило музыканта больше всего.

— Я и не думал, что его хозяйка может быть женщина.

— Почему? — услышал он.

— Да потому хотя бы, что на такой поступок нужно мужество и еще рациональный взгляд на вещи. Не так разве?

— Может быть, — довольно слабо отозвались на другом конце провода.

— А вам самой помощь не требуется? Я мог бы принести что-то, зайти хотя бы.

— Нет-нет, что вы! — воскликнула женщина, — Клим может догадаться.

— Это как же? — удивился Петр.

— Да по запаху, разве вы не понимаете?

— А— а, — протянул Петя, — теперь понятно. И все же, можно будет навестить вас? Не бойтесь, я вас не обижу.

— Да приходите, — простодушно отозвалась женщина.

— Хорошо, вы тут где— то поблизости?

— Да, на Щепкина, — и она назвала номер дома и квартиры.

Оказалось, что это было совсем рядом, и Петя тут же собрался. Он заметил, однако, что Клим повел себя как-то странно: заволновался, даже твякнул пару раз. «Неужели на расстоянии он услышал и отличил голос?» — задал себе вопрос Петр, а сам при этом одевался и осматривался в поисках того, что можно было бы захватить с собой. Тут ему на глаза попала коробка конфет и бутылка вина. Он, правда, посомневался, стоит ли с вином появляться у не-

здорового человека, но все же решил взять, а там осмотреться. Еще он сложил фрукты, заглянул в холодильник и забрал кусок баранины. Снова прощупал глазами кухню и снова увидел кое— что важное: хлебцы, которые не переводились в его доме, и еще целый вилок капусты, который он купил только вчера. Тогда он вспомнил и он картошке, и о капусте кислой и все это сложил в большую сумку.

Дверь, возле которой он остановился, была вполне приличная, по которой не сделаешь заключения о неряшливом больном жильце. Да и на пороге показалась вполне миловидная молодая женщина в светлом костюме и накинутой на плечи шали.

— Проходите, — просто сказала она, — это хорошо, что вы без Клим.

— Ну, это понятно, — отозвался Петр, пронося увесистую сумку.

— Вы с поклажей?

— Ну да, где у вас тут кухня? — спросил он, идя за ней.

Сразу же и по запаху, и по каким-то маленьким совсем приметам он понял, что квартира очень ухоженная и любима хозяйкой. Говорили об этом многочисленные детали, видимо, дорогие для женщины, и чистота. Вот это точно бросалось в глаза. «Да какая же она больная?» — удивился Петр, и она словно услышала его:

— Не думайте плохо, я, правда, не смогу больше выгуливать Клим. Такая у меня ситуация.

— Вы что же, решили, что не справляетесь? — решил витиевато спросить Петр, не говоря о болезни впрямую.

— Да, точно. Не смогу.

— Зачем же падать духом? В любой ситуации вы-

ход возможен, — приготовил обтекаемую фразу мужчины.

— Я знаю, — согласилась хозяйка, — но тут не получится. Думала, думала и придумала. Пусть лучше обижается на меня, не вспоминает, — сказала она.

— Нет, не думаю, что это выход, — засомневался Петр, в то время как она стояла и смотрела на многочисленные пакеты с продуктами.

— Вы меня, наверное, неверно поняли, — заметила она, — я не нищая.

— Я отметил это, увидел. Но что-то, однако, вас толкнуло поступить именно так — отказаться от своего пса.

— Да, толкнуло.

— И что же? Вы так больны и некому помочь?

Женщина вдруг весело и заразительно засмеялась, и было непонятно, что ее так развеселило — предположение Петра или сама ситуация?

— Да нет, я не больна! — воскликнула она. — Я просто уезжаю, вот и все!

— Боже мой, ну что же вы так! Можно ж было иначе решить эту проблему, — выдохнул с облегчением Петя.

— Нет, вы не понимаете, не было другого выхода, мне завтра уезжать. А нет, ровным счетом нет никого. Да это и не кошка ведь, а большой пес.

— Нехорошо, бросить пса из-за какого-то отъезда?

— Да я объясню. Не из-за какого-то. Решается моя жизнь. Я лечу в Америку, там у меня дочь, внук — там все, одним словом. И еще там мой бывший муж. Он очень болен, а Клима оставить не на кого, вот что получается. Приятельницы не готовы. Да и кто возьмет на себя такую ношу? Неизвестно еще, сколько я там пробуду.

— Вы что же, не работаете?

— Ой, все так запутанно. Я все вам расскажу. Поймите, я не навсегда уеду, не на всю жизнь. Я еще забегу Клима, я так думаю, надеюсь.

— Хорошо бы!

— Но сейчас, поймите, сейчас я не могу. И что я должна была написать? Лечу за океан к родственникам? Ну, точно сочли бы меня сумасшедшей. А так — не совсем еще. Я так хочу его увидеть, — без всякого перехода заявила она.

— Кого, мужа?

— Да нет, Клима своего. Он как, очень тоскует?

— Не сказал бы, вы хороший тактик, все взвесили, продумали. Он понял и смирился. — Петр думал, какой он легковверный, что так легко повелся. Но что-то трогательное явно было в этой хрупкой женщине, у которой был даже внук. Интересно, сколько же ей лет?

— Не осуждайте меня, прошу вас. А зачем столько продуктов? — снова без перехода спросила она. Видимо, это вообще было ей свойственно. Как и очевидная легкость, которая переполняла все ее существо. И шаль совсем не старила ее, скорее, наоборот.

— Да нет, я решил, что вам нужно поесть, вот и прихватил. Хорошо, что у вас все есть.

— Да нет, очень даже здорово, что вы принесли. Как только я осталась одна, почему-то сразу исчезли продукты. Так надо было кормить Клима, готовить и есть самой. А тут все сразу куда-то полетело. — И она повела так рукой, что сомнений не оставалось: что-то и впрямь куда-то полетело. — Да что я, идемте в комнату, стоим тут. А вас как зовут? — на ходу спрашивала она, и Петру показалось, что она вот- вот совершит какой-нибудь пируэт, так легка и невесома была

ее походка и она сама. — Присаживайтесь, — сделала она жест рукой, и снова Петру почудилось, что вот-вот начнется балетное представление или, на худой конец, танец. Но танца не последовало, так как хозяйка забралась в кресло и смотрела на Петра.

— У вас очень симпатично, — огляделся Петр и про себя решил, что же делать дальше. Обаяние женщины было столь велико, что уходить явно не хотелось, и он сел.

— Знаете, я очень люблю печь. Вот и сегодня, даже несмотря на то, что нет никого, я испекла пирог. Ох, Клим их так любил, хотя я понимаю, это не по правилам. Но я не люблю правила. А вы? — снова без видимого перехода спросила она. — И еще я хотела бы снова петь. Вот, все думают почему-то, что я балерина, это у меня характер такой, наверное. Да, скорее всего. А я пою. Мне кажется, вы тоже к музыке имеете некоторое отношение. Я не права?

«Ну ничего себе!» — мысленно воскликнул пианист. И откуда это могло ей стать известным? А вслух сказал:

— Да, вы угадали.

— А что, что я угадала, скажите? — не унималась женщина.

— Угадали, и все. Пока больше ничего сказать не могу. Кстати, как вас зовут?

Она снова засмеялась, и постепенно становилось понятно, что ее характер, легкий и открытый, просто притягивал словно магнитом. Такие люди в какой-то период жизни начинают сильно страдать, так уж все складывается у них. А пока... пока порхают.

— У меня очень легкое имя, — сказала женщина, — я — Аглая.

— Ничего себе легкое и простое. Это что же, ваши

родители так любили Достоевского? Или другие какие-то ассоциации? Помните в его «Идиоте?»

— Ах, ну что вы, конечно. Но здесь другое. Мама чттила бабушку, даже побаивалась ее, а ту именно так и звали. И она и вправду любила Достоевского. Может, оттуда и взяли. Но связь, однако, более глубокая и не литературная. Бабуля была в лагере, сидела, ну, знаете, что за времена. И вот там— то была женщина, которую тоже звали, как и бабушку. Редкое такое совпадение. И стала я Аглаей. Не очень мне нравилось в детстве мое имя. Но ничего, с возрастом привыкла. Мне кажется, оно мне не очень подходит, не мое. И мама тоже так чувствовала, когда была еще, — женщина как-тосразу сникла и опустила голову.

Было в ней то редкое сочетание игривости, беззаботности и молниеносного перехода в другое состояние. Обычно такой переменчивостью отличаются девочки-подростки, но ей-то уж за тридцать. Отчего это так закрепилось? Вот и пса решила отдать. Что-то не так здесь. Почему она такая беззаботная?

— Вы не думайте, что я легкомысленная, — словно услышала недоумение Петра хозяйка дома, — напротив, я очень много, даже чрезмерно много думаю и анализирую. Вот, отдала Клима и мучаюсь теперь. Но выхода у меня решительно не было. А если бы я приписала, что только временно, его и вовсе бы не взяли, вам не кажется?

— Знаете, я, пожалуй, пойду, — поднялся Петя и уже направился к выходу, как женщина быстро встала и перегородила ему дорогу.

— И все же я что-то чувствую. Мне кажется, вы напрямую связаны с музыкой. Видите инструмент? Может, сыграете?

— В другой раз, — галантно поклонился Петр и решительно подошел к двери.

— Ах, значит, все же так, — задумчиво произнесла Аглая, — ладно, я наберусь терпения, идите с Богом, спасибо вам.

— Большое спасибо, — снова повторила она. — Вы позвоните еще? Ой, погодите — пирог! — и она выбежала из коридора. Петр улыбнулся, и ему показалось, что именно такого в его жизни ему и не хватало: какой-то такой безоглядности, даже ветрености, чудакватости, может быть.

— Обнимите Клима, дайте пирога, он, конечно, все поймет, но, наверное, он уже смирился со своей такой участью, он не в обиде, я же его заберу, в конце концов! Вы понимаете меня? — и она так проникновенно заглянула ему в глаза, что он смутился и подумал, как все непредсказуемо в жизни: живешь, живешь, и тут — на тебе, такое чудо. Какое чудо, Петр не стал уточнять, но уходил в самом замечательном настроении.

По дороге он тоже вспомнил, как еще совсем недавно мир казался ему брошенным, а он сам — почти позабытым им, этим миром. Но вот концерт, теперь эта странная женщина — нет, воистину ничего предвидеть и предугадать невозможно. Да и ладно, пусть так.

Он подумал, что не дал ей своего номера телефона, но потом решил, что она сообразит и поймет, что он звонил, значит, его номер сохранился. Жаль, что не спросил, когда она уезжает и нужна ли ей помощь.

Дома он накормил Клима и согласился, что она все видела наперед: Клим словно проверял его, долго смотрел, обнюхивал, даже прилег на какое-то время и не сразу принялся за печеное, но вскоре отошел, видно, вспомнил, что за участь ему обрисовали, и все съел. Досталось и Петру, и он удивился: эта женщина действительно умела печь, это точно. Пирог был с мясом и еще с какими-то добавками, и Петр с горе-

чью вспомнил, что его Нина никогда ничего не пекла. Готовила мясо, это точно, но вот до выпечки дело не доходило почему-то. Причем, каждый раз она убеждала и его, и себя, что это все временно и что она непременно начнет печь, но шло время, и она так и не могла отважиться делать тесто.

Уже ближе к вечеру раздался звонок, и он буквально бросился к трубке. Это была она.

— Вы не спали? Я хотела спросить, как вы и как аппетит у Клима? Он поел?

— Да, спасибо. Когда ваш самолет? Я могу вас проводить.

— Ой, что вы, неудобно, я привыкла все сама. Но подождите, если вы придете... Если вам не трудно, то хорошо. Это завтра, надо быть в аэропорту в четыре часа. Может быть, вы заняты или у вас работа?

— Я смогу, — коротко ответил Петр. Буду в два часа, у меня машина, не заказывайте.

— Как хорошо, спасибо, — снова сказала она. — А сегодня, что вы делаете сегодня?

— Мы можем прогуляться. Кстати, вместе с Климом. Как вы на это смотрите?

— Замечательно смотрю, только это, наверное, неправильно.

— Почему?

— Ну как? Клим может занервничать, ему станет еще труднее, — предположила женщина.

— Ничего страшного, он попросается, и вы — тоже, — успокоил Петр. — Я подойду к вам через пару часов. Договорились?

— Да. Вы не ужинайте, я все приготовлю.

Петр походил по комнате и почувствовал, что кто-то смотрит на него. И этот взгляд, и само ощущение были знакомыми, и ему сделалось очень нехорошо,

неприятно. Он посмотрел в сторону рояля и, конечно, увидел его, своего мучителя и искушителя.

— Да нет, вы ошибаетесь, я никакой не искушитель. Но, в самом деле, на что я вас искушал? Вот, значит, неправда, раз молчите. А действия ваши одобряю, более того, нахожу их чрезвычайно милыми.

— Все думаю, а говорите ли вы когда-нибудь, не ерничая? Без этой вашей мерзкой интонации?

— Что, соскучились? Верю. Любому человеку нужно нечто такое, что вызывает чувство протеста, а то, в свою очередь, готовит человека к борьбе. К схватке, к чему-то такому, что непременно должно присутствовать в жизни, иначе человек скиснет, захлебнется в хорошем и замечательном. Помните опыты с крысами? Я, можно сказать, помогаю вам, вы этого просто не понимаете.

— Как Нина? — задал вопрос Петр.

— Вспомнили! Ну, что же, Нина живет хорошо, можно сказать, преуспела.

— В любви к вам?

— Ну, что вы, — засмеялся Фредерик, — я не такой самонадеянный. Она запела, вот что важно!

— И где ее можно услышать? — поинтересовался бывший муж.

— Услышать? Ну, это пока трудно. Хотя... хотя вы можете заехать к нам, это не так сложно. Мы же почти соседи!

— Не ожидал. Где же вы проживаете? Помнится, у вас много мест: то море и корабль, то едва ли не дворец. Не затруднительно?

— Хорошего, как говорится, не может быть много, — заключил Фредерик и почему-то сник.

— Что это вы как будто скисли?

— Да, есть тут одна причина.

— И в чем же она? — спросил Петр.

— В чем? Как вам сказать? Все дело в вас. И еще в Нине. Она никак не может освободиться от вас, представьте.

— От чего во мне не может освободиться? Не от любви же? — не выдержал Петр.

— А может, и от нее, проклятой, — задумчиво ответил пришедший.

— И что же от меня требуется? Что такое, чтобы вам обоим стало еще лучше?

— Что? Самое правильно было бы — устранить вас вовсе. Но...

— Продолжайте, не тушуйтесь, — поддержал Петр.

— Но как это сделать? Вашу смерть она не переживет, ей станет еще хуже. Иначе, я давно убрал бы вас! — воскликнул Фредерик.

— Вот, значит, как стоит вопрос! Смерть — мерило всему?

— А что еще может быть мериллом, кроме нее? — спросил Фредерик.

— Любовь, например, — ответил Петр, — не пробовали любить?

— Хватит, утомили вы меня, — сорвался с места мужчина и схватил Петра за воротник. — Так бы и убил, черт тебя дери, как же надоел, ну, просто страшно.

— А вы не бойтесь, попробуйте! — подзадоривал Петр. — Убивайте, сами же говорили, что надо во всем идти до конца. Идите! А лучше убирайтесь вон! — выдернул Петр свою рубашку и ослабил хватку мужчины. — Убирайтесь! И если придете еще — это я убью, это вы мне надоели до чертиков, вон отсюда.

И действительно, Фредерик почти мгновенно испарился, причем его взгляд Петр запомнил очень и очень: это был взгляд совершенно испуганного, едва

ли не затравленного существа. «Надо же, как не сладко, однако, жить без любви. Даже имея такие возможности и такое могущество!» — насмешливо подумал Петр и пошел готовиться к предстоящему вечеру.

Он, по обыкновению, подошел к окну, чтобы успокоиться, унять волнение и неожиданно поймал себя на мысли, что еще совсем недавно не смог бы так повести себя. Он даже немного был горд тем, как расправился с негодяем, — другого названия тот не имел.

Подумалось: «Надо же, почти темно, сумерки, а на душе ничего темного, напротив, светло и празднично, почти, как в Первомай». Он еще с детства, а потом и во взрослой жизни любил этот весенний праздник. Нравилось все: его символика, красивые люди, шары и флаги, особый ритм, которым был напитан город. Само настроение, которое с утра не может быть искусственным и которое было совершенно искренним и теплым у людей, которые выходили, чтобы приветствовать друг друга и тех, что стояли высоко на трибунах. Как-то по-иному дышалось в эти дни, верилось, что не один только Новый год, но еще и весенний праздник готовит обновление и надежды на другую, конечно же, лучшую жизнь.

Дверь, перед которой он стоял и в которую пытался звонить, была закрыта, и никто не откликался на его звонки. Он отступился и решил подождать. Чего только? Время явно торопило принимать какое-то решение, а там, в глубине квартиры, было по-прежнему тихо. И он подумал, что она, может быть, уехала на такси и не стала дожидаться его. Может, дело вообще в другом, и за ней заехал кто-то? Ну, тот, кому она пекла пироги, скажем? А не может так быть, что она вспомнила что-то в последний момент и побежала в магазин? Он размышлял, не в силах отойти от двери,

приковавшей его внимание, интерес. Он был так сосредоточен на казусе неоткрытой двери, что не сразу среагировал на другую открывшуюся дверь, из которой вышла женщина, высунула голову другая, а он все стоял и стоял.

— Извините, — услышал он над собой, — я зашла к соседке попросить, чтобы она заходила поливать цветы. А вы? Вы что такой мрачный?

Да, это была она, и в это трудно было поверить. Он и не ожидал, что ее приход станет для него таким важным, таким необходимым. А неприход — едва ли не катастрофой.

— Да вот, звоню. А вас нет.

— Да все в порядке, я уже готова. Мы, как, едем? — засмеялась она.

— Едем, если это так необходимо, — отозвался Петр, сам не веря своим ушам: неужели это он так разговаривает почти с незнакомой женщиной, ожидание которой стало столь необходимым.

— Ну, а как же! Я готова, билеты в сумочке, вы пришли, все в порядке.

— А-а, понятно, — протянул он, что-тосвое имея в виду.

— Да проходите же, у нас еще есть минуты.

— Это радует, — уже примирительно отозвался мужчина.

— Вот, это весь мой багаж. Не набираю только потому, что там полно всяких моих вещей. Вы что же. Плохо чувствуете себя? — заметила она состояние Петра. — Ничего, все образуется. Главное — нужна маленькая хитрость.

— И что же это за хитрость такая? — поинтересовался Петр.

— Просто верить. Верить и все, представляете?



Каждый должен во что-то верить, кому — то верить, даже себе. Нет, себе — в первую очередь.

— И вы, скажем вы, во что же верите?

— А, какой хитрый. Так сразу я не скажу. Но точно, верю. И все у меня получается.

— Неужели? Так не может быть, — не поверил Петя.

— Может, очень даже может. Я прилечу и все вам расскажу.

— А когда, кстати, вы вернетесь?

— Я? Посмотрим. Если повезет, очень скоро.

— А как вам должно повезти? Может, я смогу по-мочь?

— Нет, это я сама, только сама, — ответила Аглая.

Ее почему-то не хотелось называть этим именем, и она будто услышала это.

— А меня многие пытаются сначала называть Алла, еще как-то, но потом все равно переходят на полное мое имя. Нельзя иметь много имен, это разрушает.

— Что же такое разрушается? — поинтересовался Петр.

— А что-то внутри, сразу и не скажешь, но точно. Лучше правильно выбрать имя и не калечить его. Так что я — Аглая. Это поначалу кажется, что трудно и непривычно.

— Вы думаете, у меня будет возможность привыкнуть? — просто спросил Петр.

— Ну, конечно! — воскликнула Аглая и присела на диван. — Садитесь, не будем нарушать традицию. Ну, все, можем ехать, — оглядывая дом, сказала женщина, — идемте.

У Петра многие годы была самая настоящая путаница с днями недели: не каждый же день он ходил

на работу, а все больше расписание его жизни подчинялось совсем другим распорядкам и календарям. Гастроли, репетиции — какая разница, какой это был день недели? Вот и сегодня, по счастью, был выходной, а это означало только одно: ехать будет значительно приятнее, пробок меньше. И они поехали. Ему очень хотелось спросить, чем же она занимается, где и чему училась, кто ее семья. А сам говорил об улицах, разных московских местечках, историю которых знал. Он вообще любил историю, знал много разных и всегда с удовольствием вникал в прошлое любого места, края, куда приезжал и где предстояло играть.

— Вы учились в Москве? — все же решился он на вопрос.

— Ой, у меня вообще-то странная история. Родилась здесь, уехала в Питер, но не сама, а моя семья, мама и папа. Училась там в консерватории, потом много чего еще закончила. Видите, какая я старая уже? — кокетливо сказала Аглая.

— Да уж, старее не бывает, — пошутил Петя, — с удовольствием отмечая, что ее манера общаться, произносить слова все больше ему нравятся, и он напряженно подумал, как жаль, что ее не будет и что предстоит жить одному.

— Я и теперь пою, но редко. Занимаюсь регулярно, но все вытеснило другое, я потом вам расскажу. Вы не назвали ваше имя.

— Я — Петр, ваш сосед, живу рядом. Теперь вот с вашей собакой.

— Вы что же, один?

— Можно и так сказать, — ответил Петя, — теперь один.

— Что, что-то случилось?

— Ну, конечно, в жизни всегда что-то случается.

— Но вам не страшно? — неожиданно спросила она.  
— Вот еще! Я храбрый.  
— Нет, сильный и храбрый — это разное.  
— Так вот я — и сильный, и храбрый, — ответил с вызовом Петр.  
— Я тоже сильная, — ответила, скорее, себе женщина.  
— А что, по-вашему, сила? В чем она? — спросил Петр.  
— Ну, в том, чтобы принимать жизнь. Не стремиться ее перерешить. Она одна, и ею нужно наслаждаться.  
— Мне кажется, что мы сидим с вами в ресторане и ведем неторопливый разговор. А между тем скоро аэропорт.  
— Да, скоро. Я не очень охотно летаю. Больше дом люблю. Хотя, наверное, что-то в этом не так: все равно же перемещаюсь, да и довольно часто, — сказала Аглая.  
— Все больше в те края, в Америку?  
— По-разному, бывает, езжу и на отдых, море люблю, заплывать далеко. Там тоже океан совсем рядом, поплаваю.  
— Прилетайте, пойдем с вами в ресторан или на выставку, или еще куда-то. Согласны?  
— Да, прилечу. Все решу, покупаюсь и прилечу. Вы не забудете мою собаку?  
— Это лишнее. Я имею в виду ваш вопрос. Куда же мы с ней денемся? Теперь — никуда! — весело отозвался Петр.  
— Спасибо. Что бы вы хотели, ну, может, вам что-то очень нужно, а этого здесь нет?  
— Я такие вещи привожу сам. И у меня есть все! Абсолютно все! — с вызовом, снова весело откликнулся Петр, вынося чемодан и помогая Аглае выйти.

— Всего не бывает, это вы так, от радости.  
— Правильно, я очень рад, что вы уезжаете, а я вас провожаю.  
— Ну, ладно, терпите. Все надо вытерпеть и тогда все придет. То, другое, чего очень ожидаешь, — немного грустно сказала Аглая.  
Объявили посадку на ее рейс, и пришлось смириться и с этим.  
— Ну, счастливо, — очень невесело сказал Петр, — купайтесь, радуйтесь, я буду вас встречать.  
— Да, это очень важно! — почему-то именно так сказала на прощание женщина, и Петр стал смотреть, как постепенно удаляется ее хрупкая фигурка, и он снова остается один. «Да, все в этой жизни имеет свой конец, и ничего с этим не поделаешь», — заключил он и пошел к машине.  
— Ну, ты, мужик, чо здесь встрял? Думаешь, особенный? — наехал на него мерзкий мужичишка в кепке, сбитой на одно ухо.  
— Как ты догадался? Конечно, особенный, — с вызовом пошел на него Петр.  
— Щас схлопочешь, — сплюнула кепка и уже замахнулась на музыканта, но не тут-то было: Петр подхватил его грязную руку и завел за спину. Он давно выучил не только этот приемчик. Тот завопил и сдался довольно быстро. Однако Петя не спешил выпустить руку мужика и, держа ее, сказал: «Живи пока. Живи и знай, что есть быдло, а есть другие, особенные. Усек?» Он ослабил руку и, не оглядываясь, открыл дверцу своего джипа.  
То, что он неправильно припарковался, не ущемило ничьих интересов, он поставил машину так, что таксишная братия решила, видно, что он один из претендентов на их хлеб. Вот и пришлось поучить. Но

сделалось противно, он посмотрел в зеркало, увидел, как кепка надсадно рассказывала сотоварищам о проишествии, и снова подумал, как непредсказуема жизнь: как качели счастья, только что поднявшие его на высоту, вдруг столкнулись, пусть и о мелочь, но все же. И так во всем: от надежды к отчаянию, как сказал один философ. «От страдания — к радости», — так решил и так сказал свое слово в музыке композитор, который тоже был философом и предостерегал от безнадежности. И Петр снова, в который уже раз, подумал, что надо, надо подступаться к Бетховену, что годы сотворили в нем нечто такое, что он уже имеет право на диалог с ним. Если под силу оказался Бах, то можно поговорить с Бетховеном, хотя обычно все делали в обратной последовательности.

«Интересно, что она имеет в виду, говоря о силе? Что это вообще за штука такая? И почему всю жизнь эта вещь так меня заботит? Наверное, уязвим. Здесь именно уязвим. Ведь что получается: забрали Нину — смирился, в дом повадился какой-то поганец — что предпринял? Выгонял, бил, но чего-то такого все же не сделал, раз он появляется снова и снова? Может, с ним, как с дьяволом, союз заключить? Надо будет подумать. Что в обмен? — Нину? Так он ее получил, причем без особой борьбы. С Шопеном закончить, пойти другим путем — и это сделал. А может, и не так плохо, что он возник? Вряд ли без такого стресса, такого адреналина что-то путное вышло. Вряд ли. Но уже хватит, с этим надо кончать. И сделать это немедленно. Прямо сегодня. Не тянуть».

Он повернул на Проспект Мира, потом на свою улицу и въехал во двор. И уже твердо знал, что следует делать. И ясная погода, и приближающийся вечер, который всегда таил для Петра наступление, преддверие чего-то нового и неожиданного, буйство зелени

и вечернее чириканье птиц — все говорило за то, что сегодня состоится решающая, главная встреча, которая положит конец всем этим мистификациям и провокациям. «Хватит! Хватит!» — сказал сам себе Петр и вошел в квартиру.

Там его поджидали, и он этому уже несколько не удивился.

В полном сознании и уверенности в том, что все делает правильно и единственно возможное, он, не глядя на сидящего, прошел на кухню, взял там лежащий отдельно нож, завернутый в красную ткань, и стремительно направился в комнату. Там все так же молча, он одним броском оказался рядом с сидящим мужчиной и ударил его ножом. Бил он коротко и метко сверху вниз, мужчина легонько охнул и повалился на бок. Все также хладнокровно Петр отер нож красной тряпкой, даже еще и убедился, что лезвие чистое, и толкнул повалившегося ногой, словно проверяя, жив ли он. Тот безвольно, совершенно покорно перевернулся еще раз, и Петр понял, что дело сделано: его мучитель мертв. Он спокойно, не думая ни о чем, снова вышел на кухню, налил себе горячего чая и отхлебнул его. Он по-прежнему стоял, но мысли его были собраны в кулак, он не метался, не размышлял, что и как следует делать дальше: он все знал. Как знал и то, что вот-вот и с ним произойдет нечто подобное. И был к этому готов.

И действительно, не успел он сделать еще глоток, как прямо над своим ухом услышал: «Еще не время, позже, дорогой, позже. А пока, пока твоя очередь». И с этими словами Петр почувствовал, как что-то твердое и холодное входит в него, в то самое место, которое прежде частенько побаливало, и он даже подумал, что, наверное, снова возникли проблемы с его печенью. Но все было не так: это поднявшийся с полу

человек, который довольно твердо держался на ногах, воспользовался тем же оружием — и Петр успел даже подумать, как это оно у него появилось, — воспользовался и сделал ответный удар. Разница заключалась лишь в том, что Петр перевернуться, а затем подняться уже не смог, ну, не обладал он теми немислимыми, сверхчеловеческими возможностями, которые, судя по всему, отличали пришедшего злодея. И едва светящимся проблеском сознания, все же зацепившего его голову, память, что-то еще, он успел удивиться и подумать, как это такое оказалось под силу.

Действительно, как оказалось возможным такое, что давний его искуситель и недруг, не был убит, а, более того, еще и поднялся и сам нанес ответный удар. «Неужели это все? — пронеслось в голове Петра, — неужели ни Нины, ни Аглаи уже не будет никогда? Что же, конец? И вот он какой, этот конец?» Все мгновенно закружилось, превратилось в единый светящийся шар, с каким-то отливом и посеребрением, и Петр стремительно взлетал в какую-то округлость, напоминающее по форме огромный дирижабль, который летел почему-то быстро-быстро и только походил на диковинный дирижабль, сам таковым не являясь.

Шар летел, ускорял движение, скорость, как представлялось Петру, была ни с чем не сравнимая, и в конце концов все закончилось, утратилось свечение, и погасли огни. Сам летающий объект стал сдуваться, скорость свелась к нулю, и Петра едва ли не выбросило из полости дирижабля вниз. Он и полетел какое-то расстояние, и даже снова сознание вернулось каким-то обрывочным воспоминанием, и он подумал, что нет, это еще не конец, и возможно все, включая возвращение к жизни. Однако очертания постепенно утрачивали свои контуры и четкость, и становилось понятно, что все закончено.

## Часть третья *ИЗ НЕБЫТИЯ*

Я после долгих лет бежал из плена...

*Франческо Петрарка*

Люди, проходившие мимо гроба, задерживающие на несколько секунд, чтобы помолчать и что-то вспомнить, вытереть слезы, подбодрить сидящих вдоль окруженного цветами изголовья, где голова мужчины едва была видна, отмечали все и живой цвет лица лежащего и даже шептались о каком-то особенном его выражении, и о том, что это был за человек. Одно не устраивало Петра — это слово «был»!

Он лежал, как и положено, скрестив руки, но внутренним зрением или еще каким-то — уж теперь и не поймешь, каким же именно — наблюдал и оценивал происходящее. Начал в какой-то момент даже беспокоиться: где Нина? Но вот она появилась, и он чуть ли не поднялся: Нина была беременна. Он судорожно стал подсчитывать дни, месяцы и понял, что по срокам выходило нечто загадочное: если это месяцев пять, чуть больше или меньше, то он, стало быть, к этому событию не может иметь отношения. А жаль. Была она одна, ее никто не сопровождал, и это прибавило настроения. Хотя, о чем это он? Какое может быть настроение в его положении? Однако!

Он отметил, как Нина бледна, как надкусаны ее губы, что всегда случалось, когда она сильно нервничала, как палантин, которым она прикрывала плечи, все время сползал, и она забывала его поправлять. Было видно, что она не в себе и что это скорбное мероприятие сильно ее утомляет. Но странно, где же ее рыцарь, ее избранник или кто он там ей? Нет, того не было. Да, а может такое статься, что его и вообще больше нет? Но тут он вспомнил, что вскоре приеха-

ла скорая, и только не мог понять, кто этому посодествовал, как врач сокрушенно сказал, чтобы записали время смерти, и по реально протекающим событиям, а не по его необычным ощущениям он вспомнил еще вот что. То есть он вполне мог отличить то, что происходило в действительности, и то, что творилось с ним на самом деле. Но как бы это сказать? На самом-то деле — да, но только это не было никому известно и заметно, это совершалось глубоко в подсознании Петра, в его ощущениях и переживаниях. А то, что он переживал, было совершенно точно.

Он помнил, например, что тот же строгий врач, который — он снова припомнил — уже был у него, когда ему стало плохо и Нина или кто уж там вызывали скорую. И уже тогда врач был близок к тому, чтобы констатировать смерть. И вот, наконец, ему представилась такая возможность. Понятное дело, что он не радовался и не огорчался, выполнял долг, как говорится. Но что-то все же Петр отметил такое, что имело отношение к профессиональной логике и последовательности жизненных действий и самого совершаемого жизненного процесса. Ну, не мог, по его мнению, человек, уже однажды стоящий одной ногой в могиле, снова очнуться, жить припеваючи, а во второй раз снова выкарабкаться. Должен был работать закон больших чисел: хватит! Пожил и достаточно! Музыкант, черт вас дери, за что только такие деньжищи получают?!

Все эти скрытые мысли каким-то собачьим чутьем обнаружил Петр, догадался, прочел — кто ж это может знать? Но он точно знал. Что врач, хотя и делал все необходимое, все реанимационные, как они говорят, мероприятия, но понимал, что второму разу не бывать. Это не на поверхности лежит, в этом ник-

то, ни врач, ни даже сам Петр не признаются, но чувство, близкое к разгадке, к правде, он учуял. И сомнений быть не могло: на черта, и правда, было его спасать снова? А если и третий раз приключился бы? Ну, нет, не много ли?!

Тут Петр заметил, как прямо перед ним остановился его тезка по фамилии Чиченин и как долго и внимательно вглядывался в лицо музыканта. Бывшего, конечно. Эх, Петя, не понял ты меня в свое время! Теперь заделался могучим боссом. Воротилой в культурном бизнесе, иначе не скажешь. А когда нужна была крохотная подпись — закорючка, просто некий росчерк пера, чтобы друга — музыканта отправить на стажировку, да еще не в какую-нибудь Америку, а в Германию, нет, не смог поручиться, не захотел, испугался. Только вот чего, Петя пытался понять многие годы, и только совсем недавно на одном банкете по случаю его великолепного выступления коснулись большой давнишней темы, и Петя услышал необычный ответ-признание:

— Петруша, ты у нас гений, — вальяжно заметил тезка, — как это ты так можешь?

— Сам не знаю, — зловредничал музыкант.

— Тебе что-то, может, надо? Ты заходи, не стесняйся.

— Петруша, ну, что мне может быть надо! — вопрошал музыкант. — Мое дело маленькое: куда пошлют, туда и еду. Ты вот послал к такой-то матери, а я взял и не поехал. Наверное, потому теперь такой выездной. Иногда нужно непослушание. А?

— Ты все помнишь? Все про то? Ну, не мог я, пойми. Сам сидел в скрипучем кресле. А велено было только надежных и из престижных семей.

— Вот оно в чем дело! — протянул Петр Венцлов,

— а я, стало быть, из питерской коммуналки, не подходил, значит.

— Да, не подходил. Это теперь все хвалятся своими коммуналками, а в то время — это было лишнее. Говорило о невысоком нашем социальном статусе, несостоятельности. Для международных дел никуда не годилось, неужели ты так и не понял еще?

— Вот теперь понял. Как концерт, ты мой, состоявшийся? Все годится у тебя? Все на месте, совпадает с международным стандартом? Ну, вперед! — и Петя отошел от культурного деятеля.

И вот теперь тот всматривается в его лицо, словно хочет вызнать что-то, а может, испросить прощения? Да вряд ли.

И вдруг Петр услышал: «Прости, друг, виноват я, но что делать, времена были такие, прости!» — «Времена всегда одни и те же», — неожиданно для самого себя ответил Петр, причем, сделал это, конечно, мысленно, однако, по реакции своего тезки, который вздрогнул и даже отшатнулся слегка, понял, что был услышан. Но как, оставалось загадкой.

Люди, знакомые и нет, шли и шли, и бывший музыкант по стечению народа понял, что оповещение о его смерти было довольно внушительным, раз под прощание отдали консерваторский зал. Он выделял из цепочки проходивших людей тех, кого знал очень хорошо, тех, с кем только иногда пересекался, а большинство было вовсе незнакомо ему. Он посокрушался, что так и не успел подступиться к Бетховену и прочувствовать сполна его послание будущим музыкантам, которое содержало важное замечание: музыка может быть какой угодно, но она не должна быть безнадежной. И снова подумал, как пророчески справедливо заметил великий композитор. «Но почему —

не должна? Почему?» — не унимался Петр. И сам себе же отвечал, что всегда надежда должна присутствовать, даже и теперь, когда, казалось бы, надежд ни на что нет вообще никаких. Ни-ка-ких!!!

Он хитрил: не давал себе возможности подумать об Аглае. Где она может быть теперь, прилетела ли и как распенила его молчание? Ведь он не мог отвечать на ее звонки, а она, наверное, звонила? Скорее всего. И прийти — то не может, она даже не знает его фамилии. Только если на афише или в телевизионном объявлении не увидит его портрет и не соотнесет с ним, еще живым. Интересно, а она надеялась на что-то? Ну, хотя бы на развитие отношений, может, и на нечто большее? Да, теперь это точно не узнать никогда. Ах, если бы она появилась!

Странное дело, лежишь тут, а все еще надеешься на какие-то несбыточные вещи, на чудеса. Ну, даже если она и придет, и что из этого? Ожить — то все равно не удастся! Как быть? Ладно, хотя бы пожелать ей чего-нибудь хорошего, сказать пару слов.

«Вот, надо же, Витек пожаловал! Это успокаивает, даже радует!» Он увидел, как тихо, совершенно бесшумно прошел его давнишний друг, как склонился над ним и пробормотал:

— Ну, прощай, брат, любил я тебя, знаешь. Кто теперь философствовать со мной станет?

— Да ты не тушуйся, еще встретимся, еще поговорим, — насмешливо, как ему казалось, ответил музыкант.

Витка отпрянул, даже оглянулся, видимо, проверяя, не послышалось ли ему, потом снова склонился и провел рукой по лбу Пети.

— Ох, спасибо, — отозвался лежащий, — а то так жарко. Не дрейфь, Витек, все хорошо.

Ошеломленный товарищ снова отшатнулся от гроба и скорым шагом направился к выходу.

Петр все думал, придет ли его злодей и где он теперь: отошел ли в мир иной или все так же досаждает его Нине, говорит о любви, провоцирует на всякие эскапады, перемещения, своими мистификациями вызывая удивление и желание продолжить, развить их? Эх, если бы и он оказался в том мире, куда вот-вот направится Петр! Освободил бы, в конце концов, его Нину. Но как быть с ребенком, его выхаживанием, воспитанием, финансами? Это ж не просто так все! Где она будет брать деньги? Ну, скопил, конечно, Петр Венцлов кое-что, но получить-то она сможет накопленное только через полгода. А как жить сейчас? Да, самое интересное: где мерзавец? Ладно, может, еще узнается.

А Нине между тем становилось все хуже, и Петр сильно забеспокоился: где врачи, где они, черт их дери? Так, появились, наконец-то, увели, под руки увели. Это что же, она так переживает? А как же Фредерик? Тьфу, даже по имени мерзко называть. Ему и вправду больше подходит «злодей» и «мерзавец». «А может быть, сроки именно те, что подходят ему, Пете, и он является отцом Нининого ребенка? Их ребенка? Но как же противно гадать: значит, так все паршиво, что этот гад может быть действительно отцом, раз приходится подсчитывать и прикидывать?» Самое страшное не в сроках, не в измене даже, а в том, что Петр видел сам и что скрыть невозможно: Нина тогда, по их улице шла с этим гадом и прижималась к нему. Не насильно же он склонял ее к себе? !Ах, эти тонкости, штришочки совпадений, эти заколючки сознания, которые как раз и свидетельствуют

об одном: не безразлична ему Нина, нет. И это печалило еще больше.

Что это за тетка остановилась, а перед этим еще что-то зло выговаривала сотруднику церемонии? Неужели это та, что он видел еще совсем недавно в кафе, а до этого — на отдыхе на море. На их еще с Ниной отдыхе. Точно, она. Интересно, скажет что-то или так пройдет? «Вы чем— то недовольны?» — мысленно задал вопрос Петр Венцлов. Реакция уже была почти привычной, но женщина быстренько взяла себя в руки и прошипела: «Вот он, конец, и к знаменитостям приходит. Не могли воду организовать». Сказав это, она отошла, явно недовольная всей организацией траурного мероприятия.

Так, еще кто из старых знакомцев пожалует? И тут он увидел странного человека, довольно плотного телосложения, в милицейской форме, которому явно не хватало в руке палочки, потому что он время от времени делал такое движение рукой, которое означало только одно: крутанул бы ей точно. И Петр вспомнил, откуда этот персонаж. Еще в той, еще почти прекрасной жизни он, тоже вот так же без памяти лежа в какой-то комнатухе, где постоянно слышались голоса и называлось имя человека «Гусь», являвшегося, как позже выяснилось, хозяином комнатенки и заодно садовником, так вот, именно там и появлялся этот гражданин. Это был полицейский. Он и теперь одет был в форму, только что без фуражки. И потому Петр не сразу припомнил, откуда это он его знает. Тот и тогда суетился, распоряжался происходящим, и из своего небытия Петр отмечал грузную фигуру человека, так проворно действующего в сложных условиях. Интересно, что его— то привело, уж не любовь же к музыке? Неужели он что-то такое знает,



что неизвестно Петру и что может впоследствии как-то прояснить ситуацию?

«Да что теперь ситуация! — с горечью подумал Петр, — зачем она и ее разгадка мне? Тут бы дослушать, досмотреть весь этот фарс с речами, которые вот-вот начнутся, с проходами, выражениями соболезнования. Надо же, а Нины нет до сих пор. Неужели так плохо?»

Он отвлекся на мысли о Нине и не заметил, как к его изголовью подошла странная женщина весьма преклонного возраста с пучочком реденьких рыжих волос на голове. И он мгновенно припомнил, кто это. Да, точно, это была их давняя соседка по коммуналке в Ленинграде, мать его друга Юрки, который уже в десять лет научился варить себе что-то похожее на борщ, потому как эта его мамаша регулярно выходила замуж и ей точно было не до воспитания сына.

Ну что теперь ее привело в другой город, да еще и преображенную совершенно. Причем, в лучшую, кажется, сторону. Спросить бы! В памяти мгновенно всплыла картина, как Жанна Петровна сидит у зеркала на кухне и накручивает бигуди из бумажек и из пластмассы. Почему она это делала именно на кухне, было совершенно непонятно. Она вообще предпочитала кухню любим другим помещениям. Даже когда она и бывала дома, все равно от прямых кухонных обязанностей отлынивала, и ее сын Юрка занимался сизмальства готовкой, она витала где-то далеко. Казалось, что ее мало заботили не только дела своей коммуналки, но и вся окружающая действительность. Кроме, пожалуй, ее избранников, которые время от времени посещали их скромные апартаменты, и Петя давно запутался, кто есть кто и кем приходится Жанне Петровне. Да и другие жильцы давно махнули ру-

кой на ее поведение и жили каждый сам по себе. Бывали случаи, когда очередной ухажер срывался, и подвыпив и, начав качать права, неожиданно переходил или на крик или даже в рукопашную с кем-нибудь из жильцов. Хозяйке неверной тоже доставалось, но все, правда, скоро заканчивалось, и казалось, что так будет вечно: любвеобильная Жанна беспрестанно менять претендентов на руку и, скорее всего, на жилплощадь, а те иногда выводили из себя всю честную публику обычной ленинградской коммуналки.

Так вот, постарев, эта женщина как-то постепенно стала меняться. Это стало заметно еще в ту пору, когда Петя уже учился в Москве и приезжал в родной город, чтобы повидаться с матерью. Стала она степеннее, перестала так вызывающе краситься, а кавалеры навещали ее все реже и реже. Замуж она так и не вышла, и казалось, что все так и останется: кухня, мужчины, бигуди. Но что-то, видно, совсем изменилось. Начать с того, что ее сын вышел, как говорится, в люди; закончил институт, потом аспирантуру и жил отдельно. Он был такой взрослый уже в детстве, такой самостоятельный и знал все про все, что сомнений не оставалось: парень не пропадет.

И вот на тебе: мало того, что она явилась на похороны, но еще и совершенно в другом облике. Он, надо сказать, ей больше подходил, чем вечная рыжина. Сейчас хоть в пучке проглядывала явная седина, и она, кажется, тоже ей шла. Нет, правда, что ее привело? Да и как она узнала? Сына-то нет, точно, нет, а ее вот что-то привело. И Петр решил: «Жанна Петровна, как поживаете?» — вполне серьезно спросил Петр. Женщина охнула, отпрянула от гроба, затем что-то заставило ее вновь приблизиться, и она едва выдохнула: «Петенька, бедный такой, а еще знаменитый». Да,

довод был убийственный: можно подумать, что знаменитости не помирают! Это она загнула, однако, ничего, даже повеселей стало. Только непроясненным остался вопрос, что ее привело, да и как она узнала про такое событие? Да, и еще: она, что же, из Питера прибыла? Нет, не узнать теперь этого ни за что: с покойником разговаривать никто не хотел.

Так, где же Нина, что там? Не спросишь, не крикнешь, не дашь понять, что все подмечаешь, фиксируешь. Кто ж поверит?! А вот кажется, снова появилась, это уже радует, это дает надежду на благополучный исход. Пусть себе рожает, что уж там? Столько лет их усилия были бесплодными, ну, ничего не получалось. И, в конце концов, так и оставили всякую надежду на продолжение рода, решили жить так, без детей. И вот — на тебе! Как так?

Все же красивая у него жена: столько внутренне-го достоинства, гордости. Эта спина, которая всегда вызывала его восхищение. Редко у женщин бывает такая чудесная спина! На море особенно это бросалось в глаза. Спина, ее осанка вызывали зависть других женщин, как и ее голос, ее взгляд, да мало ли что еще! Хороша, ничего не скажешь! Ниночка, дорогая, неужели я все еще люблю тебя? Только живи, долго и счастливо, и мне уже все равно с кем. Только будь здорова и роди ребенка. Даже не знаю, моего ли, то есть нашего, или чужого, но все равно ведь он твой, правда? Так что рожай, Ниноля, и прости меня, дурака, за все!

Вот ведь сподобился: такая пора, свет, цветение, а тут лежи и ожидай. Чего-чего? — ясно, чего, самого худшего. Это здесь, на свету, еще что-то соображаешь, а что там ожидает, никто не знает. Нет, откуда Аглае знать, кто он и что вообще произошло. Да и по

времени не получается: ей еще быть и быть там. Что же до телефона, то и правильно, что не отключал, пусть думает, что не беру по какой-то причине. Хуже, если бы был отключен, в этом что-то нехорошее, безнадёжное есть. А так — поди знай: не берет и не берет.

И все же хотелось бы увидеть, ну, если не поговорить, то хотя бы посмотреть на нее: что там у нее на уме, как дела, успела ли все в своей Америке? Но нет, действительно, откуда ей знать!

Неужели и впрямь только на пороге самого страшного, уже, можно сказать, беспросветного, приходят ясные, такие стройные, правильные мысли? Как теперь, к примеру. Скажем, люди. Идут и идут. Что для них такой акт? Надобности, потребности душевной или дань приличиям, просто дежурный приход? Видно, оно, конечно, видно, кто с чем пожаловал. Одни, и правда, совершенно особенно себя ведут, видно, что для них это акт доброй воли, что переживают. Но есть и те, кто пришел, скорее, ради любопытства, почтить и т.д. Потом скажут: был, мол, на похоронах такого-то. Странно, зачем им это надо? Сидели бы дома, чем-то полезным занимались, все больше толку. Но, однако, есть и то, что объяснить трудно: зачем, зачем идут? Ходят же по судам некоторые, для них это тоже занятное времяпрепровождение. Может, и похороны сродни?

Что-то становится все грустнее и тревожнее: куда теперь, как и с кем договаривались? Кто Нине-то помогал? Наверное, ее сестра приехала? Точно, эту женщину и призабыл, но это она, кто же еще! Эх, выйти бы сейчас, пробежаться, Нину обнять, зайти в родной подъезд, подняться к себе на третий этаж и — к роялю. Наверное, теперь только и можно начинать осваивать Бетховена. Такое состояние и понимание мира,

что кажется, сейчас — в самый раз! Надо же, что старик сказал — «только не безнадежной». Такое — о музыке! Это дорогого стоит. Стало быть, и музыка тоже сама по себе, без всяких прикрас может давать надежду? Или — не может, раз он так выразился. Вот недавняя поездка. Сколько там было на лицах надежды. Самой разной и о разном, но именно ее. Жаль, с Василием не увидеться, не помочь уже. Так, небось, и решит, что вот она, московская заезжая знаменитость: наобещал и сгинул. То, что сгинул, в этом он не ошибется.

Но поступок, однако! Это вам не фунт изюму! Взял и вонзил! Если он не сгусток чего-то, не эфир какой-нибудь, значит, помер? Иначе как? А может, синхронно? И неизвестно еще, по кому Нина больше убивается. Что, если тот загнулся, и она, даже будучи здесь, все думает именно о том, о другом? Нет, быть не может! Не должно!

Он заметил легкое беспокойство, какое-то движение, которое переросло чуть ли не в потасовку: оказывается, время прощания вышло, а еще несколько человек так рвались в зал, что возник шум. Их не хотели пускать: регламент и все такое, но они были настойчивы и все пытались прорваться вперед. Это разъяснилось позже, когда Петр понял, кто же так рьяно пытался войти в зал. Он чуть было не приподнялся, но вовремя одумался: мало ли с кем могло быть плохо. Лежать — значит, лежать. Все же пустили, надо же! И он смог рассмотреть, кто перед ним. Их было четверо: его старый преподаватель из консерватории, двое сокурсников и еще... С ними была она, Аглая. Не поддавалось никакой логике и разъяснению ее появление. Как, каким образом она узнала? Почему прилетела, как успела? Ничего не понятно!

Все остановились перед изголовьем Петра и всматривались в его лицо. Педагог, Семен Львович не сдержался, плакал и вытирал слезы. Его товарищи, Коля, ставший известным виолончелистом, и скрипач Зема стояли с удивленными лицами, словно пытались проникнуть в скрытый смысл происходящего. Они не могли поверить в случившееся и потому так долго и так не по регламенту стояли возле Петра. Несколько позади их спин находилась она. Видимо, ждала, когда освободиться, совсем станет свободным место подле гроба. Наконец трое медленно отошли, и она встала совсем близко, так близко, что он смог расслышать и ее дыхание, и всхлип, и увидеть, какие у нее удивительные кисти рук: тонкие, бледные, но не болезненные, не хилые. «Какая же она изящная, милая какая! Что теперь будет?» — прикидывал лежащий человек, не особенно задумываясь над тем, что его могут услышать. И он вдруг решился, благо, рядом никого не было. «Милая, какая вы милая, мы еще встретимся, уверяю вас», — прошептал Петр и увидел, как женщина вздрогнула, но не отшатнулась, не вскрикнула, только сильнее сжала букетик, который держала в руках. Потом прямо посмотрела в лицо лежащего и почему-то просто сказала: «Скорей бы! Я столько тебя ждала!»

Отходила она медленно, не спешила. Без суеты и ненужных движений. «Какой она могла быть женой, интересно? Вообще, какая она? Жаль, жаль, что не успел». Петр впервые за время церемонии прощания посокрушался всерьез. Действительно, могло что-то очень хорошее, красивое начаться. Не судьба! Вот уж точно!

Он понял, что сейчас начнется следующий виток процедуры: поток закончился, речи прозвучали, ста-

ли готовиться к выносу и далее... далее кошмар. Как это все пережить? И все ведь соображаешь. Вот что ужасно. Нет, себе лежать и ничего не понимать, а тут — все наоборот.

Когда он по новомодной нынче традиции услышал крики «браво», то понял, что сейчас поедут. Люди кричали это слово так, словно, и правда, были на его концерте. Ах, какой же был этот последний! Проник, понял он все же своего Баха! Как иначе? И вот, только собрался знакомиться с «небезнадежной» музыкой великана Бетховена, и — кранты! Все кончилось.

Но неожиданно в его дремлющий ум влетела мысль: а что, если все это пройдет, ну, в смысле, все неправда и все вернется? Жизнь? Жизнь вернется? Но как же так: он шел на последний свой шаг, на этот поступок совершенно сознательно, понимая, что будет, что его ожидает. Ему просто необходимо было избавиться от заразы, что столько времени торчала в нем самом, в его доме, захватила жену, использовала рояль и вторгалась в мысли — повсюду! Всюду был он, и это требовало, наконец, решительных действий. И он их совершил. Оставалось одно: покориться, смириться и ждать. Переходить в другое измерение, испытывать другие ощущения. Хотя, о чем это он, какие ощущения? С ними покончено. Останется нечто такое, чему нет названия, что не прописано, о чем не сказано и что просто является запредельным для понимания. И нечего туда проникать. Всякому месту свое назначение и свое истолкование. Будет же место, это уж точно, а вот что до интерпретаций — нет, вряд ли. Покой, вечный, тотальный, который в жизни совершенно недостижим. Его поджидают, бранятся, что его нет, сокрушаются, что его никак не дождаться, и вот, когда он приходит, смириться невозможно. Что-то

внутри бунтует, и кажется, что все это так, временно, что все решительно обернется прежним, этим непостижимым не покоем, от которого при жизни бежишь, а в преддверии небытия бунтуешь, протестуешь — словом, не желаешь.

Видеть он ничего не видел из своего заточения, зато хорошо слышал привычный гул улиц, бегущего народа, невнятной речи. И все больше и четче доставала мысль: еще немного — и все закончится. Неужели то, чем он жил, чему посвятил свою жизнь, разом закончено? Так быстро? Интересно, каждому приходит такая мысль — что так быстро? Говорят, что даже в заключении те, которые пожизненно осуждены, только болтают, что живут в нечеловеческих условиях, но никто добровольно не отдает даже такой жизни. Ждут, надеются — а что, если это не финал, что будет продолжение? Ну, хоть какое-то!

А тут берешь, вонзаешь в мерзавца нож, и все — продолжения не будет. Жаль музыку. Жаль, что она будет жить, творить свои ритмы и согласования с небесами, природой, но... без него. Что она будет жить, существовать, звучать, но он ее уже никогда не услышит. Жаль. Жаль, что скверно поступал с Ниной, что напрочь забыл о ней и занят был только собой. Жаль, что это осознание тоже приходит слишком запоздало, когда уже нет никакой реальной возможности что-то переменить.

Он почему-то припомнил рассказ О'Генри, где сожаление выступает чуть ли не в качестве главного обстоятельства. Так, герой сожалеет, что жена ушла и осталась только кофточка на спинке стула. Это был ее протест против его бесконечных встреч с друзьями и игры в карты. Он так сожалеет, так страдает, что его становится очень жаль. Однако...однако прохо-

дит непродолжительное время, жена возвращается, герой ликует и... уходит играть в карты.

Неужели и он, вернись сейчас жизнь, так же продолжал бы тиранить Нину, игнорировать ее жизнь вместе с пением и прочими ее личными проявлениями и пристрастиями? Неужели все так по-прежнему и катилось бы?

Он отвлекся от своих размышлений лишь в тот момент, когда услышал странный, очень не музыкальный стук и понял, что он означает: это были последние звуки, связанные с человеческой деятельностью. Словом, забивали. Послышались всхлипывания, голоса, которые скоро уступили место иным звукам, столь же не музыкальным, похожим на шлепанье дождя по крыше. Но это был не дождь, это комья земли стучали о крышку. Все. Вскоре все закончилось, и Петр остался один, ну, совершенно один. И понимать это следовало только так — началось его абсолютное одиночество. Оно могло продолжаться годы и столетия, и никто никогда не смог бы нарушить его принадлежность себе, земле, редким звукам и верность, еще сохраняющуюся верность любимой, немеркнувшей музыке, что всегда будет звучать в нем.

— Ну вот, а я что говорила? Это ж надо! А мне и не верили! А он взял — и все! Как дела, дорогой вы наш?

В большой комнате, которая хотя и была красиво прибранной и в которой висела даже картина, являлась, тем не менее, больничной палатой, лежал человек. Был он очень худ, лицо — почти пергаментное, руки тоже светились, но взгляд, который слегка поблуждал, словно в поисках чего-то, наконец, остановился, и было ясно, что человек смотрит осмысленно

и понимает, где он. Ну, не совсем, может быть, не все, конечно, но основное до него доходит. Например, то, хотя бы, что он не дома и что вокруг чужая обстановка, а люди — тем более все больше незнакомые. Но было в нем, однако, такое неподдельное достоинство и такая светлость во взоре, что становилось понятно: не из простых. Что-то такое понимает, что не каждому дано, не всякому отпущено и не для обычной жизни он пришел. Для чего-то такого особенного, что и осилить это невозможно.

Вот и медсестра Алиса, что чаще других оставалась в отделении и больше других сестер возилась с этим пациентом и ожидала острее, быть может, возвращения его из небытия, где все предметы мира были для него скомканы и поранены и где его осколочное сознание никак не пробуждалось. И только одна надежда питала душу и ум тех, кто приходил, навещался и верил в возможность возвращения в реальный мир этого больного, она первая и увидела, как человек проснулся, открыл глаза и стал медленно и без всяких вопросов осматриваться и пытаться оценить то новое, где он оказался.

— Ну, как вы, как? Залежались? Это понятно. Ну, ничего, сейчас доктор подойдет.

На этих словах она вышла, а лежащий человек все всматривался куда-то, в только ему одному понятное пространство. Он увидел тумбочку, на которой лежали яблоки и апельсин зачем-то, затем холодильник, умывальник рядышком, потом — и это было самое замечательное — окно. Оно было большим, прозрачным, без всяких занавесок. Сквозь него проглядывало солнце, и было странно видеть, что весь мир еще стоит, да неплохо стоит, что солнце светит, а следовательно, все атрибуты этого живого мира в на-

личии и остается только понять, как к ним относиться и что вообще делать.

Ну, а что можно было делать, если слабость, которая стала ощущаться во всем теле, была такой могучей, что ее и слабостью-то назвать было неправильно. Слабость накрыла человека так, что он с трудом приподнял кисть одной руки, посмотрел на нее, словно пытался что-то вспомнить, и опустил ее снова. Мыслей пока не было, и только роились отдельные всполохи, обрывки чего-тотакоего, что, вероятно, когда-то имело к человеку отношение. Но он не стал сосредоточиваться на этих фрагментах, которые услужливо подносило проснувшееся сознание, а спокойно и почти торжественно отдавался во власть того огромного желтого круга, который пылал за окном. «Надо же, какое огромное солнце!» — удивился человек, словно впервые вообще увидел так близко этот объект природы.

Подошедший мужчина был очень высокого роста, не брит, голос имел совершенно охрипший, но при этом был очень доброжелателен и учтив. Даже не похоже на доктора.

— Пульс? Ну что же, очень неплохой у нас пульс. Давайте я вас послушаю. Так, ничего, ничего. А как настроение? — он, собственно, и не ожидал услышать ответ, это был так, некий проверочный тест на возможность и готовность контакта больного, не более. — Вижу, что вы видите. Вижу, что понимаете, оцениваете. Будем, стало быть, двигаться постепенно. Дальше, я имею в виду. Я еще зайду, да и не раз, — улыбнулся он.

Было принесено какое-то подобие еды, и его стали из ложечки кормить. Дали очень немного. Он почувствовал, что хочет пить, и сказал одно слово:

«Пить». И это ему было дано. Потом подключили капельницу, и он снова провалился в привычный мир странных образов, которые иногда развивались очень обстоятельно, длинно, с подробностями, из чего складывалась пространный картина чего-то непонятного и фантастического. Были ли эти обрывочные видения, образы чего-то, что имело отношение к прошлой, здоровой еще жизни, или касалось только конкретного болезненного состояния, сказать было трудно. Но главное, что они были, а, значит, способность что-то воспринимать и чувствовать еще сохранялась.

Он услышал, как в коридоре эта сестра стала причитать, плакать, говорить довольно громко о том, что вот, наконец, свершилось и что она всегда в это верила. Гул голосов говорил о том, что с ней стояли люди, скорей всего, спрашивали ее о том, что же произошло, и он разобрал только одну фразу: «Будет, будет жить!» Он посмотрел вокруг, но, кроме него, в большой комнате никого больше не было, и он понял, что речь шла о нем. Стало быть, как, он будет жить? Наверное. Что этому предшествовало, трудно было и сказать, и вспомнить. Помнил он только то, что беспрестанно шли какие-то люди, среди которых попадались и знакомые, и что его все везли и везли куда-то. Ну, а потом вообще все пропало, не было больше ничего!

Он задремал, и тут же услужливая память преподнесла картинку: он, еще совсем мальчишка, идет с портфельчиком по улице. Идет, судя по всему, в школу. И останавливается на звук, именно он привлек его. Он прислушивается, понимает, что это всего лишь птичка, но что поет она нечто необыкновенное. И он начинает вслед за ней отбивать некий ритм, где согласуются тоны, ритмы, сама мелодия с чем-то таким,

что имеет отношение не только к музыке, но и к тому, что вокруг, что касается самой жизни. Он вслушивается и понимает, что природа и есть сама жизнь и что само слово «жизнь» как раз и состоит из чего-то очень природного, что оно отражает эту природу и делит ее на правду и выдумку.

Ну, например, на то, что есть на самом деле, как вот эта самая птичка, и на то, что только чудится, представляется, что притаилось так глубоко и так въедливо, что кажется, оно и есть самое что ни на есть, настоящее. Вот, например, эти звуки. Поет всего лишь птичка, а впечатление такое, что сама природа с ее утром и светом, со всеми иными звуками только что проснулась и стремится всем и всему сказать «здравствуйте». А, правда, может так быть, чтобы жизнь равнялась природе, а природа пропевала такие звуки, как эта самая птичка? «Может, может», — пело сердце мальчика, и он уже бегом, в счастливом понимании чего-то важного, открытия, которое сделал неожиданно и весело, бежал в свою школу. «Может!» — он точно теперь знал, что на свете существуют такие крошечные, совсем незначительные вещи, которые помогают всему: видеть и слышать мир, открывать звуки, смотреть на небо и знать, что именно там происходит какое-то непостижимое согласование их, этих звуков. И именно оно позволяет говорить, что да, музыка есть и ее надо только уметь и хотеть слышать.

Может быть, в тот, а может, в другой день он играл так, что его учительница посмотрела на него очень внимательно и сказала: «Да, мой дорогой, только не утрать эти способности. И тогда все состоится». Что могло состояться, мальчишка еще не очень понимал, но верил, бесконечно верил своей Алле Егоровне. Она всегда угадывала и его настроение, и даже желания.

Она словно поднимала, едва прикасаясь, то мечту, то намерение и никогда не ошибалась. То ли с души, то ли с его мальчишеского пока прозрения. Он порой видел в нотах не одни только знаки, которые оживали и обретали стройность и наполненность звучания. Но их долгота, певучесть, стройность поддавались ему настолько, что становилось очевидным: ему дано узнать и понять в музыке нечто такое, что навсегда соединит его с каким-то иным миром, открывается который не каждому. Материализованность звуков была сродни чему-то фантастическому. Крючочки, маленькие цифры вдруг оживали и наполняли собой пространство. И это мог сделать он, совсем мальчишка, который заставлял эти обозначения делать говорящими и составляющими гармоническое единство. То есть, музыка оживала именно благодаря ему, который листал листочки, вглядывался в ноты, и они становились чем-то иным, вызывая беспокойство, волнение, совсем разные чувства, которые очень часто имели отношение к печали и грусти.

В коридоре постепенно успокаивались, и он снова нырнул в свое детство. Именно оно, проходящее в коммунальной квартире, со всеми вытекающими последствиями, вечными очередями в туалет, неуютностью кухонной жизни, все же было самым сладким воспоминанием. В какой-то год, когда ему исполнилось четырнадцать и уже всюду шло разучивание произведений в музыкалке, они с мамой отправились в таинственный — так ему казалось — город Ригу. Все, что было связано с Прибалтикой, вообще вызывало трепет и носило печать некой таинственности. Одно государство, а все же что-то отделенное и другое в этом было. Пока он не понимал, что именно, но чувствовал, что это так. Мама говорила, что они непре-

менно пойдут в Домский собор послушать орган. Это тоже вызывало чувство замороженного ожидания и все того же трепета. Почему-то он особенно хотел попасть именно в этот город, хотя были и не менее загадочные Таллин и Вильнюс. Из Вильнюса, говорила мама, был его дед. Служил там кем-то по судебному ведомству. И город в те времена назывался Вильно. Но они были там с мамой, когда ему исполнилось всего пять лет, и он мало что запомнил. Только необыкновенную тишину улиц, пожалуй. А до Риги тогда не доехали, и он видел многочисленные фотографии ратуши, самого собора, домов и улиц. Почему-то и его мама тоже была очарована этим краем, и оба ожидали поездки с особым чувством.

И тогда, в свои четырнадцать лет, он навсегда запомнил очень красивую женщину в зеленом платье, которая осторожно садилась на стульчик спиной к залу и бережно, склоняясь вперед и в то же время оставляя ровной спину, начинала перебирать чем-то, чего в ту пору он еще не знал. Но было замечательно. Такая струилась мелодия, которую он до той поры никогда не слышал. Была в ней все та же грусть, даже скорбь. Но жить очень хотелось, и она, эта музыка, не казалась безнадежной. Он это понял уже тогда. И то, что спустя многие годы жизнь по какому-то тоже загадочному кругу привела его к той же музыке, величественной и торжественной, уже не казалось странностью. Так, вероятно, надо было. И чему-то, что никак не хотело формулироваться, и ему самому, чтобы что-то важное и значительное понял, да и просто, наверное, пришло время.

Он лежал с закрытыми глазами, и ему казалось, что все, что он в жизни делал, было только началом. Но вот только чего — он не мог понять. Все события,

поступки, любовь, продвижение, успех, неприятие совсем немногих людей — все это только предварило что-то очень важное, что должно было вот-вот начаться. А может, уже и началось, только он пока этого не сознавал.

Клонило в сон, из которого он выбирался медленно, но все же выбирался, и самые дорогие впечатления, укоренившиеся в его памяти, по-прежнему были связаны с детством. Он даже подумал, что еще не любил, что времени на это попросту не хватило, а то, что и было, было некоей прелюдией, завязью чего-то главного и тоже таинственного. Как далекий детский город Таллин или еще что-то, что только произносилось, но что имело к реальности весьма отдаленное отношение.

По какой-то особой тишине, которая вдруг окутала помещение, где он находился, он понял, что настал вечер и что скоро придет его любимая пора — ночь. Именно ее наступлению он был всегда благодарен: тогда рождалось нечто такое, что потом выливалось в точный тон, ритм, согласование частей и приводило к единству и целостности.

Еще не открывая глаз, он почувствовал прикосновение и все никак не хотел увидеть, кто его тронул. Так и лежал и все думал, кто это мог быть. Но это только казалось, что время почти остановилось и никак не сдвинется с места. На самом деле прошло всего несколько секунд. Но понять это пока было сложно.

Он открыл, наконец, глаза и увидел перед собой женщину. Надо было признаться, что она уже появлялась в его жизни, только он силился понять, вспомнить, когда это было и при каких обстоятельствах. Но она словно услышала его размышление, поняла неуверенность и спросила:



— Знаете, сегодня семнадцатое число, день просто замечательный. Вы любите позднюю весну? Мне она очень нравится.

Он не собирался ничего отвечать, так как важнее все же было это воспоминание: кто она и что здесь делает? И снова она уловила это и снова заговорила:

— Я все думала, когда же вы, наконец, проснетесь? Нельзя же, в самом деле, так лениться! И вот — свершилось.

Она так странно говорила, и голос ее тоже что-то напоминал. Но вот только что именно? А руку она, однако, уже убрала, и он силился вспомнить, что ей помешало оставить ее. Может быть, они были незнакомы? Или того хуже — не были друзьями? Но нет, он подумал, что за всю жизнь врагов-то набралось... нет, он не вспомнил, разве только кривые взгляды, естественное человеческое неприятие, не больше. Но что-бы врагов — нет, пожалуй, не было.

— Вы кто? — спросил он.

— Я? — женщина засмеялась, и он вспомнил этот смех. Вспомнил, что он его уже слышал, и что он очень был и тогда приятен ему. — Я — та, которая совсем немного и недолго знала вас. Почему-то не хочется называть себя по имени. Надеюсь, оно само всплывет в вашей памяти, — она поднялась при этом и вышла зачем-то. А он остался лежать и думать, что происходит и почему временами врывается удивительная мелодия, которая тоже напоминает что-то до боли знакомое, но все никак не сложится в музыку, ту, которую он знал. Единственную свою опору и печаль одновременно. Она начинала оживать, и это было очень важно.

— Я, кажется, что-то припоминаю. Но мне не хочется ничего торопить.

— Вот и не надо, — отозвалась женщина и снова засмеялась.

«Отчего это ей так весело?» — подумал мужчина, а сам снова огляделся, словно ища доказательства своей мысли: действительно, что-то совсем безрадостное и невеселое окружало его. Сплошные аппараты, шнуры, провода, приборы, еще кровать и столик. Красиво одетых людей не было совсем, и только один белый цвет поглощал другие цвета вокруг. Хотя нет, эта женщина была очень хороша, и из-под халата проглядывало платье с цветами, которое снова погрузило его в далекие воспоминания детства: он откликнулся на них, представив свою маму именно в таком платье или похожем. Точно, у его мамы было почти такое же. А, может, это она пришла? Да нет, не может быть, мамы нет уже семь лет, это невозможно. Он даже дернулся, сделал движение, чтобы приподняться, и почему-то отбыл немедленно в какую-то иную реальность, из которой стал снова слышать голоса, и нервное хождение людей, и какие-то их действия.

Но прекрасная теплая пора была заодно с ним, она словно боролась за его выздоровление.

И сквозь эти действия и слова каких-то людей, знакомых и незнакомых, он вдруг расслышал одно, которое вывело его напрямик к самому себе. Не в какую-то там реальность, а именно к самому себе. Он стал слышать, различать голоса, их интонацию, тембр, даже скорость и ритм речи.

— Я все думаю, как странно: вот есть люди, довольно высокие и, как правило, с маленькими головами. Так вот у них непременно голос всегда высокий. Есть, конечно, есть исключения. Например, наш знаменитый Алексей Петренко. И высокий, и могучий, и голос под стать. А вот коренастые и невысокие, с кри-

выми ногами даже, голос имеют чуть-чуть с фальцетом, но низы есть, и если голос развивать, работать над ним, то у их обладателей он станет густым и слегка баритональным. Не певческий, а обычный, речевой. Вы как, слышите? Не утомила вас?

Он открыл глаза, посмотрел в ее сторону и улыбнулся: какая же она все же смешная! Но говорит правильные вещи, наверное, что-то такое понимает о голосе, особенное такое. И вдруг он вспомнил! Как же так, он точно помнил, что именно эта женщина говорила ему о том, что поет. Может, раньше пела? Вот это он забыл.

— А вы что же, поете? — Услышал он сам себя и подумал, что его-то голос звучит как раз мерзопакостно: еле слышно и надтреснуто. Слабый такой голос, уж точно без всяких там баритональных окрасов.

— Ну да, я говорила. Это хорошо, что вы запомнили. Я так долго училась, что однажды подумала, что, наверное, уже все так и останется: только класс, только репетиция и все. Но однажды, когда я была на третьем курсе консерватории, меня почему-то пригласили выступить. И не куда-нибудь, а этой же консерватории в малом зале. Двух человек с курса позвали, меня и еще одного мальчика. То есть, парня. У него как раз и был баритон. И фигура у него была необычная: не просто крупная, но прямо огромная какая-то. Стал потом прекрасным певцом и уехал за границу. А я вот осталась. Вы не устали? — спросила она через паузу. Она сидела рядом на стульчике у его кровати и время от времени перебирала край легкого одеяла. Оно лежало в сторонке, в палате было довольно тепло, и вот этот уголок она все крутила. Что, нервничала что ли?

— А сейчас?

— Что, в смысле пою? Конечно! Вот поправитесь, на концерт приглашу. Придете?

— Я-то? — он усмехнулся, вдруг отчетливо представив себя сидящим где-нибудь в партере и слушающим музыку. Это и вправду было заманчиво. — Приду, куда же я денусь? — ответил он, а сам попытался вспомнить, где это он мог слышать этот удивительный голос. И накатило, вспомнил! В каком-то помещении, где было отчего-то много посуды и где был инструмент и еще цветы. Но что это было за помещение?

— А может быть, вы хотите чаю? — спросила она так просто, словно они сидели где-нибудь на веранде и до чая было рукой подать.

Нет, чая он точно не хотел, а хотел лишь одного: припомнить все-все, включая все детали, все тонкости прошедших дней, лет, все оттенки смыслов в разговорах, которые когда-либо вел. Он так хотел как можно скорее приобщиться к жизни, что не выдержал и снова сделал то же движение рукой. Оно выражало только одно: нетерпение. И почему-то захотелось остаться одному. Она, словно почувствовав это, поднялась, махнула слегка рукой и вышла.

Та пора, которую он учуял, понял, что она помощница, что с ним заодно, все больше и больше входила во вкус. В какой-то момент он даже подумал, что неплохо было бы искупаться, поплавать. И даже сделал движение рукой, словно он и правда, поплыл. Но эти заплывы памяти случались еще какое-то время, однако, становилось постепенно понятно, что она поддается, эта память, и никак не может поступить с ним скверно. Нет, точно, она не оставит его, это ясно.

В этом убеждал его и доктор, в день не раз заходивший к нему. Доктора звали Антоном Ивановичем,

это мужчина уже смог запомнить. В каждый приход он все больше раздвигал границы и позволял своему пациенту пройтись, прогуляться за пределы узкого, не очень приятного пространства. То он предлагал тему, которая занимала лежащего человека, то изобретательно заводил разговор о чем-то таком, что, так или иначе, задевало мужчину.

Однажды он вошел в палату и не увидел на привычном месте своего пациента. Действительно, тот стоял у окна и смотрел вперед, глубоко задумавшись. Доктор тихо подошел, встал рядом, ничего не говоря. Однако его больной все же услышал его и, не повернувшись, заметил:

— Всё в согласии: день, его ритмы, слитность с природой и еще кое-что.

— Что же? — отозвался врач.

— Первое прикосновение, погруженность в любовь — все это, наверное, и есть вечность, то, ради чего стоит просыпаться, выходить из сложных состояний, да и просто жить. Ради памяти, например. Вы не находите?

— Ну, отчего же! Очень даже нахожу,— очень осторожно ответил доктор, так как все еще беспокоился за своего пациента, поднявшегося слишком рано. Но он не стал пенять ему на это, а просто стоял рядом и вслушивался в слова мужчины.

— Я всегда любил стоять у окна. И дома, и вот, не выдержал и здесь. Не волнуйтесь, дорогой доктор, — сказал мужчина иронично, — я не подведу вас. У вас какие на меня виды? Ну, в смысле скорости лечения и приведения меня в чувство? Обещаю опередить все ваши планы.

— Да это — пожалуйста, кто же против?! Только не так поспешно, может быть.

— Я умею слушать себя. Впрочем, как и вообще слышать.

— Это я уже понял. И действительно полагал, что процесс может затянуться. И вот еще что. Обычно больные на что-то жалуются, чего-то желают, хотят, просят. А вы, я смотрю, не выражаете никаких пожеланий. С чем это связано?

— А-а, вот вы о чем! Мне, и правда, пока ничего не надо. Все есть, вы видите, приходят друзья, что-то приносят. Да и у вас вполне сносно кормят. Меня, знаете ли, все это мало волнует.

— А что же волнует? И волнует ли?

— Да, есть что-то. Не знаю, как вам это сказать.

— Идемте, присядем, и вы все расскажете.

Они медленно подошли к краю постели, и больной опустился на кровать, потом и лег. Еще не так он был силен и понимал это.

— Во мне что-то звучит, причем не каждую минуту, понятное дело. Но звучит что-то совершенно необычное, новое. К чему я, наверное, еще не готов.

— Но это может быть под действием лекарств, слабости, вы еще не вполне восстановились.

— Нет-нет, это совсем не галлюцинации, успокойтесь, дорогой доктор.

— А на что же эти звуки похожи? Вам они прежде слышались?

— В том-то и дело, что звуки вообще — часть моей жизни. Но вот уже несколько дней, как звучит не мелодия, не сочетание ритмически оформленных звуков, не что-то знакомое, а, пожалуй, какая-то незнакомая окраска. Окраска музыкальная, конечно. Может, это сам мир, наконец, откликнулся и стал настойчиво возвращать меня к каким-то делам, какому-то осмыслению, другому своему звучанию? У вас по-

добное в практике было? Но чтобы не галлюцинации, а вполне осознанные, оформленные, непостижимо прекрасные звуки.

— Мне кажется, я начинаю понимать, в чем дело. Вы правы, пора быстрее и интенсивнее возвращаться в строй.

— Так что мешает? Вы, говорите, поняли?

— Это так расстается с вами ваша боль, ваши утраты, ваша печаль, в конце концов. Вы же профессионал, не какой-то там ремесленник. Вас зовут, вот что важно.

— Неужели до такой степени я отдан своему ремеслу, что даже в тяжелой болезни нет от него спасу? — человек засмеялся, и было件нятно, что ему приятно такое понимание и такая интерпретация происходящего с ним.

— Скажу вам, даже засмеетесь. Разные люди, разные профессии. Лежала однажды балерина, известная, надо сказать, так она, возвращаясь, как и вы, к жизни, не просто делала какие-то движения — это-то как раз件нятно, нет, она просила включать музыку и помогать ей двигаться с нею в такт. Вообще была очень требовательная. Но ее понимали. Заметили, у нас все стремятся к пониманию, в особенности, когда такие личности оказываются в сложном положении.

— Музыка... Не знаю, все может быть.

— Я еще зайду к вам, а пока отдыхайте, — сказал, поднимаясь, доктор. — Потом расскажете, на что еще похожи эти звуки. Запоминайте, фиксируйте, так все активнее будет пробуждаться ваша память, и вы быстрее поправитесь. Договорились?

«Сколько же еще должно пройти времени? Сколько и какие испытания придется проходить? Или в этом и состоит смысл, еще что-то, что имеет отношение к

реальности?» Хотелось найти ответы на многие и многие вопросы, которые до того, в другой, прошлой жизни, занимали не так и были не так остры и неотвратимы. И правда ли, что болезнь не приходит просто так, что она всегда — плата за что-то или предупреждение? И что произошло на самом деле, а не в том искаженном зеркале, где время от времени возникали отрывочные образы, действия и — мотивы? Все ли было так, как видит собственное воображение и подсказывает память? Может, это тоже сродни неким звукам, так по-свойски навещающим его воображение?

Он посмотрел на свои руки и удивился: они не только совершали какие-то движения, но явно добивались какого-то нужного результата. Он все возвращался и возвращался к движению, которое обозначало какой-то осмысленный повтор, и странное дело: именно оно, это движение двух рук, согласованное и гармоничное, было связано с теми звуками, которые все интенсивнее одолевали его память, воображение. И, наконец, случилось то, чего он не ожидал: он явно вспомнил, что именно эти звуки и согласованные движения рук связаны со всей его жизнью, что только и это составляло ее главный смысл. Он закрыл глаза и тут же услышал те звуки, которые еще недавно беспокоили и томили его. Нет, теперь они внятно и спокойно ложились на его воспоминания и означали лишь одно: требовался выход, которого явно не было в этом скупом помещении. Требовался большой черный предмет, который тоже мгновенно всплыл и ожил в его сознании, и он уже не сопротивлялся обрушившимся на него звукам. Они с неистовой силой, сокрушая звон каких-то склянок, которые позвякивали рядом, овладели им, и он поднялся быстро и уверенно и вышел в коридор, чтобы поскорей удосто-

вериться: этот черный огромный предмет, который был дороже всего, должен был где-то здесь находиться. Иначе все бессмысленно! Но где, где он может стоять? Где искать его? Он шел и шел по коридорам, не заглядывая ни в какие двери, и только у одной остановился, помедлил и резко рванул ручку. Точно: он увидел именно то, чего и ожидал! Это стоял огромный, черный, с педалями и великолепной крышкой РОЯЛЬ! Точно, он знал, он точно знал, что непременно увидит его. И это случилось!

Он подошел, погладил крышку, заглянул вниз, убедился, что все в порядке, и, наконец, сел на стульчик, стоящий рядом. Волнение зашкаливало, руки, которые лежали по-прежнему на крышке, были влажными. И тут что-то произошло. Скрипнула дверь, ему показалось, что он услышал чьи-то шаги, но не стал оглядываться, а уверенно откинул крышку и прикоснулся к клавишам. Какие же они были прохладные, как легко поддались его прикосновению, как согласно и послушно откликнулись, издав первый, но такой пронзительный звук!

И тут он вспомнил все! И то, как снова в его квартире оказался мерзкий злодей, уведший его жену, как он хладнокровно взял нож и как потом столь же уверенно и бесстрастно вонзил его в мужчину, звали которого так странно, что и произносить его имя не хотелось. Он все, все вспомнил! Но одно никак не получалось, никак не согласовывалось ни с его нынешним положением, ни с тем отношением медперсонала, которое было весьма уважительным и доброжелательным. Как такое могло случиться, ведь он же убийца!

— Петр Теодорович, Петр, Петр, вы меня слышите? Очнитесь, прошу вас! Как голова, кружится? —

вошедший доктор, не увидевший на месте своего пациента, пошел, обеспокоенный, по пути, которым проходил больной, и нашел-таки его в том самом месте, куда, по его предположению, только и мог направиться его подопечный. — Лучше? Сейчас вас отвезут, — он стал звонить по мобильному и просить быстрой помощи, каталку, медсестру.

— Не надо. Я сам. Я просто не ожидал, — сказал возвращающийся в реальность Петр Венцлов и все никак не мог поверить, что это и вправду он. Он, сидящий рядом с инструментом, который уже и не чаял увидеть. Силы оставили его, столь велико было потрясение. Но он все же взял себя в руки и пытался даже отшутиться. — Думал, вот, пришло время, пора за работу.

— Нет, рановато, дорогой Петр Теодорович. Еще чуть-чуть осталось. Вы все правильно сделали, так, наверное, и стоило поступить. Но теперь вы знаете все, доберемся до палаты и станем понемногу восстанавливаться. Все для этого есть. Да и вы созрели, — добавил доктор, помогая мужчине подняться и выйти из зала.

Уже в палате, когда все понемногу успокоились, Петр Венцлов спросил:

— Не могу понять. Все жду. А никто почему-то не приходит.

— Что вас беспокоит, чего не можете понять?

— Ну как же! — воскликнул мужчина. — Я же преступил, вы, надеюсь, в курсе. Почему ко мне не идет следователь, ни о чем не спрашивает?

Антон Иванович усмехнулся и даже поднялся, словно решал, можно ли рассказать все, как было, или еще помедлить.

— Так вот о чем вы так беспокоитесь? А я все си-

люсь понять и не могу. Разочарую: не придет следовательно.

— Это почему?

— Ну что вы, какой следовательно, зачем он вам нужен?

— Но разве вы не знаете? Я же... — больной запнулся, подбирая слова, но и так было понятно, о чем он хочет сказать. Именно этот страх и волнение, связанные с его поступком, он, находясь в бреду, до того, как впасть в кому, не раз сбивчиво, но все же обнаруживал. И у врачей имелась версия о том, что же произошло на самом деле, а что представлялось пациенту. — Я все вспомнил, я знаю. Скажите, он жив?

— Успокойтесь. Все не так, даже совсем не так. Вы в последнее время, до того, как попасть к нам, много работали, пережили стресс, волновались и за жену, и за свою работу. И находясь в сильнейшем душевном волнении действительно подумали, да и были готовы к поступку. Но не совершили его. Это готовность — да, и вам показалось, что вы нанесли-таки тот удар. Однако события развивались иначе.

— То есть, как не совершал? Как не наносил? Я отчетливо помню, как взял нож. Как этот тип находился в комнате и что произошло далее. Я помню! — снова воскликнул он, впадая в то сложное состояние, которое уже не раз отмечали медики. — Не может быть!

— Представьте, может! Такое порой вытворяет наше воображение, что психика податливо реагирует на вспышки ярости, готовности что-то ужасное совершить. Но совершается все в нашем воображении, не более того. Потом было страшно, это да.

— А что же было? Да, и где мои-то раны? Их что, тоже нет?— задавал вопросы пациент.

— Нет, и их тоже нет. Все это штучки нашего воображения. Вы действительно готовы были к такому повороту событий, но их не было. Сильнейший аффект. Ну, сердечный приступ, далее, нет, скорее предшествовала ему некая аберрация сознания. Словом, все вместе. Но, как видите, выкарабкиваетесь, немного осталось.

— Это что же, инфаркт?

— Никакого инфаркта не было, уверяю вас. Но есть вещи не менее опасные. Например, то искажение сознания, о котором я сказал. Еще кое-что. Но обычно сильные люди восстанавливаются. И спасает, знаете что?

— Говорите, я, кажется, догадываюсь.

— Да, вот именно. Не только работа или любовь, или другая мощная созидательная идея. Жизненная, мобилизующая. Спасает сама мысль, что выкарабкался и что осталось дело за малым...

— Так я выкарабкался или еще в пути?

— Считайте, что все страшное позади. Вы в памяти, адекватны, хорошо, замечу, выглядите. Да и сегодняшний день тому подтверждение. Вам же захотелось что-то такое преодолеть, что очень мешало восстановить все до конца, до самого последнего виточка вашей памяти. Вы и отправились искать зал. И не ошиблись, нашли-таки. А там и он, самый главный объект для вас.

— Рояль?

— Ну конечно, что же еще! — обрадованно заключил доктор. — А теперь все, на сегодня, я имею в виду. Успокаивайтесь и отдыхайте.

— Вот оно, значит, что. Я и не знал. Выходит, и все люди, эти бесконечные их цепочки, что, и они тоже — аберрация?

— В какой-то мере — да. Ешьте фрукты. Я пошел. Завтра увидимся. И больше — никаких прогулок по нашим коридорам. Идет?

— Слушаюсь, — улыбнулся пациент и впервые за долгое время вполне удовлетворенный откинулся на подушки.

Ну что это была за пора! Мало того, что любимое его время года, когда свежесть зелени так благоухает, так заманчиво улыбается, стремясь попасть в открытые окна, так еще и все вокруг словно пытается подстелить что-то мягкое и уютное. Точно, все наладится, он уже осознанно это понимал, ощущал, верил в это! Ничего, что любимый им май уже почти заканчивался. Было еще прохладно, и он очень надеялся, что такая свежесть и податливость зелени еще продержится, еще подождет его. И он сможет увидеть, потрогать ветки, постоять под деревьями, закинув голову и не думая ни о чем. Да и что такое можно теперь думать? Все, кончились потемки, осталось пробиться к самому заветному, обрести силы и начать постигать этого мудреца с огромной курчавой головой, который никак не желал видеть и слышать в музыке безнадежность. В его, Петра Венцлова, стало быть, музыке тоже!

И вот настал день, когда можно было выйти на улицу. Улицей был внутрибольничный двор, зеленый, весь пахнувший цветущими деревьями и просто чем-то хорошим. Пришла пора, когда Петру жизнь начала представлять не в серо-мрачной гамме, но в разных теплых оттенках. И этому способствовало и возвращающееся здоровье, и осмысление многих жизненных позиций. То, что прежде, еще совсем недавно казалось едва ли не трагическим, теперь оборачива-

лось совсем другой стороной, где присутствовали ирония и самоирония. Те его поиски, очень тщательные и настырные подчас, смыслов, целей, идеологии и сверхзадачи, теперь словно поворачивались на какой-то едва заметной тоненькой ножке. И свет, спокойный и глубокий, проникал повсюду, насыщая собой и это больничное пространство, раздвигая его, делая насыщенным и не таким узким; и прежние устремления начинали приобретать новые ракурсы. Он часто думал о Нине и не находил объяснения, отчего она не приходит. А спрашивать не хотел, считал, что проявит таким образом слабость. Так и жил, думая о ней и не спрашивая.

Совсем неожиданно пришел старый приятель, сказал, что встретил его жену в каком-то социальном учреждении. И на вопрос Петра, что с ней, очень удивился и даже не нашелся, что ответить. Из этого следовало, что Нина уже не беременна, что событие состоялось, но только как, Петр не знал.

— Она была одна? — не бросал тему Петр.

— А с кем же? Конечно, одна. Я думал, ты сам знаешь, где и зачем она была.

— Нет, я не знаю, — прямо ответил Петр.

— Она что же, не сказала?

— Ну, в самом деле, почему она должна была говорить о таких делах? Забыла или еще что-то, — пытался защитить бывшую супругу Петр, — а как она тебе показалась?

Стало понятно, что вопрос требует ответа и что пациент клиники действительно не в курсе, что с его женой.

— Если хочешь, я все узнаю, — стал, наконец, понимать ситуацию его знакомый. — Мне есть у кого спросить.

Это уже меняло дело, и Петру было совершенно все равно, что о нем подумают. Так или иначе, все скоро всё равно всё узнают.

— Знаешь, я не вижу ее. И потому ничего не могу знать. Она ожидала ребенка. И родился ли он?

— Это что, твой ребенок?

— Не знаю, — откровенно ответил Петр, — я же говорю, что ничего не знаю.

— Ну, а она в курсе, где ты? — спросил приятель.

— И это тоже мне не известно.

Однако его знакомому не удалось рассказать обо всем: Петр сам совершенно случайно, как это и бывает обычно, узнал о Нине. Пришел Антон Иванович, послушал, пораспрашивал, а потом и сказал:

— Вы не задавали вопросов. А иногда это следует делать. Мы знаем, что было одной из причин вашего тяжелого душевного состояния. Ваша жена — в том числе. Не так ли? Можете не отвечать. Так вот, она звонила, звонила сюда, спрашивала. Она просто ничего не знала. Вы пропали, и все. Она хочет вас видеть.

— Хорошая новость.

— Она, кстати, была уже, но вы не были готовы увидеть и услышать. Как, не возражаете? Можно?

— Да, конечно, что говорить?!

— Вот и замечательно. Стало быть, готовы, — и он ушел, оставив Петра размышлять и снова, в который раз, перебирать все события прошлой жизни, находя уже не нервное оправдание и объяснение многим и многим, но вполне разумное и взвешенное.

«Если так и дальше пойдет, не осилить мне старика Бетховена. Спокойствие, оно что, всегда хорошо? А может, и к лучшему? Может, только оно и рождает истинное понимание глубины и силы? Посмотрим».

«Но еще большая странность: Нина уже была, значит, все знала, но не пришла снова? Почему? Лучше не знать. Как говорили древние, что пользы в знании, если от него одно только горе?! Действительно, что прибавляет это новое знание? Ничего, кроме, разве, тревоги и недоумения. Да ладно, собственно, почему она должна приходиться? Кто я ей теперь? Правильно делает, что не навещает. И что они могут сказать друг другу?»

Однако все это были отговорки, не более. Хотелось и видеть, и узнать, что, как она.

Но прошел день, еще один, и никто не приходил. Не навещала и Аглая, которая до этого дня бывала не раз. Он просто находился в палате, иногда гулял, и в последние дни ему было позволено ненадолго заходить в зал, который он нашел самостоятельно, и немного играть. Совсем немного. Он по-прежнему пребывал в том состоянии покоя и внутреннего сосредоточения, которое позволяло и переживать тяжелые дни, и владеть собой. И сил прибавляла не только изумительная пора, но и четкое понимание того, что силы, энергия возвращаются и что он все сильнее и сильнее хочет оказаться дома и приступить к работе. Антон Иванович, естественно, сдерживал его устремления, но не особенно напирал, понимал, что за пациент перед ним. И лучше, и легче позволить, чем держать в узде и ничего не позволять.

Он поднял голову, среагировав на чье-то присутствие, и не ошибся: перед ним стояла Нина. Они молча смотрели друг на друга какое-то время, потом нашелся, как ни странно, он: «Садись, что стоишь? Как там, на улице? Хорошо?» Она кивнула и села, пока не произносятся ни слова.



— Нина, это ты ли? — он улыбнулся и на самом деле был рад ее приходу. Столько лет все же вместе! Ни ненависти, ни неприязни не испытывали оба. Однако вот так — развела жизнь, обстоятельства, новый человек.

— Да, как видишь, — она была немногословна. Словно примеривалась, подступалась к человеку, которого знала хорошо, достаточно хорошо, чтобы вместе сидеть и молчать. А молчать, и правда, они прежде могли. И не раздражали друг друга.

— Расскажи, все, все мне расскажи, прошу тебя. Я так тебя ждал!

— Да-а, попробую. Только не уверена, можно ли? Можно ли тебе говорить, вникать, напрягаться?

— Можно! Можно все, уверяю тебя! Я так долго ждал. Чего мне только не казалось! То я помер, то ты приходила, прощалась. Ты, что, правда, была беременна? Может, это я в полубреду? Бывает же так.

— Беременна? С чего ты взял?

— Ну, как же! Я сам это видел. И врачей, и что тебе было плохо.

— Да когда?

Ну-у, — не очень уверенно протянул бывший муж, — все тогда же, когда вроде бы умер. Не отпирайся, я не расстроюсь, я все пойму, только говори правду, прошу тебя. Ты должна сказать, слышишь?

— Петя, я и говорю. Но что тебе такое привиделось? И когда?

— Нет уж, я все умею разложить по полочкам. Ты не появлялась столько времени. Ты чего-то выжидала. Ты с этим человеком. Ты полюбила. Я сам, слышишь, сам видел, как вы шли в обнимку по нашей улице и как ты склонила голову на его плечо. Я все понял тогда и решил не мешать. Но ведь я его убил!

Или это тоже — загадки искаженного воображения? Чего-тотакоего, что стало вытворять сознание? Вот тебе мои наблюдения.

Нина тяжело опустила голову на руки, плечи ее, как и раньше, как тогда, стали узенькими, а вся она — маленькой и беззащитной. И такое чувство любви и сожаления охватило Петра, что он не выдержал, потянулся, ткнулся в ее колени и чуть не заплакал:

— Не лги, моя дорогая, моя самая, самая дорогая. Что с тобой? Как ты живешь? И что с этим, с этим злодеем? Разве я не убил его?

Она вытерла слезы, погладила его голову и тихо сказала:

— Я и не думаю. Я вообще не люблю лгать. Это уж так получилось в тот вечер, когда я соврала, а ты сделал страшный вывод. Нет, мне не нужен он. Я одна. Просто была нездорова. Но я звонила, говорили, что приходить не нужно, даже строго говорили, что нельзя. Но это все не главное. Я точно знала, когда приду и когда ты сможешь услышать меня. Вот, как сегодня.

— Дорогая, моя дорогая. А где этот? Где он? Он все также докучает тебе? Нет, погоди, он сам, он лично сказал мне, что вы оба полюбили друг друга. И я отступил. Чего не сделаешь ради любви!

— Его нет, успокойся. Он послан был зачем-то. И ясно — зачем. Он свое получил. Ты болен, но теперь уже не так, но был очень, очень болен. Ему только это и надо было. Нужен был твой сильный стресс, потеря самого себя, утрата понимания — жив ты или нет. Он все исполнил, что ему теперь я, ты?!

— Нет, я не могу успокоиться и понять все. Так, стало быть, его нет? Ну, совсем нет?

— Нет. Нет, нет и нет! — ответила твердо Нина.

Он как испытание. Как удар, как сама смерть, может быть. Ты ведь почти что не умер.

— Что же теперь?

— А что? Я видела ту женщину, теперь и я могу спросить, что и кто? И серьезно ли? Кто она?

— Она поет. Я видел ее всего пару раз, ну, чуть больше. Она тоже зачем-то появилась. И думаю, что тоже не случайно. Так быстро любовь не приходит, — Петр взял за руку Нину и все сжимал ее и сжимал. — Нет, это не то, что ты думаешь, успокойся.

Она внимательно посмотрела на него, долго, изучающе смотрела, и снова в нем вспыхнули и обида, и ревность, и непонимание. Ну, почему не приходила, не сидела ночами? Кто в этом виноват? Кто был первым, кто начал, как говорили в детстве? Он же видел своими глазами, как они шли! Разве этот образ, это видение выветрится когда-нибудь? И он сумел ответить себе: непременно! Куда денется?! Все можно простить, все, если есть, во имя чего и кому. Хотелось бесконечно долго обнимать это потерянное существо, убаюкивать и утешать, и еще верить, что все плохое — позади, и что все еще возможно, ну, абсолютно все!

Из далекого прошлого, из напластований времени возник образ. Бегущий по улице человек, совсем еще маленький, с папкой с тесемочками. Он так бежал, так торопился, что не заметил, как прямо перед ним резко завизжала машина, ну, почти, как разъяренный кот, и затормозила, издав еще какой-то шарахающийся звук. При этом она все бултыхалась, все норовила отдышаться, и мальчишка успел подумать, что она здорово смахивает на живое существо. Он вспомнил, как у соседа Юрки жил кот, а вот ему мама не разрешала заводить кошек. Она так дрожала за его здоровье, за всякие там возможные

глисты, что даже к соседскому коту не велела прикасаться. А Юркина мать, тетя Жанна, всегда была занята чем-то другим, поэтому ему жилось намного легче. Ему разрешили и завести кота, и играть с ним. Да он, судя по всему, и не спрашивал. И вот это громкое чавканье и едва ли не всхлипывание тормозов мальчишка сравнил с их котом Снобом, когда тот закатывал настоящие истерики по поводу долгого домашнего заточения.

— Ты что, ослеп? — услышал он над ухом голос, да и весьма почувствовал прикосновение к своему уху, — не видишь ничего, летишь! А если бы под колеса? — Большущий дядька стоял над мальчишкой, держа его за ухо и выговаривая.

— Ой, я так бежал, не сердитесь. Да больно же, отпустите.

— Это я понимаю, что больно. А мне какво? Ты такое можешь предположить? — его явно тянуло на философствование. А может, он хотел удостовериться, что с мальчишкой все в порядке?

— Я больше не буду так бегать. Можно, уже пойду?

— Ну, иди, малец. Музыкант, что ли?

— Я только учусь, — ответил будущий пианист и побежал дальше. Вообще привычка бегать так укоренилась в нем, что только став взрослым и знаменитым, он постепенно освободился от нее. И не опаздывал, это точно. Но тогда, торопясь на урок, он действительно не разбирал дороги. Более того, в его душе всегда вилась какая-нибудь мелодия. Вот и тогда она неслась впереди него, а он был счастлив, что вот— вот сможет сыграть своей учительнице этюд. Уже тогда он был покорен Шопеном, и все, что писал этот композитор, все сказанное и задуманное им, знал наизусть. Не все, конечно, мог понять, но точно знал, что

душа, например, у музыканта была трепетная и нежная. Он это определял одним словом — нежный. К другим определениям он пока только подбирался.

Именно с тех пор в каждом звуковом явлении он всегда потом находил какую-то свою, ему одному понятную ассоциацию, которая что-то раскрывала в музыкальном произведении. Уже разученном или только готовящемся. Стоящий дядька не мог понять, отчего это пацан не испугался, а, напротив, стоял, словно к чему-то прислушивался, к чему-то такому, чего сам слышать не мог. И действительно, именно в дребезжании машины, в ее скрежещущем звуке он вдруг различил нечто такое, что словно расширило тот этюд, который предстояло играть. В самом произведении ничего металлического не было, конечно. Но внезапная резкость, контрастность помогли глубже проникнуть в тот образ, который высвечивался из шопеновского сочинения. И тогда мальчишка понял, что любой звук как-то может быть связан не только с реальной жизнью, но и с тем, что являлось для него самым важным. И потом, много лет спустя, такой ассоциативный метод проникновения в партитуру произведения очень помогал. Это мог быть звук совсем не поэтический, а самый простой, почти банальный. Но какое-то внутреннее совпадение настроения музыканта и того, что содержалось в музыке, довершало дело. Звуки, самые разные, самые подчас незамысловатые, приобретали большую ценность. Нужно было только уметь слышать. А уж это он мог.

Замечательная его учительница музыки говорила ему об этом, но пока сам он не убедился в правоте ее слов, не почувствовал всей прелести того, что она имела в виду. Надо же, помог нелепый случай, какая-то машина, которая гудела, скрипела и издавала агрес-

сивные звуки. Но чувство возникло противоположное услышанному. Что-то трепетное и несколько тревожное, но сопряженное с энергией жизни.

Сейчас, лежа в палате клиники, он только и делал, что прислушивался кразного рода звукам, которые обильно насыщали чужое, не очень приятное пространство. И находил даже некоторую радость от соприкосновения с звякающей бутылкой капельницы или шуршания халатов. Но более всего его восхищал необычный голос лечащего врача Антона Ивановича. Надтреснутость и скорбную вибрацию виолончели он явно угадывал в этих скрепленных накрепко звуках, в этом особом тембре, то густом и очень насыщенном, то словно растекающемся и находящемся в ожидании чего-то. То ли ответа на собственные вопросы о состоянии пациента, то, быть может, четкости и безукоризненности собственной методики, которая должна была давать только положительные результаты.

И они были, эти результаты. Петр давно был переведен из реанимации в нормальную палату, где проводов и аппаратуры было значительно меньше, а на стене висела даже картинка. Окна закрывали шторы и, что важно, были очень подходящими по цвету стеклам, которые тоже были не намалеваны синей краской, а изящно оклеены светлыми обоями. Да и клиника была не самая захудалая, понятное дело, все же знаменитость!

— Антон Иванович, скоро домой? — спросил он врача, когда тот простучал, рассмотрел его и даже, как показалось Петру, принохался. — Что вы все во мне ищете?

— Ищу, думаю, — отозвался доктор, — не скрою, все идет в нужном направлении. — Доктор был уклончив, и Петра радовала эта странная замысловатость,

он понимал, чего может опасаться врач. Действительно, не стоило впадать в эйфорию!

— А как думаете, на этой неделе получится? — не удержался Петр.

— Я посмотрю, завтра вам скажу. Пока же гуляйте, не залеживайтесь, что вы и делаете совершенно правильно. Чего, простите, вам хотелось бы больше всего? — неожиданно спросил врач.

— Скажу! Сам об этом все думаю и думаю. Не волнуйтесь, не пирожных и даже не водки. Хочу съездить поскорей в Питер, в мой Ленинград, так и ставший для меня этим Питером. Как, разрешите?

— Хм, — заважничал Антон Иванович, — можно, наверное. Я подумаю. Но только не концерты, — спохватился он, уцепившись за некую спасительную ниточку, не позволяющую его пациенту так скоро и так легкомысленно перейти в ранг здоровых. Нет, он еще не вполне крепок и не так уж здоров. Еще мысли тянут, еще бередят воспоминания. Надо, чтобы совсем очистился от них, если это, конечно, возможно.

— Скажите, Антон Иванович, а что вам самому хотелось бы? Ну, кроме нас, подопечных ваших? И забот, с ними связанных?

— Ну, вы даете! Чего хочу! Съездить, к примеру, на Алтай, вот чего хочу!

— А что у вас там?

— Там есть то, чего нет нигде. Особые люди и мумие.

— Вы меня удивили, — изумился Петр.

— Ничего удивительного. Там большая сила энергетическая. Там все не просто так. Может, сам центр земли. Именно там.

— Поразительно! Я был там совсем недавно. Вы правы: люди совершенно удивительные! Найти мне надо одного человека.

— Поеду если, найду.

— Спасибо. Да и я, когда совсем поправлюсь, поеду туда снова. С новой программой. И, дай Бог, сам увижу. Очень надо. Сын одного хорошего человека болен, нужна клиника, а он простой водитель, ни в жизнь не насобирать таких деньжищ.

— Что ж, если надо, поможем, — отозвался врач, чем снова удивил Петра, который и на этот раз не нашел в нем никакого высокомерия, а напротив, дружескую готовность помочь.

— Еще раз, спасибо. Думайте, когда отпустите. Я почти готов.

— Вижу! — улыбнулся Антон Иванович, и Петр отметил для себя в этом конкретном коротком слове хороший для себя знак.

Так, к счастью, устроена наша память, ее защитные свойства от нас же самих, что подождая, приблизившись к стрессовому состоянию, когда уже невозможно правильно и спокойно думать, воспринимать, что-то соображать, она отступает и переключает внимание на что-то другое. Возникает другая картинка, другие обстоятельства, люди. И приходит некоторое успокоение.

Когда они говорили с Ниной, он дошел снова до какого-то критического состояния, когда волнение захлестывает и ты уже мало что способен понимать. Остается совершенно обнаженное чувство, больше ничего. Он невольно переключился на воспоминания далекого детства, дабы избежать нового витка нездоровья.

Главное — это то, что Нина пришла, что была очень покорна и податлива, что смотрела на него, как когда-то, что сказала, наконец, то, чего он и предпо-

жить не мог. Неужели она свободна? Свободна от того дьявола, и все еще возможно? Их чувства, их любовь? В это трудно верилось, но верить очень хотелось. Он откинулся на подушку, вытянулся и закрыл глаза. И так лежал молча какое-то время. Она тоже молчала, и было совершенно понятно, что слова и не нужны сейчас. Что можно лишь ощущать то хрупкое и невесомое, что снова накрыло их и словно притаилось рядышком.

Она поднялась, погладила снова его по голове, долго смотрела, услышала, как он произнес ее имя, и вышла. А он смог только повторять и повторять это легкое, какое-то совсем невесомое имя, которое вернулось из небытия, из далеких серых потемок, и теперь предстало перед ним в новом золотистом цвете. «Нина, моя Нина, я все смогу, я сделаю, я жив», — говорил он про себя, и в палате становилось тихо-тихо.

Он ехал домой на машине, которую любезно предоставило руководство клиники, и думал о том, что его там ждет. Пройдя через страшное испытание, утратив память, любимую, потом неожиданно и постепенно вернув все утраченное, он задавался вопросом, совсем не относящимся к медицине. Его заботило, например, что с квартирой, так ли грустно ожидает его любимый рояль, задержаны ли штормы и вообще... Что означало это «вообще», сказать было трудно, тем более, что и Генрих Иванович, и сама Нина говорили, что в доме все в порядке и что, мол, волноваться нечего. Но ожидание томило, и казалось, что в его замечательной квартире непременно что-то будет по-другому. И еще, конечно, гнездилась мысль — как там в плане потусторонних сил? Все, включая врачей, его уверили в том, что больше нет этого существа, как нет и возврата к его возникновению. Все, все в про-

шлом! Да и объяснение было вполне убедительным: ему требовался он сам, без остатка, но совершенно живой, сломленный, правда, но живой. Колеблющийся, запутавшийся, исчерпавший запас душевных, эмоциональных, каких-то иных сил. Но именно он сам! Теперь же, когда случилась и болезнь, и победа профессиональная, и сама Нина раскрыла настоящее, а не то, что ему лишь чудилось и казалось и чему он находил превратное объяснение. Словом, все подтверждало одно: не должно быть возвращения этого субъекта, причин для этого больше не было. Что же до, якобы, Нининой любви к нему, то это была явная, откровенная ложь. Что же выходило? А выходило все очень просто: жить надо, разучивать произведения, прежде всего — Бетховена, выступить дуэтом с Аглайей, благо для этого имелись все предпосылки.

И все же скребло, томило где-то глубоко внутри. Даже и не сформулируешь, что же именно его тревожило, но что тревожило, было точно. И он вроде бы стал приближаться к этой мысли, колющей и донимающей его. Нина! Вот что более всего мучило! Как с ней-то, как? Она что, будет теперь с ним, как и раньше, или не совсем, как раньше? Но тогда как? Вот ведь, уехал-то он из клиники один, не как принято в семьях: с узлами, да саквояжами! Один!

Однако он лукавил. Накануне он-то и сказал Нине, что еще пару дней полежит. Что, мол, доктор просит. Ну, для полного, так сказать, глянца. И она поверила. Но теперь он озабочен был другим: не получится ли так, что его неожиданный приезд застанет ее врасплох, что она не готова к такому повороту, что в доме, может, ни продуктов, ни батона хлеба. Да, все может быть, но разве это главное? Разве важно, есть ли яйца

и сливочное масло? Ну, сбегает или сбегают вместе — какая разница!

И он почувствовал силы. Именно то, чего он так долго, так покаянно ждал — силу, энергию, уверенность, еще многое из того, что приводило бы к жизненному натиску, упорству, проявлению характера. Как же хотелось сразу, немедленно приступить к разучиванию, к погружению в эти значки и кружочки, которые даже при прочтении начинали издавать звуки, от которых то кружилась голова, то становилось душно и требовалось немедленно открыть окно.

Дом встретил его приветливо и словно вопрошая. Да, он это точно почувствовал и подошел к роялю, провел рукой по крышке, как проделывал тысячи и тысячи раз, и сел. Странно, но в доме не было никого, и разлитая, установившаяся в нем тишина понемногу успокаивала, давая надежду на то, что спокойствие будет прочным и продолжительным.

Он шагнул в сторону окна, и тотчас же его обдало запахом, ароматом улицы и все той же зелени, которая не успела завянуть, пожелтеть, а скорее наоборот: еще более упрочились и стали упругими ее листья, выгнулись упрямо ветки, все обрело законченность и завершенность. И он подумал, как это схоже с тем местом в сонате Бетховена, которую все же успел просмотреть перед случившимся. Более того, он прошелся по всем строчкам, страничкам, он уже впитал ее звучание, и осталась самая малость: — только взять и сыграть. И почему — то снова невесть откуда взявшаяся уверенность и спокойствие привели к мысли: и эта вещь подчиниться ему, и станет родной и понятной, как сама эта жизнь, этот дом, как, наконец, сама любовь.

И в то же мгновение он услышал звук поворачи-

вающегося ключа. Это было так неожиданно и так кстати, что он не сразу подошел к двери, а почему-то присел там же, на кухне. И правильно сделал. Лишь только по запаху он понял, что вошла его Нина и что она, судя по тому, как она оглядывалась, ощутила присутствие человека. Он все видел в зеркало, которое висело таким образом, что все можно было разглядеть, даже находясь на кухне.

— Петя, ты? — спросила женщина, не проходя на кухню, а оставаясь на том же самом месте. Было видно, что она забеспокоилась и все же шагнула вперед. — Петя, ты? — повторила она вопрос.

Он чем-то задел чашку на столе, та звякнула, и Нина увидела мужа.

— Боже мой, я так и знала. Я чувствовала, я знала, — причитала она, все прижимаясь к мужу. — Неужели это ты? — снова повторила она вопрос, разглядывая его, глядя по волосам и снова прижимаясь.

— Успокойся, я. Это всего лишь я. Ну, прости, не хотел этой совместной выписки, чего-то такого бытового, обыденного. Решил сам. Не обиделась?

— Да нет, я все принесла, — захлопотала она, — ты же голоден, я знаю, нельзя не есть. У меня почти все готово. И твое любимое мясо. Я сейчас, — заволновалась она и стала на ходу сбрасывать пиджачок, мыть руки, вынимать продукты. — Ты рад? Ну, скажи, ты рад?

Он подошел, обнял ее и чуть ли не запел:

— Ну, как же иначе, как? Я не только рад, я просто счастлив.

Они ели любимое блюдо Пети, которое так мастерски готовила Нина, потом сидели в полной темноте и то говорили, то молчали, но главное — они снова были вместе. И это уже было совершенно не важно,

какие слова и какие мысли проносились по этой кухне, важнее всего было то, что вернулось то прежнее, давно-давно почти исчезнувшее чувство, которое задышало вновь. И становилось ясно: теперь может быть только движение вперед и только по направлению к музыке, ничего другого у них не остается.

— Имею идею, — произнес Петя, держа вверх вилку и загадочно улыбаясь.

— Вся внимание, — столь же насмешливо ответила Нина.

— Та женщина, ну, которую ты видела в больнице, она тоже музыкант.

— Предупреждать надо, я же ревную, — ответила Нина.

— Так вот, у Бетховена есть сочинение для фортепиано и скрипки. Это уже кое-что. А женщина эта скрипачка. Ну, или певица. А может, и то, и другое, — Петя звонко расхохотался, и было не ясно, шутит ли он или говорит правду. — Словом, скрипичная певица.

— Она, что, нравится тебе?

— Конечно, — с вызовом ответил Петр, — еще бы! Маленькая, сутулая, с горящим взором серых глаз. И голос — странный, но какой-то завораживающий.

— Понятно, понравилась.

— Ты, к счастью, всегда отличалась чувством юмора и могла все отделить: что и кто нравится, а что имеет отношение только к работе.

— Я вас слушаю, шкодливый молодой человек.

— Ах, молодой? Ну, тогда слушай. Я думаю, она что-то такое может, во всяком случае, мне так кажется.

— Но ты же ее не слышал?

— Да, не слышал, но это ничего, я в каком-то сне,

там, в клинике, все же что-то слышал. Мне кажется, она интересная скрипачка.

— И певица?

— Наверное. Но дело не в этом. Это, знаешь, как дополнение к тому, что меня заботит теперь больше всего. И там, в больнице, и еще — до того.

— Что? — напряглась Нина.

— Да не бойся, скажу. Знаешь, все то, что мы пережили, все эти мистические события, бесконечные стрессы, появление существ из неизвестной жизни, оживление почти умерших, выстрелы и все прочее — аффекты, одни сплошные аффекты. И знаешь, как они связаны с делом моим, нашим, с тем, что я пришел все же к Баху? Самым прямым образом. Музыка, которая предшествовала ему и на которой он вырос, называлась «музыкой аффектов». Чуешь, какая связь? Ну, прямо про нас. Но не впрямую, конечно, но тоже — аффекты. Я даже поражался, что это меня все тянет и тянет к этому могикианину? А события все спрессовываются и тучнеют? Что это за странная связь такая? И почему без этих наворотов никак нельзя? Нет, может, кому-то и можно, но не мне. Даже — не нам! Ты вот чуть от меня не ушла к этому дьяволу, или злодею, или как там его? Ну, скажи, была такая мысль?

Нина уже вполне серьезно посмотрела на мужа, покрутила краешек салфетки и спокойно ответила:

— Нет, таких мыслей не было. Намерений — тем более. Он — да, хотел, предлагал все на свете. Но знаешь, мне всегда казалась несколько надуманной эта история, вся эта бесовщина. То ли он есть, то ли — нет. Не знаю, но только реальных поступков я не совершала.

— А нереальных? — не унимался Петр.

— Ты о той прогулке? Считай, что это тоже что-то, похожее на аффект, так, замутненность сознания, искажение пространства. Изменение смысла.

— Скажи, какого смысла?

— Смысла нашего видения жизни, всего нашего пути. Вот ты жил, жил, а не видел очевидного.

— Чего же?

— Меня, нашего дома, отсутствия детей, радости и смеха. Ты весь был — воплощенный аффект. Но ты сам сейчас сказал, что эта музыка — то, что предшествовало Баху. Может, и нам отойти от этих аффектов, угомониться наконец?

— И это ты говоришь? Нет, Нина, посмотри на меня, ты?

— Да, представь себе, я. Я одновременно и устала, и полна сил. Что же до той скрипачки, о которой ничего не известно. Может, и правда, может, споемся? Даже и к лучшему, что она никому не известна. Может, она тоже пришелец из тоже из другой реальности?

Петр вспомнил обстановку в доме Аглаи, ее поведение, какие-то движения, рассказы и подумал, что Нина недалеко от истины. Все может быть! Уж у них-то — точно!

— Не знаю, как насчет реальности или мистики, но она есть, и надо подумать, что с этим делать.

— А я? — спросила Нина и встала.

— Ну, что ты, что ты, моя дорогая?! Кто может быть тебе соперницей, кто? Отвечаю — никто!!! А к ней не ревнуй, я же выжил после твоего Фредерика.

— А-а, так это ваш ответ Чемберлену?

— Глупости, ты же не любишь глупости. А я спрошу, пусть тебе это и покажется глупостью. Ты могла бы полюбить? Ну, этого господина? Это существо? Вообще кого-то?

— Того, кто против нас? — ушла от ответа Нина.

— Я не знаю, он против или за, но то, что он сотворил, или мог бы сотворить, не ухватись я за жизнь — страшно подумать. Даже не за жизнь, а за музыку. Я только-только стал приближаться к глубине, стал что-то соображать, что-то нащупывать едва ли не потустороннее, что было в Бахе. Что есть в Бетховене, и тут — на тебе: чуть ли не смерть. Нет, это знак. Знак того, что идти надо до конца, до самой последней капельки, только тогда победишь. Я вот и раньше думал, почему это такую громадину, этого Баха стали исполнять на фортепьяно? Он же даже не предполагал этого. Что это, только дань времени или существуют иные какие-то причины? Остался же в жизни орган, так почему не исполнять на клавесине? Как и положено? Не задумывалась? А я вот понял. Там, в палате у себя, понял, уловил, мне кажется. А объяснение простое. Видишь ли, о эволюции человека все вроде бы известно. Она совершается беспрестанно. Одни виды эволюционируют, другие, наоборот, развиваются по нисходящей, деградируют. Так вот, фортепьяно — своего рода вид эволюции. Без технического прогресса теперь никуда. В другие страны едешь играть на органе, если он там имеется. А фортепьяно есть повсюду. Не только такое утилитарное объяснение возможно. Если же говорить о поэтическом, более праведном обосновании, то все верно: не лень двигала людьми, а поиск новых совершенных тонов, разнообразия звучания. Этот поиск истины начался пару веков назад и все продолжается, и он неостановим. Так что люди здесь сыграли свою замечательную роль. Они не исказили и не унизили Баха, а захотели услышать его так емко, так множественно и так многомерно, что клавесин уже не справлялся с задачей. Нужно



было более расширительное толкование тех же звуков, их обработка и понимание. Да, отошли от заповедей, может, в этом и есть вина человечества. Ну, уж если сыновья Баха проходили мимо записанных им ошибок, не замечали, не понимали, игнорировали их, то что уж говорить о всем человечестве?! Я очень люблю его Каприччио — соната такая на отъезд брата. Вот где истинная поэзия! Я приврал об аффектах. В ту пору такая музыка аффектов трактовалась как реалистическая, в этом виделась ее главная задача. Но наше мышление под стать переходу от клавесина к фортепьяно, мы подчас начисто искажаем саму суть первоначального. Аффект в нынешнем понимании не имеет никакого отношения к реалистическому, напротив, он выразитель какого-то характерного искажения, с которым справиться невозможно. В его же эпоху — все иначе. Вот тебе и эволюция.

— Да-а, — протянула Нина, — не терял ты времени, о многом думал. Надо же, я и не знала.

— Ну чего, чего, дорогая моя, ты не знала? Что часть развивается, а часть человечества деградирует? Я сейчас далеко от науки, но это же тоже факт. Все дело в эволюционных скачках, периодах, своего рода стаккато и всяких там вспышках и озарениях. Дух — вот что важно. Вся музыка Баха пронизана им одним. И, если этого не понять, все, пусто!

— Да, ты много думал, я вижу.

— Ты еще мало знаешь о моей поездке. Там я вообще открыл для себя невероятные вещи. Может, природа края помогла, может быть, и люди, с которыми общался, — словом, все вместе. Там у меня так и осталось одно дело, непременно его завершу. А понял там я вот что. Музыка Баха — это своего рода звуковое, очень контрастное временами, но изображение. Об

этом я читал когда-то у одного исследователя, мало известного, правда. Запомнил даже имя его — Мозевиус. Он почти забыт. Что-то роднит это его высказывание с тем, что делал наш Скрябин, изображение которого не было принято. Но там другое, конечно, там, скорее, конкретность цвета, на этом настаивали многие в связи с его экспериментами. У Баха иное. Его музыка словно расщепляет что-то в душе, она становится податливой и выносливой, как ни странно. И способствует всему звуку. Он то томит, то отступает, то становится величественным, то так берет за нутро, за самую суть, что становится страшновато: действительно ли писал это один-единственный человек, подверженный разным страстям, вырастивший сыновей, знающий и признание, и неприятие. От надежды — к отчаянию, или наоборот. Но это уже у другого, у другого могоканина со светлой большой головой. Бах, мне кажется, вообще неисчерпаем, как неисчерпаема сама музыка. Только у одних можно импровизировать, чуть-чуть отступать от основного текста, приближаясь и отдаляясь иной раз от автора; здесь же совсем другой случай: ты ныряешь, как в бездну, и не знаешь, не можешь даже знать, вынырнешь или нет живым. Потому во многом случилось со мной такое: я был на грани помешательства, мне казалось, что я убил, потом, что я из гроба наблюдаю за своими похоронами. Словом, чего-то я не выдержал, не смог осилить всей мощи. А жаль — времени столько потерял.

— Не соглашусь. Время, если оно на что-то сподвигает, все равно в пользу. Жаль другого: болезнь, отчаяние, уже мое, между прочим, тревоги, надежды и все остальное.

Петр нагнулся к жене, обнял и почему-то не сказал ничего. Да и что мог он сказать? Что сказать че-

ловеку, у которого тоже осталась куча загадок и тайн, и он уже никогда не сможет узнать, что же было правдой, а что только казалось или было случайностью. Никогда. Да, честно говоря, и не особенно хотелось знать, где эта правда и где ее пределы. Вообще — есть ли она? Он точно знал, что правда есть только в одном — в музыке. Но стоило прикоснуться в этой мысли, как тотчас же возникали противоречия и препятствия: есть же интерпретация, видение других, разных, исполнителей. И все стремятся к отысканию всего лишь одного — той самой правды. Замысла, поиску особенного почерка композитора, какой-то россыпи нюансов и штришков, которые где-то глубоко притаились в музыке и ждут, когда их раскроют и озвучат. Вот эта самая притаенность, эта до поры скрытность и загадочность музыки — вот что притягивало и таило надежду на продолжение жизни, поиску ответов на неожиданные вопросы. Наконец, бесконечному разгадыванию того скрытого, того, что не написано в нотах, того, что только готовится стать правдой. Или — стремлением к ней.

— Нина, всю жизнь хотел тебя спросить, знаешь ли ты, что такое счастье.

— Я? Почему ты спрашиваешь?

— Не знаю, я многого теперь не знаю, а только подбираюсь к самому краешку правды. Но мне важно, что думаешь ты.

— Не знаю, я, наверное, еще меньше знаю, чем ты. Просто за эти месяцы, за время болезни, вообще за тот период, в котором столько всего произошло, мне кажется, я к чему-то приблизилась. Но... не намного. Я знаю, что есть радость ожидания, даже если ты ждешь что-то страшное: известие, результат, встречу глазами, обиды, разочарования. Но и есть простой как

мир, наверное, процесс каждодневного, ежечасного делания своего дела. Вот так, как ребенок или большой ученый, — неважно. И делаешь его, понимаешь значимость (а может, и не понимаешь — тоже не так важно) этого дела, и все просто: встаешь, идешь, готовишь, сидишь, наблюдаешь, о чем-то думаешь, ждешь, тормозишь, где надо. То есть процесс, само делание чего-то очень успокаивает. И даже освобождает от многого плохого, что гнезилось в тебе, казалось важным, значительным. Не бывает каждый день катастроф или глобального чего-то. Но так, осторожно пробираясь к себе и своему человеку, понемногу понимать начинаешь, что там, в этой жизни. Что есть что, одним словом. У ребенка ведь есть своя логика, у ученого — тоже. И ты тоже должен стать ребенком. Если можешь, конечно. Ты каждую минуту должен участвовать в процессе жизни.

— А думать когда же?

— Ну, милый, захотел! Речь о другом, а ты про великое! Думай себе во время этого процесса делания — и все!

— Нет, Ниночка, иногда нужно только одно — только думать и думать.

— И что, ты хочешь сказать, что, сидя в кресле и обняв голову руками, ты осилишь этот процесс? Ни шиша!

— Да, я, например, все время думаю. И в клинику угодил, наверное, потому, что переусердствовал в этом.

— Петечка, не путай! И думай себе, и ищи, и ошибки набирай, но не забывай о чередности обычных дел. Это, между прочим, лечит. Вот такой простой круговорот дел, событий, чехарда поступков. Главное, чтобы чехарды не было в тебе самом.

Петя снова наклонился к жене, поднял голову ее за подбородок, взгляделся и снова промолчал.

— Наверное, я просто дурень.

— Да нет, ты умница, но у тебя временами жизнь реальная не совпадает по циклам или по чему-то там еще с фантазиями и представлениями о том, как надо. Тебе трудно на жизнь вообще переключиться. Представь себе! В исполнении это великолепно, но в жизни ты зачастую бредешь вслепую, не ведая, куда, с кем и зачем.

— Ну, уж нет! Я знаю с кем, это с тобой, раз. Вторых, куда? Я иду только одной, только единственной дорогой, дорогой музыки. И это — два. А зачем? Душа просит, вот и весь ответ.

Нина поднялась, постояла у окна и сказала:

— Видишь, мы оба любим ночь. Есть в ней нечто такое, что тревожит, но и успокаивает одновременно. Это единство разного. От того и возникает гармония. С собой, с целым светом, да и со всем человечеством, наверное. А ты ее за что любишь? — Она взяла яблоко и уже не так серьезно, а, скорее, дурачась, задавала свои вопросы.

— За то, что она просто ночь. И я могу, не мешая никому, спокойно думать. Иногда совсем спокойно. Вот и вся разница. День уносит крошечку этой сосредоточенности, вжатости, что ли, в свои размышления. День прибавляет суеты. А я ее стремлюсь избежать.

— Я все собиралась тебя спросить, но почему-то все откладывала. Ну, а потом и не до этого было, навалились события.

— Говори, я тебя слушаю.

— Почему мы не были так озабочены, ничего не делали особенного, ну, медицинского, чтобы был у нас ребенок. Почему?

Петр нахмурился и ответил не сразу. Да и что он мог ответить, если всю сознательную, всю жизнь с женой они занимались только музыкой: концертами, подготовкой к ним, разучиванием произведений, гастролями. А, действительно, неужели он до такой степени эгоист, что дело так и не дошло до озабоченности проблемой? Проблемой рождения ребенка. Вот ему за что все! — и эгоизм, и погружение только в себя, в свое творчество, отказ от обычных мирских радостей. Было ли это совсем уж самоограничение или только безразличие, граничащее с нежеланием вникать в чужую жизнь? Что теперь скажешь?! Только по прошествии времени начинаешь задаваться вопросами: отчего и почему? Тогда же, в то время, когда развивалась, шла жизнь, об этом не думалось. Ну, жили и жили, и все! А теперь осознаешь, что время безвозвратно утеряно, что вряд ли теперь что-то можно будет наверстать.

— Я не знаю, мне трудно объяснить это. Наверное, я просто плохой, — улыбнулся Петр, — просто плохой человек. Тебе не кажется?

— Нет, не кажется. Мне только кажется, что мы оба были не правы. Наверное, и я должна была проявить какую-то активность.

— Ниночка, ну, не будем отчаиваться, у нас еще есть время. Ты не находишь?

— Ты пытаешься обмануть себя, нас обоих. У нас уже нет времени.

— Глупости, у нас все есть! — воскликнул Петр, — только пройдя по самому краю, понимать начинаешь, что к чему. Где ценности, а где они только блестили. — Он поднялся, обнял жену и очень серьезно, убежденно повторил, что не потеряно. — Я верю. Посмотришь. Заслужили же мы прощение, в конце концов!

Теперь они подолгу частенько разговаривали, более не прикасаясь к большому вопросу. Они вслушивались друг в друга и открывали друг в друге новое, до сей поры словно зашторенное, закрытое. А Петр все больше погружался в разучивание новых произведений, снова и снова размышлял над фактами биографии своего Бетховена, сравнивал с другими композиторами, анализировал его особый стиль, звучание, но, наверное, более всего то, что стояло за нотами, что содержалось внутри, как бы между нотными строками.

Голос Генриха Ивановича он не сразу и узнал.

— Что с вами, дорогой мой? — спросил Петр, услышав простуженного своего друга и администратора.

— Да вот, в разгар лета заболел. Ну это ничего, я с хорошей новостью. Как сами-то?

За многие годы они так и не перешли на «ты». Но оба и не стремились к этому. Общее понимание важности дела, которому были призваны служить, интеллигентность обоих только усиливали привязанность друг к другу и взаимное расположение. Генрих Иванович никогда не выпячивал свою значимость, не навязывался, а был, что называется, и на расстоянии, и в то же время вблизи, когда требовалось. Чутье у него было замечательное.

— Слушаю вас, что там за новости? Я уже отвыкать от них начал.

— Готовы ли вы к выступлению? Как раз кстати было бы опробовать и самочувствие, и новый репертуар. Лето, не так много народа, да и город, скажу вам...

— Говорите, говорите, я, кажется, догадываюсь, вы и раньше говорили. Это Питер?

— Да, давно я с ними переговоры веду, но все не

складывалось. Но, если хотите, это может быть и не сам город, а где-то в залах Пушкина, Гатчины — словом, самых главных наших городов, небольших, но очень ценных.

— Думаете, главный не потяну?

— Нет. Вовсе нет, я так не думаю. Но опасаясь за чрезмерность нагрузки. Что доктора, позволяют?

— Да у меня все в норме, я готов. А когда?

— Воля ваша, но просят к пятнадцатому августа. Успеете? Можете?

— Ну, кто из директоров станет так разговаривать?! Золотой человек!

— Конечно, и не в Пушкине, а в самом Питере. Идет? Вы-то как, успеете?

— У меня там налажено давно, все возобновить только. Один или два?

— Думаю, один. Пока один. Не сложно?

— Да ну что вы? Нормально, готовьтесь.

— А я вам еще, о чем хотел сказать. Наши алтайские гастроли меня так вдохновили, что я не прочь был бы еще раз съездить.

— Что, снова туда же?

— Нет, в Иркутск, места уж очень памятные. Очень бы хотел. Теперь, знаете ли, все начинает приобретать совершенно другое значение, оттенки смыслов, звучание. Не против разузнать все?

— Сделаем, буду готовить.

Если Генрих Иванович говорил «сделаем», это означало именно то, что он говорил. Он делал всегда то, что обещал. И Петр начал готовиться. В своем родном городе не был давненько, а тут — такая возможность.

Временами он поднимался со своего стульчика у рояля и принимался ходить по квартире, благо места

хватало. Снова подходил к окну и все удивлялся, насколько же Нина любила разные занавески, причем их было столько, что он не успевал отслеживать, когда появлялись новые. И еще — освещение. Всяческих ламп, светильников, помимо главной люстры, тоже было предостаточно. Она могла на многое не обратить внимание, вещи порой лежали в самых неподходящих местах, а вот со светом и занавесками проблем не было. Но вот теперь, после длительного перерыва в нормальной семейной жизни, что-то изменилось и в доме: не было того лоска, той воздушности, ее изобретательности, с которой она относилась к своему жилищу. Он отметил это и снова задумался: а чем теперь станет заниматься Нина? Теперь, после стольких бурь, ужасов и мистики? Он же хотел привлечь ее к пению и даже сделал кое-какие шажочки. Переговорил со старыми приятелями, те обещали провести концерт пока не в консерватории, не на главных статусных сценах, а тоже в очень элитном местечке, где собирается вся московская знать. И Нина занималась, она пропадала целыми днями, все репетировала и выстраивала репертуар, чистила и осваивала.

Договорились, что он непременно прослушает ее, а пока она сама хранила секреты и не позволяла особенно вникать и слушать ее. Он замечал, что она постепенно отходила от пережитого и возвращалась к своей внутренней насыщенной жизни. Просто он прежде не так уж пытался вникать в ее глубины, полагал, видимо, что он-то музыкант, а она — его жена и состоит при нем. Теперь же замечал и перемены в ее поведении, графике жизни. Даже подметил такую особенность: если раньше она непременно сообщала, куда идет и с кем, то теперь появилось нечто новое. Она

порой говорила, что собирается на репетицию и ограничивалась именно таким сообщением. Но он не противился этим новым проявлениям в ее поведении, понимал, что связано это и с пережитым, и с тем новым, к чему она идет.

Приближалось время его выступления, он почти не выходил из дома и только изредка позволял себе короткие прогулки по своей любимой улице. Прогуливаясь так однажды, он услышал свое имя и остановился: перед ним стояла Аглая. Он уже и раньше мучился мыслью, что же теперь делать, а тут — такая встреча. Оба несколько мгновений молчали, преодолевая неловкость.

— А вы пропали, — сказала женщина, — заняты, наверное?

Почему-то этот вопрос раздосадовал его, и он ответил довольно сухо:

— Занят, я очень занят. И так, наверное, теперь и буду занят постоянно, — не очень учтиво ответил он.

— Я понимаю, я здесь случайно. Живу же рядом, вы помните, — словно оправдывалась она. И ему стало неловко.

— Да, я, наверное, виноват, не сердитесь. А знаете, у меня есть идея. Приходите к нам. Профессиональные музыканты не любят заниматься самодеятельностью, но мы сделаем исключение. И споем, и сыграем. Идет? Согласны?

Она изучающе посмотрела на него и спросила.

— Теперь у вас все в порядке? Вы поправились?

— Да, давно, готовлюсь вовсю. А вы как узнали обо мне?

— Ну, это было не так уж сложно. Даже в каких-то новостях сообщили о вашей болезни, я узнала ваше лицо. А уж понять, кто вы — дело нехитрое. Там, в

клинике, я встретила вашу жену. Рада, что вы примирились.

— Ну уж нет, — чуть ли не вскипел Петр, — мы не ссорились, мы хуже — мы были на разных полюсах, едва не покинули этот мир.

— Что, оба?

— А как вы думаете? Конечно, оба! Расстаться — это сродни смерти. Все равно что уйти из мира. Вот я потихоньку и уходил.

— Странно.

— Что же тут странного?

— Да нет, странно, что мне всегда достается роль то ли утешительницы, то ли какого-то промежуточного существа. Слово находжусь между тем, что было, и тем, что только может исполниться. И все никак не исполняется. Даже смешно! — заключила Аглая и собралась уходить. Ему сделалось не по себе, он понимал, что обидел, что слишком резко говорит.

— Повторяю свою идею: приходите к нам. Прямо сегодня и приходите, ближе к вечеру, часам к пяти.

— Нет, я не могу сегодня, у меня дела, — отозвалась женщина.

— А когда? Когда вы можете?

— Ну, не знаю.

— Я знаю. Завтра! Согласны?

— Но ваша жена...

— Моя жена знает о вашем существовании, она будет рада. Приходите, квартира в этом доме, — он махнул рукой, — номер сорок пять. Жду! — и он вошел в их калитку.

В тот же вечер Петр позвонил Виктору и, вопреки их давнишней заведенной привычке, пригласил домой. Тот безропотно согласился, но почему-то спросил, по какому случаю.

— Вить, ты меня в больнице видел, это был случай. Сейчас мы будем разговаривать, петь и танцевать, совершать нечто ритуальное, дабы случай такой не повторился.

— Ясно, наказан за неожиданное любопытство. Каюсь, мне это не пристало. Буду. А дамы, как, будут ли?

— А как же? Мы без них с тобой по жизни встречались, сейчас же нарушим традицию. Дама будет. Может, и не одна.

— Это что еще за пророчество?

— Смеюсь, друг, смеюсь. Так хорошо работать, ты и не представляешь.

— Как хорошо не работать, а просто созерцать! Ты и не представляешь!

Оба засмеялись, и Петр почему-то сказал вслух: «Наверное, чудеса еще не кончились. Так мне кажется!»

К назначенному часу стол был готов, дом прибран. Нина наряжена, рояль блестел, Петр теребил свой галстук, что регулярно делал, впадая в волнительное состояние. Все сияло: приборы на столе, блики от ламп, натертые полы, ручки от дверей, ну, и т.д.

На звонок он пошел открывать сам. На пороге стояла Аглая с цветами ирисами, каким-то свертком и ... и позади нее, немного ссутулясь и облокотившись о косяк, стоял... стоял... Нет, этого просто не могло быть. Как так? Почему? Почему этот мерзавец все никак не успокоится? Да и что он делает вообще среди живых? Ему давно положено быть где-то там, совсем не в этом месте. Петр аж задохнулся от негодования и только хотел сказать что-то совсем страшное, как стоящий мужчина отсоединился от стены, ехидно улыбнулся и ... исчез. Слово его и не было вовсе.

Стояла женщина, и рядом с ней не было никого. Это уже слишком!

— Вы что же, со спутником? — спросил довольно грубо Петр.

— С каким спутником? — удивилась Аглая, — я одна, вот с цветами, — и она протянула букетик и еще тот самый сверток.

— Проходите, — пытаясь взять себя в руки, сказал хозяин дома и пропустил вперед даму, а сам подошел к лестнице и посмотрел вниз: там не было никого.

Пока знакомились и приветствовали друг друга женщины, снова раздался звонок и Петр снова сам пошел открывать. Был он решительно настроен. А в руку успел схватить на кухне нож. Снова нож! И что это его убеждали, что ничего такого страшного не было, что все это — штучки уставшего рассудка, расстроенных чувств и прочее? Где уж там! Теперь он ни за что не промахнулся бы, появись этот гад еще!

Однако у двери стоял Витька, пришедший вовремя. В руках у него были тоже цветы, чему Петр несканно удивился: дело в том. Что таких сантиментов Витька себе не позволял никогда. Букет из пяти роз был красивым, и Петру показалось даже, что товарищ его был страшно горд собой. Ну, право же, никогда не дарил цветов, а тут расчувствовался!

Нина похвалила Витькин вид, одежду, прическу и была очень довольна, что все, наконец, в сборе. Решили не тянуть и садиться за стол, тем более, что он притягивал и манил большим количеством изысков и деликатесов! Накладывали, разливали, закусывали, и Петр все поглядывал на Витьку и на его реакцию: какова ему покажется знакомая Петра? Ну, и на нее, конечно. Она, правда, поначалу смущалась и робела, но Витьку надо было знать: он расшевелит мертвого!

И все слушали философа, понявшего с ходу, что он в центре внимания, и говорившего поэтому без умолку.

Коснулись, конечно, и музыки, и Петиной новой программы, и его подготовки к гастролям. Витька знал из телефонных общений, что готовит друг, и поэтому разговор словно был продолжением уже разминавшейся темы.

— А ты хоть знаешь, гений ты наш, что Бетховен твой в последние лет десять, ну, как оглох, с тех пор ничего хорошего и не написал. И его «Девятая» — это уже почти и не музыка, а сплошное безумство. Так, строил что-то по старым привычным образам и подходам, но нового, гениального — нет, не создал. Есть куда более мощные вещи, и вовсе не симфонии, а, напротив, вроде незначительные, совсем короткие. Вот Брюсов, к примеру, вообще не ценил его, говорил, что по нему, что бить в медный таз, что этого Бетховена слушать — все едино.

— Ну и что? — не смутился нисколько Петр. — Мало ли что говорят. Есть предмет разговора — вот что важно. Говорили, что с ним и музыка, например, стала клониться к упадку. Да еще это стало, мол, происходить со времен Моцарта.

Только Нина, как водится, заметила, как напряжен Петр и что его что-то беспокоит. Она вышла из комнаты, надеясь унять собственное волнение, и к ней вскоре присоединился Петр и обнял ее.

— Ну, что ты? Все хорошо!

— Значит, не все, раз ты почувствовал, что мне плохо. И плохо только потому, что плохо тебе.

— Нина, уверяю тебя, нет причин для волнения, идем, неудобно, видишь, как Витька разговорился, так гонобобелем и ходит.

— Опять ты со своим гонобобелем.

— Не опять, а только что, уже лет сто не говорил. Все, не заводись, не буду.

А Виктор, между тем, продолжал:

— Есть в этом волшебстве, в этой, черт ее дери, музыке, нечто такое, что не просто заставляет воспринимать и слушать или, напротив, отвергать, но постоянно соперничать с ней, бороться, протестовать,— Витька говорил об этом предмете так, словно это была вовсе не музыка, а что-то поверх ее, то, что его действительно очень мучило и смущало.— Она совершает с тобой какие-то действия, которые не укладываются в логику смысла. Ты слушаешь и понимаешь, что все уже не так, как еще было совсем недавно, несколько минут назад, скажем. — Было понятно, что Витька так озабочен своими переживаниями, наблюдениями, что это для него не просто слова, но нечто глубоко выстраданное. — И дело не в одной лишь иррациональности, но в чем— то неуловимом и непостижимом. Никакими гаммами и анализом темпа, ритма, интонации не объяснишь, что руководило композитором в тот или иной момент, почему, скажем, в баховских «Фантазиях» есть такое начало, словно двое прислушиваются и примериваются друг к другу, и только спустя какое-то время начинается их разговор, активный и живой. Ну, эта Фантазия и фуга-а-moll. И, знаете, я был чуть ли не разочарован сначала: такое простое и ясное начало этого разговора, эдакая примерка. Как в актерстве — пристройка, что-то вроде этого. Но я не об этом даже. Меня больше всего волнует в музыке это ее удивительное свойство быть всем, заполнять собою все и оставаться при этом все же загадкой.

Возникло молчание, которое никто не решался

прерывать, и только Петр, немного смущаясь, все же сказал:

— Витенька, я даже и не знал, что ты в такие дебри нырнешь. Успокойся, — обратился к другу хозяин дома, — я и сам иной раз не в силах объяснить, что за мысль, то явная, то ускользающая, ведет меня вместе с автором музыки. Ничего не могу понять, но послушно иду вперед. Нет, не иду, а продираюсь сквозь преграды, какие-то закоулки, заводи, трясины, спускаясь на самую глубину и скользя по поверхности.

— А Бах и кофе очень любил и в его защиту даже написал кое-что для своей Анны. Ну, чтобы таких любителейниц не притесняли, — сказала невпопад Аглая, и было понятно, что ей не особенно комфортно в этой обстановке, где привычно общаются люди, но она тоже пытается присоединиться к их общему ладу.

Петя, наконец, ухватил то, что стремился выразить Витька, едва ли не слился с его мыслями и в какое-то мгновение понял важную вещь:

— Наверное, ум, интеллект нам и даны на то, что кто-то способен в чередности и последовательности звуков услышать и извлечь волнующие ощущения, для кого-то, как для твоего Брюсова, — это не более, чем громыхание по тазу. Мозг сорбирует, он отделяет то, на что кто-то способен откликнуться, кто-то — нет.

Он опустил голову и думал о том, что вот опять, вот снова и снова возникает то, что к истинной музыке не имеет никакого отношения, что только нарушает привычный ход вещей, и всё. Все эти рассуждения, споры, доказательства, так ли уж они важны? А, может, создай стерильную обстановку — и будет еще хуже? Ни забот, ни болезней, ни переживаний — ну, ничего этого если не станет, сохранится ли, останется ли музыка и сама возможность творить? Два гения,



Бетховен и Бах, а какая разная судьба! Один — семьянин и отец троих сыновей, другой — без семьи, бесконечно меняет пристанища, однажды даже снимает аж четыре дома из-за своей неуживчивости.

— Есть особое прикосновение, всё в нем, — продолжал Витька, — любое прикосновение: к руке, образу, звуку — не важно. Оно побуждает к чему-то такому, чему и названия-то не сыскать, так, одни ахи, одни междометия. Нисходит на тебя нечто такое, что иногда подобно водопаду, иногда только просачивается отдельными каплями, не переходя в струи. Эта гибкость и природность, отсутствие всякой изобретательности приближает к абсолютному естеству, к самой природе. — Да не смотри на меня так, — кивнул он Петру, — именно тогда рождается Шопен или другой гений, способный услышать в чередке привычного то, от чего отказывается, не может слышать другой. Сопряжение иррационального и вполне материального, человеческого — на этом стыке рождается музыка. Наверное, так, может быть, так, — раздумчиво закончил Виктор, — хотя я не во всем уверен, только всю жизнь пытаюсь разобраться.

Аглая поднялась и сказала, что ей надо уходить. Но было понятно, что причина вдругом, что ее очень взволновал разговор и она хотела бы остаться одна. Скорее всего, так.

— Куда же вы, — поднялась Нина, — нет, нет, у меня еще пирог, не отпустим.

— Ой, я совсем забыла, — засуетилась гостя, — я же вам свой пирог принесла, только он остался в прихожей.

— А, вот оно что, а я-то думаю, что это там вкусно так пахнет! Значит, можно забирать?

— Конечно, конечно, я помогу вам, — забеспокоилась Аглая, и они с Ниной удалились на кухню.

Ночь все увереннее и неотвратимее накрывала город, все вокруг, и казалось, остался только этот их маленький островочек, где можно вот так тихо сидеть и рассуждать о вещах, не вполне понятных, но весьма интригующих и захватывающих. Где логика, ее нить, все стандартные рассуждения меркнут перед неотвратимой силой и властью музыки, которую разложить, разъять на составляющие совершенно невозможно. И, наверное, в этом-то ее прелесть и непознаваемость. Ни музыкант, ни теоретик мира вещей, в том числе и музыки, не смогли найти единственно верную и все исчерпывающую мысль. Единственно возможное объяснение, которое бы сполна раскрыло все то, что имеет отношение к написанию и восприятию музыки. Один только Аристотель с его гениальными прозрениями и жесточайшей убедительностью сумел рассмотреть в этом эфемерном предмете логические и смысловые начала. Все, что потом, мало что изменило и добавило. Музыка на все времена так и осталась загадкой, и сколько бы ни рассуждать о фактах биографии, каких-то необычных случаях в жизни музыканта, вряд ли подберешься к тому, что составляет самый главный и вместе с тем самый зашифрованный слой его внутреннего Я.

Думая таким образом, Петя рассматривал темное вино в своем бокале и представлял, как эти маленькие, совсем незначительные колебания способны на другом пространстве и в других объемах создать совсем восхитительное зрелище, которое не только зрительно, но и на слух являет собой великолепие образов, все тянущихся к музыке. Так шумит море, и кажется, что подступающая, накрывающая волна вот-

вот накроет с головой, но что-то все равно заставляет вслушиваться в игру ее звуков, в колебания их, их протяженность и могущество.

Он посмотрел на Аглаю и заметил, как внимательно наблюдает она за Виктором, и он подумал с удовольствием, как было бы здорово наконец соединить этого своего неуживчивого могиканина— философа с необыкновенной женщиной, почти что феей.

А фея между тем говорила:

— Вы философ, я это чувствую, но хотела бы возразить.

Все напряглись, замолчали, а Аглая была, напротив, наконец, очень раскована и свободна.

— У каждого своя музыка, и она звучит для каждого по-своему. Я, например, не могу жить без звуков вообще, мне нужно, чтобы все было включено: телевизор, вода, лампы и т.д. Но когда я начинаю, пока еще в душе, слышать Моцарта, все звуки застывают, куда-то деваются, я их попросту не слышу. И только он один заполняет пространство. Это бывает и в самолете, и на прогулке, и в шумном городе. Для меня он — воплощение истинной музыки, что с этим делать, даже не знаю.

Она внезапно замолчала, словно испытала неловкость от того, что неожиданно поделилась своей тайной, чем-то очень сокровенным.

— И еще я люблю слушать ее, вы не поверите, в театре. Она там бывает очень нужна. Мне знакомая рассказывала, что ее аспирантка защищала диссертацию, которая называлась «Музыка спектакля». Именно так, без предлога.

И Петя снова подумал, что, наверное, Аглая права, что музыка и сродни поэзии, и помогает спектаклю, и создает образы настроений, формирует атмос-

феру. Но где-то в тайных своих запасниках совершает тот неповторимый таинственный обряд, очищение души, так завораживающе влияет на сознание, что становится ясной простая мысль: понять в ней что-либо почти невозможно, ибо не поддается она расщеплению только наматериальное. Без включения души слушающего ничего вообще не происходит. Только этот второй, только этот соучастник дополняет ее своим восприятием и своим отношением, а значит, и истолкованием. Звуки ведь рождаются у каждого по-разному: кто-то их просто считывает, а кто-то чуть дольше длит, задерживает и получается уже совсем другое, более далекое или близкое тому, о чем писал автор. О чем он пел, что ширилось, таилось в его душе и просилось наружу. Что, так или иначе, составляет вечную неразгаданную тайну, которую во все времена все стараются постичь, но так и не могут. А так хочется!

Принесли пироги, стали угощать, оживились, мысль отвлеклась от великого и остановилась на самом простом: на еде. И разговор тоже поменялся, стал более отрывистым, дробным, все сделалось проще, и все словно заново увидели друг друга: стали говорить о самых простых, самых обыденных вещах. И Витька не раз повторял свою излюбленную фразу: «Жизнь начинается!»

Почему-то Петр и не заметил, как постепенно интерес Витька сосредоточился на Аглае, как они с Ниной вышли, а потом и она куда-то делась, и он остался один. Стоял и смотрел в свое любимое окно и видел одни лишь силуэты, неясные звуки, шорохи, которые одни только и насыщали пространство. И он снова подумал, как много значит для него ночь. Так захотелось оставить всех и выйти в этот сад, чудом сохра-

нившийся в самом центре города. С другой стороны квартиры был совсем другой, менее романтический пейзаж, здесь же природа сохранила данную ей свежесть и незамутненность.

Он так и сделал: тихонько закрыл дверь, спустился вниз и оказался в причудливом мире, где царили не чьи— то проблемы, не бежали озабоченные люди, но где было тихо и спокойно и лишь зажженные окна напоминали о том, что все же и тут живут люди и от этого никуда не деться.

Он прошел вперед, пытаясь вглядываться в темноту ночи. Здесь он знал каждый поворот, каждый изгиб неасфальтированной тропинки. Увидел свое окно, метнувшуюся в нем тень и остановился. «Действительно, как это так получается, что прикосновение, о котором недавно говорил Витька, сродни льющейся воде. Вот ты и видишь, что она есть, ощущаешь ее движение, ее свежесть, но она в каждое мгновение своей жизни столь переменчива и так быстро ускользает, что остановить ее невозможно и запечатлеть хоть какой-то момент тоже. Что-то прекрасное просачивается сквозь пальцы, будоражит воображение, собирает и тут же бисером рассыпает мысли, и остается одно: воспоминание, ощущение о только что испытанном. Разве музыка подчас не напоминает такую же льющуюся воду, с ее журчанием, быстрой сменой ритмов или, напротив, равномерным и скользящим движением? Разве музыка вообще поддается конкретному и внятному описанию? Или она — цепь ассоциаций, помноженных на череду образов, настроений, волнующих и безотчетных?»

Мужчина долго стоял, вглядываясь в темноту наступившей ночи, и, только когда услышал вполне отчетливый человеческий голос, пришел в себя.

— Любуетесь? — спросил кто-то, кто был совсем рядом.

Петя вздрогнул, подумал, что уже, кажется, слышал этот голос, и слегка отпрянул.

— Да вы не бойтесь, я просто прогуливаюсь. Примерно, как и вы, — снова услышал Петр.

— Поздновато, однако, — отозвался Петр.

— Да, не хочется сидеть дома, вот и вышел. Да я частенько здесь прохаживаюсь и вас, кажется, тоже знаю. Вы же из этого дома? — и он указал на Петины окна.

Петя кивнул, но продолжать разговор не захотел. Однако незнакомец и не думал отставать от Петра и пристроился рядом. Так они медленно и шли, не наткнувшись ни на что, поскольку оба хорошо знали дорогу. И все же Петр не удержался:

— А я вас случаем здесь не встречал?

— Не думаю, хотя и проходили мимо, но это было действительно мимо.

Они оказались под одиноким фонарем, и Петр все же успел, хотя и бегло, оценить внешность ночного прохожего. Одет он был весьма странно, в особенности нелепой казалась женская куртка, которая мешком просто висела на худом мужчине. Шапка тоже была кургузая какая-то, не по сезону, а на ногах у него и вовсе были боты. Те самые, что в детстве стояли в ленинградской Петиной квартире у порога тети Жанны. Он и тогда с любопытством поглядывал на них, не вполне понимая их назначения. И вот — на тебе, через сто лет опять те же боты! Как он только умудрился их сохранить? И еще была одна странность. Несмотря на нелепый прикид, речь его, взгляд, сами движения были вполне симпатичными. Казалось, что он выскочил на улицу, прихватив что-то, что попало

под руку, а попало и вовсе не его. Но мужчину все эти детали волновали мало, он не конфузился, не извинялся. Это было его обычное состояние, и одежда была ни при чем. Он настолько казался самодостаточным, что нелепость одежды только усугубляла общее впечатление странности, но не больше.

— Вы что же, частенько здесь прогуливаетесь? — спросил Петр, понимая, однако, что так оно и есть.

— Нет, вы знаете, совсем не часто, но вот же, бывают такие ночи, что невозможно усидеть дома, так и подмывает выскочить в чем угодно, — и он впервые провел рукой по своей куртке, осознавая, верно, как она нехороша, — и посмотреть на небо. В такие ночи видится все что угодно.

— И что же? — иронически спросил Петр.

— Да все, буквально все. Например, можно встретить и своего двойника, и привидение, и услышать несуществующие звуки, к примеру.

— Это какие же? — допытывался Петр.

— Ну, хотя бы музыку, — уверенно подытожил свои высказывания незнакомец. — Вы никогда не слышали ее здесь?

— Видите ли, я ее так много, даже избыточно слышу, что сюда выбираюсь исключительно для тишины.

— Понятно, — протянул ночной человек, а сам почему-то все потирал руки. Это очень напрягло Петра, и он спросил:

— И какая же музыка вам слышится? — спрашивал он так, словно уже предвидел, знал ответ, которого и ждал, и опасался. — Какую музыку?

Тут незнакомец вполне дерзко взглянул на Петра, приблизился вплотную и почти шепотом произнес:

— А скоро сами и услышите. Все впереди, все, —

и он неприятно хохотнул, словно и сам побаивался чего-то.

Все это не только не позабавило Петра, но и неприятно оттолкнуло, ему захотелось уйти, и он уже и сделал шаг, как тут его кто-то тронул за плечо и вполне серьезно спросил:

— Простите, а который теперь час, не знаете?

При этом тот, что в куртке, все стоял поблизости, как показалось Пете, весьма насмешливо наблюдал за происходящим и уходить не собирался. Более того, понятно становилось, что эти двое знакомы. Это было уже слишком.

— Уберите руки, не знаю я, какой час теперь, — дернулся Петр, но вдруг свет выхватил своим неясным лучиком часть лица, и стало понятно, кто перед ним. Петя не испугался, не охнул, не закричал, только сильно сжалось сердце, сжалось и куда-то покатилося.

«Нет, — подумал Петр, — не время, нет, еще столько надо сделать, еще Питер, кладбище, мама, нет, только не теперь, не сразу!» Ему казалось, он кричал громко и пронзительно, но это было только навяждение, некий сбой сознания, когда за реальность можно принять все что угодно, даже самых настоящих призраков. «Да, но только почему голос этот кажется таким знакомым и таким противным? Откуда он?» — стремительно проносилось в Петиной голове мысль, которую удержать, однако, он уже не мог.

И все же сила, огромная, всепоглощающая сила вдруг подняла Петра, встряхнула, и он понесся огромными шагами по направлению к дому. Однако с той разницей, что не убегал, но стремился как можно скорее оказаться у себя в комнате, у своего рояля. Это было крайне важно. Это было самое главное, самое

основное условие его выживания. И он мчался, продираясь сквозь кусты, которых оказалось достаточно много на его пути. Он бежал так быстро, что не заметил, как проскочил подъезд, затем повернулся, дернул дверцу, взлетел на свой этаж, распахнул незапертую дверь и, ничего никому не объясняя, бросился к инструменту. Он даже не успел придвинуть как следует стул, не отер пот со лба, он только впивался взглядом в клавиши, видел их скрытые, почти мистические символы и понимал, что вот сейчас, именно в эту минуту, настало то, что приведет его к самому главному событию в жизни. Он никого не боялся, никого!!! Более того, он точно теперь знал, что уже никто и никогда не займется в его жилище, что если и будет возникать этот тип, то только временами и лишь как напоминание: пусть не забывают, что зло существует, что оно неистребимо, как сама жизнь, и что с ним даже веселее! И это так точно, так отчетливо понял Петя, что ему сделалось легко и свободно, и то, что еще недавно так сдавливало грудь и лишало дыхания, отступило, отошло! Все, свобода, наступила полнейшая, долгожданная свобода! В клинике она только приближалась, еще делала свои робкие, свои осторожные шаги, но теперь!..

Звуки, о которых так впечатляюще говорил недавно Витька, вдруг полились с неожиданной силой и страстью. Той силой, которой — он всегда это ощущал — ему все же не хватало. Страсть клочкотала в его сердце, наполняла все его существо, и ему было совершенно все равно, кто рядом, поймут ли, выслушают ли. Он просто играл. Много, долго, и своего Шопена, и только осваиваемого Бетховена, и даже Шумана, которого исполнял давно. Не останови его, он сыграл бы и этюды Черни, наверное, и все-все, все,

что знал в школе, училище, а затем в консерватории. Прошло неизвестно сколько времени, он ничего не слышал, не знал, кто и что делает: для него времени, этой сущей пустяковины, просто не существовало. Оно исчезло, испарилось, не было его — вот это да, это он знал точно! И еще сквозь стремительно ускользающие и вновь образующиеся звуки он ощущал, что вот теперь, в эти самые мгновения, как раз и наступает та новая, совершенно непостижимая жизнь, к которой он только шел, шел долго и напряженно, теряя и вновь обретая уверенность и знания.

Вывел его из состояния забвения и отрешенности непривычный звук, настойчивый и протяжный. Его он тоже услышал не сразу, но когда Нина приблизилась к нему и что-то тихо шепнула, чего он тоже не расслышал, то звук этот сделался сильным и отчетливым.

«Интересно, что это могло быть? На что это похоже?» — подумал он и в ту же минуту услышал аплодисменты. Его друзья сидели все рядом, не улыбались, ничего не произносили, а только хлопали и смотрели в упор на своего музыканта. А тот откинулся, наконец, на стуле, затем без лишних слов поднялся и вышел в ванную. Уже там он посмотрел на свое изможденное и вместе с тем счастливое лицо, умылся, долго глядел на воду, снова вспоминал Витькины образы про воду и затем отправился в комнату.

Все по-прежнему сидели молча и так же молча наблюдали за своим другом. А он оживился, налил себе бокал вина, залпом выпил и сказал.

— Надо бы позвонить Генриху Ивановичу, пора ехать в Питер. Кажется, я готов.

Первая пришла в себя Нина.

— Но не сейчас же, Петенька, ты будешь звонить? Уже три часа ночи!

— Да, конечно. А что это был за звук? — спросил Петр, вспомнив, что его отвлекло от игры.

— Да соседи приходили, в звонок звонили. А это тебе не звук рояля.

— И что же, ругались?

— Представь себе, нет, к нам просились.

«Все же здорово жить в интеллигентном доме, где все всё понимают!» — подумал Петр и положил на тарелку кусок пирога. Сердце прыгало, но уже не рвалось на части, а как-тотак славно подпрыгивало и словно оповещало о том, что наступает новая эра, вполне осмысленная и замечательная.

Когда все разошлись, причем в полной тишине, без возгласов и похвал, когда Петр и Нина остались одни, то поняли, что ночь полностью завладела миром и не было ни одного уголка, ни одного островочка, где бы ее права были бы нарушены. Она царила, вытворяла все что угодно, предлагала игры с призраками, не сопротивлялась, когда ей поклонялись и делали всевозможные, ей угодные шаги. Но главное заключалось в том, что она могла так одарить и так насытить уверенностью и дать надежду, что сомнений не оставалось: в мире музыки права была только она, ночь!

Они и прежде-то любили бывать в родном городе Петра, а тут наступившая вновь весна так располагала к любви и нежности к нему, что оставалось лишь отдаться своим чувствам и не противиться.

Они много гуляли, ходили просто так, без особенной цели, разглядывали дома и всматривались в окна. Подходили и к бывшему Петиному дому, но постояли, помолчали и не зашли. Было то беспечное состоя-

ние у обоих, которое их не посещало много-много времени. Проходя по любимому Заневскому проспекту, Петя неожиданно обнял жену и забрал ее сумочку.

— Ты же раньше терпеть не мог носить дамские сумочки.

— То дамские, а это твоя, — весело парировал Петр, — пошли в магазин, купим чего-нибудь.

— А чего бы ты хотел?

Петр рассмеялся и сказал, что это у нее нужно спрашивать, чего она бы хотела.

— Да, я бы хотела, — посерьезнела Нина.

— Ну, я весь внимание!

— Я бы хотела, — начала Нина, но почему-то запнулась.

— Говори, моя дорогая, я все исполню.

— Ты шутишь, Петюнь, а я, правда, хочу и не решаюсь.

— Так ты скажешь или я поступаю с тобой, как мавр со своей белокурой супругой.

— Ты что, можешь меня задушить? — поддразнивала в тон мужу Нина.

— А ты разве сомневаешься? — спросил Петр и схватил Нину за шею, держал ее голову и целовал, пока она не задохнулась.

— Ты с ума сошел, я больше не могу, сумасшедший. Ты когда готовиться-то будешь?

— А чего мне готовиться? Я — сплошная готовность. Вот и теперь ты что думаешь, я гуляю, шучу? Нет, я готовлюсь! — воскликнул Петр и снова, уже нежно, обнял жену.

Они шли, шутили и вдруг Нина сказала:

— Ты помнишь, как мы были здесь еще тогда, при маме. Знаешь, что она мне тогда сказала? Тебя не было, мы одни говорили.

— И что же? Нет, не знаю.

— Представляешь, она мне сказала, что ... ой, не могу.

— Нет уж, говори, — настойчиво попросил Петр, — я заинтригован.

— Она сказала... в общем, она сказала, что у меня будет ребенок, но поздно, в тридцать девять лет.

— Так, минуточку, а сейчас нам?..

— А сейчас нам тридцать восемь, на днях, ну почти через десять дней как раз тридцать девять.

Петя приостановился, посмотрел куда-то вдаль и произнес:

— Да, но дело в том, что моя мама никогда не ошибалась. В особенности, если речь шла о датах, числах, сроках. Она точно сказала, когда я поступлю, когда уеду в Москву и, ты удивишься, когда я женюсь. Ошибок не было. Это очень интересно. Ты как, не находишь?

— Интересно. Но все, об этом больше — ни слова, ладно? — попросила Нина.

— Ну что ж, ладно. Завтра съездим к маме, как и договорились.

Было видно, что Петр заметно волновался. Однако подчинился и тему не развивал. И снова сжалось сердце: ну почему, почему все так?! Он и сам толком не мог бы сказать, что именно не так, но все же его заметно стала раскачивать изнутри мысль. Даже еще и не мысль сама, но некое предощущение ее, пока только на уровне чувства, легкой тревоги, чего-тотакое явно нематериального, что совсем не вязалось с Нининым сообщением. Правда, что же плохого в том, что она только что сообщила! Но коснулось, задело что-то. Может, это было сожаление, что поздновато? А может, и вовсе не это, а все разом: и что мамы нет,

и что он так и не остался жить в родном и любимом городе, что, в конце концов, столько упущено времени на все что угодно, кроме воспитания детей? Да, успехи, признание, приход к новому пониманию и новому репертуару, новому осмыслению самой музыки, все так. И все же что-то точило. Понять, объяснить, что же это, он не мог.

Как обычно, изменение его состояния заметила Нина, но ничего не стала говорить, а только взяла под руку и шла и шла, понимая, что все не так просто: и возраст, и болячки, и что-то еще. Это третье и было и мучающим, и одновременно связывающим обоих. Что это?

Оба понимали, что появление того, третьего лица, не забудется и не пройдет бесследно. Но оба по молчаливому согласию не поднимали эту тему, не трогали ее, не бредили. Иногда обоим казалось происшедшее игрой воображения, некой выдумкой сознания. Такой игрой, где есть зло, есть герой, есть псевдогерой и еще есть такой слой, который не отнесешь не к сказке, не к мифу, а только к фантазиям и мистическим превращениям, что время от времени посещают реальность.

И все же они хитрили: ну, не могло все, что случилось с ними, быть только происками воображения! Ведь не один только Петр погрузился во все эти превращения, но и другие персонажи и прежде всего Нина! И так и осталось горьким осадком воспоминание о той встрече, когда прямо перед ним шла она с тем типом, склонив голову ему на плечо. Не мог, не мог, даже, если бы и сильно желал.

Он подумал еще, что беременным нельзя посещать кладбища. Но осекся: Нина только обмолвилась о возможности, она же еще не в положении! И они отпра-

вились поклониться Петиной маме. Там было тихо, как и водится в этих местах. Но могила выглядела прибранной, не запущенной, благо он поручал смотрителю следить и ухаживать за ней. Тот как раз был на месте.

— Ну, здравствуйте, Иван Трофимыч! Что, в порядке ли все?

— Да, здравия желаю, — поклонился на старый манер пожилой человек и даже снял с головы шапку. А шапка, надо сказать, была престранная: часть полу-вязаная, а вторая половина из какой-то серой ткани. Был и козырек, но она не походила на кепку, а почему-то именно на шапку, наверное, из-за своих довольно внушительных объемов. Петя стоял и вспоминал, кого ему напоминает этот человек, на кого похож? И понял, что этот почти уже старый человек напоминал ему Баха, того, каким он предстает на всех хрестоматийных изображениях. Никто так и не видел его подлинный образ, прическу, а все запомнили парик, гладкое круглое лицо и вообще торжественность вида. Хотя на самом деле, по воспоминаниям современников, он вовсе не был таким в реальной мирской жизни: любил и выпить, и потанцевать, и громко посмеяться, пошутить. Но образ запечатлелся на века, и никуда от этого не деться: композитор с бакенбардами, недоступный и отстраненный от глупостей действительности.

Вот и в этом человеке одновременно прочитывались важность и чувство достоинства, выраженные и в осанке, в фигуре, манере говорить, общаться. И в то же время — простота и спокойствие, которые свойственны очень редким людям. И совсем неважно при этом, где они трудятся, кем стали, во что одеты: так они самодостаточны.

— Что скажете, как ваши-то дела?

— Все хорошо, слава Богу, трудимся, — коротко ответил человек в шапке, и все отправились к могиле.

Это он, совсем еще маленький, бежит по ленинградскому дворику, и его подхватывает мужчина, который часто, очень часто является то во сне, то в момент, когда он сидит за роялем и что-то исполняет. Этот здоровенный дяденька в течение всей жизни то появляется, то на время исчезает, но никуда не пропадает навсегда. И это особенно занимало всегда музыканта, поскольку разгадки так и не последовало во всю его жизнь. Однажды он спросил мать, кто это его подхватывает в их дворе и кружит и кружит? Но мама тогда ответила, что это мог быть сосед, да и просто прохожий, да мало ли кто! Словом, как понял уже тогда маленький мальчишка, она уходила от ответа, не хотела говорить об этом. Но ведь был же отец, был, он точно знал это! И о нем мама отзывалась хорошо, он тоже это помнил. И ранняя его смерть только прибавила хлопот и трудностей в их с мамой жизни, но ничего худого об этом человеке он не слышал от нее.

Так кто же, кто был этот, другой? И почему его образ время от времени настигает Петра и все возвращает в детство?

Вот, снова он бежит, и его подхватывают чьи-то сильные руки. Он посмотрел на идущего чуть позади Ивана Тимофеевича и отметил, что есть какое-то сходство с давним образом того человека, чьи руки он не мог забыть. И вдруг ошеломительная догадка пронзила, словно стрела: не мог ли быть этот кладбищенский служитель со странной шапкой на голове тем мужчиной с сильными руками? И он решился.



— Скажите, Иван Тимофеевич, а вы всю жизнь в Питере? И все при этой работе?

И удивился снова. Мужчина помолчал, даже, как показалось Петру, слегка отодвинулся, отошел от него, опустив голову, помял свой головной убор, а потом прямо взглянул на него, снял почему-то свою шапку и ответил:

— Отчего же всю жизнь? Не всю как раз. Служил, да что там, давно уже, — не закончил он свою мысль.

— Скажите, — уж не сердитесь, прошу вас — а вы никогда не жили на Казанской?

— На Казанской не жил, но в тех краях бывал, что верно, то верно.

— Скажите, прошу вас..., — Петр не успел закончить, как странный мужчина перебил его:

— Знаю, о чем вы, понимаю. Сколько лет прошло, чего уж. Да и вряд ли нужно об этом, — не стал развивать свою мысль человек в шапке.

— А я что-то начинаю понимать. Да, мне кажется, что-то понимаю, — неуверенно продолжил Петр, в то время пока Нина с банкой ходила за водой.

— Не станем нарушать то, что установилось, чего и не изменить, — уклончиво сказал Иван Тимофеевич. И по тому, как он говорил, как строил фразу, Петр еще больше стал утверждаться в мысли, что не всю жизнь этот человек был привязан к этому скорбному месту, что его догадка, его пронзительная мысль, неожиданно возникающая, имеет основания. Неспроста этот человек столько лет так преданно ухаживает за могилой его матери! Стало быть — и тут он впервые обратил пристальное внимание на руки человека — именно он, именно этот мужчина подхватывал его давно-давно, и именно он имел отношение к его мате-

ри, о чем она никогда не говорила. И он, он тоже молчал столько лет!

— Может быть, может..., — задумчиво отозвался Петр, понимая, что ничего большего он не узнает никогда: не расколется этот человек, ничего не скажет сверх того, о чем можно только догадываться.

— Живите спокойно, Петр Теодорович, ни о чем не печальтесь, я все сделаю, за могилкой ухаживаю, каждый день здесь бываю.

— Спасибо, я все понимаю, благодарю вас. Только знайте, я тоже кое о чем догадываюсь, я начинаю что-то понимать, что не давало покоя, мучило столько лет!

Он приблизился к мужчине в шапке, которую успел нахлобучить на голову, протянул руку и спросил:

— А на концерт ко мне пришли бы?

Тот ответил не сразу, вопрос явно застал его врасплох.

— А стоит что-то менять? Может, не будем нарушать порядок? Он уже столько лет здесь, — и он обвел рукой пространство вокруг, — я здесь, и место мое здесь, не обессудьте.

— Значит, вы меня помните? — не удержался Петр.

— Я много чего помню, — снова уклончиво ответил Иван Тимофеевич.

— Ладно, я понял. Только последний вопрос, не откажите. Вы кем были, ну, раньше, в другой жизни?

— Почему был? Я и есть, и буду. А в смысле служил кем? — так какая уже разница? — так и не ответил человек в шапке, которую снова снял, слегка склонился в поклоне, и было понятно, что он прощается.

Нина взглянула на мужа и ничего не спросила. Они молча постояли у могилы, затем медленно стали приближаться к выходу, и оба думали о непредсказуемости многих поступков, ситуаций. Кто, например,

мог бы предположить, что служащий кладбища окажется тем давним персонажем почти из снов, почти из давней детской сказки, который время от времени появлялся как фантастический образ, как нереальность.

— Ну, что, летаешь? — спросила Нина, давно не говорившая с мужем на привычном их языке: то проблемы, то внедрение в их жизнь непонятно кого, то болезни. Словом, не до шуток все было.

Теперь же полегчало, отпустило, теперь просто настала та пора, которая чем— то напоминала давно прошедшее время молодости, их первых встреч, любви.

Петр не раз задавался вопросом, а была ли у него Нина его главной, его единственной любовью? С годами стерлась острота, стало казаться, что они жили так всегда, чуть ли не с детства, что она из любимой женщины давно превратилась в подругу, маму, сестру, еще кого-то. Но вот эти дни вернули в прошлое, и стало совсем понятно: любовь никуда не делась, все по-прежнему живо и по-прежнему напоминает о себе.

Приближалось время концерта, и Петя заметно волновался. Это выражалось в явной потребности в уединении, молчании, отказе от частых прогулок. Но все равно они выходили в город из своего отеля, бывали в кафе, заходили в любимый Русский музей. Они все равно впитывали в себя город Петиного детства, любимый и дорогой.

Он успел позвонить своему доктору, спросить, сумели ли они положить парня из Горно-Алтайска, сына водителя Василия, с которым он, как и обещал, держал связь. Просто пришлось подождать с очередностью, и все же мальчишку положили, не дожидаясь зимы, официальной очереди. И доктор спросил, все ли у Петра в порядке. Они и раньше созванивались, и

было понятно, что связь эта не прервется, как бы ни чувствовал себя пациент, что связало их нечто большее, чем просто формальное общение.

— Есть жалобы, Петр Теодорович? — спросил доктор.

— Есть, дорогой Антон Иванович. Я бы сказал так: жалобы не на самочувствие даже, а на плохое собственное поведение. Вот, жду концерта, боюсь.

— Что, именно боитесь?

— Нет, конечно, но ужасно волнуюсь: программа новая, опробована в известном вам сибирском городе, а там куда как доброжелательнее публика.

— Знаете, я вот что скажу, — как всегда с подходцем начал Антон Иванович.— Я и тогда заметил, как вы любите ночное время, так? Не усердствуйте, но употребите это время не на репетиции, а просто на прогулки. Если не спится, конечно. А у вас были в этом плане проблемы. Может, и не проблемы, а сложившийся ваш индивидуальный ритм, образ жизни. Так?

— Так, дорогой доктор! — весело откликнулся Петр на пространную речь врача.— Я гуляю, все же мой город. И ночью частенько, в особенности, когда не могу заснуть.

— Препараты, как, принимаете?

— Что вы, какие препараты! И сплю, и репетирую, только волнение донимает, не более того. Чувствую себя превосходно! И вам того желаю, — заключил Петр.

Он вышел в последнюю ночь перед концертом в город, пошел напрямик к своему старому дому, постоял у парадной, увидел свет на кухне и подумал о далеком детстве. Вспомнил Искру, самую в ту пору молодую жиличку, которая обожала читать на кух-

не, не обращая внимания ни на Жанну, ни на загорающиеся порой перепалки. Она, наверное, и теперь по-прежнему сидит там же и всё читает. Но уже в очках, уже седая, уже старенькая. Но увидеть, что творится на третьем этаже, было невозможно, и он все стоял и думал о детстве, о маме, об их комнате, которую так и отдал семье тети Жанны и своему другу, когда умерла мама, а сам он давно жил в Москве. Можно было бы и зайти, конечно, пусть и не сейчас, потом. Но что-то смущало, не позволяло это сделать. Может быть, та самая память, которая словно настаивала на нетронутости и незамутненности воспоминаний. «Что ж, пусть все так и остается», — решил Петя и повернулся, чтобы уходить.

И тут его руки кто-то коснулся, он приостановился и увидел прямо перед собой человека, который смотрел на Петра и довольно крепко держал за рукав.

— Небось, забыли? — спросил он, нисколько не смущаясь.

— Вы, простите, кто? — задал вопрос Петр.

— Я?? — удивился ночной мужчина. — Короткая же у вас память, скажу я вам. Неужели не помните?

— Нет, — и Петя хотел освободиться от навязчивого человека.

— И выстрелы не помните, и садовника? И всю беготню, и цветы там? Что, совсем ничегошеньки? Так не бывает, вам же не кастрировали вашу память, — хохотнул мужчина. — А того полицейского, ну, толстяка того неужели не помните? А мне казалось, что в больнице вам уж всё восстановили, всё, включая и те дни. Да не бойтесь, никакая тут не чертовщина, всё было и было по правде. Не припоминаете?

Петр уже резко дернул руку, даже послышался характерный звук треснувшей ткани, с негодованием

посмотрел на ночного человека и весьма нелюбезно сказал:

— Проваливай, дружище или кто ты там, — сказал он довольно грубо, — ничего не помню и помнить не желаю!

Он быстро-быстро пошел вдоль узкой улицы и не оглянулся ни разу, хотя понимал, что дядька смотрит на него и не уходит. И еще подумал о том, как же часто встречаются ему всякие странные граждане. Еще зимой, перед встречей в кафе с Витькой, вот так же попался похожий странник. Точно, еще бумажку ему протянул, сказал, что пригодится. «Кто они, что им нужно в моей жизни? И что с таким постоянством они все появляются, все возникают? — возмущался Петр, приближаясь к своему отелю. — Кстати, что там было, в этой бумажке?» Он припомнил, что сохранил ее среди прочих записок, и решил, что непременно прочитает, когда вернется домой.

А ночь все преподносила свои сюрпризы, все выставляла напоказ то, что днем, при ясном солнечном свете было сокрыто. То она насмеялась, уготовив ему встречу еще с одним странником, то проявляла добрый и кроткий нрав, затихая и затаиваясь и раскрывая свои объятия. По улицам хотя и бродили люди, и даже местами весьма громко, но общее ощущение от встречи с ней, от ее прихода было спокойное и нежное. То ли любовь к этому чудному городу делала свое дело, то ли, и правда, неожиданная, непостижимая глубина и трепетность этой поры суток так воздействовала, что не оставалось сомнений: она так приготовит его, так поспособствует его настрою, что он просто не сможет сыграть плохо. Она наполняла его уверенностью и теплом, и он постепенно перестал думать о всяких огорчениях, дурных знаках и встречах

и только настраивался на самое главное: на встречу с музыкой в родных своих краях. И даже не особенно томился мыслью, как его примет зритель— он скорее думал о том, прав ли он, не ошибся ли в своем выборе и в умении выстоять, донести эту музыку. Он уже не размышлял ни о биографии композитора, ни о его причудах и жизненном пути, он даже не сокрушался по поводу точности или некоторой неполноты репертуара. Нет, он думал о том, что было в этом городе когда-то, в ту пору, когда он только учился, и как собирался ехать поступать. И не попал с первого раза, пошел в театральный, пробыл там годик, но вторая попытка увенчалась успехом. И он учился так истово, так был предан своему замечательному месту в самом центре Москвы, так благоговейно вслушивался во все то, о чем говорили педагоги, что все это, помноженное на талант и упорство, сделало свое: он стал не просто хорошим, известным музыкантом. Он стал замечательным толкователем весьма известного репертуара, он всегда по-новому осмысливал то, что казалось давно изведанным и понятным. И мысли не были хаотичными, они словно следовали одна за другой, не попеременно, не бегом, а стройно и убедительно раскрывали ему картину прошлого, предлагая вполне отчетливые наметки на будущее. Та давняя фраза Нины: «Что, снова летаешь?» обрела совсем иное наполнение. Если он и летал, то не в странном пространстве неясных символов и звуков, но в четко очерченном, выверенном ночном соединении неба и земли, реальности и полета мечты. Он шел, вспоминал, настраивался, но не было беспокойства и напряжения, которые, наконец, покинули его, оставив царить в прекрасном, им горячо любимом месте. Оно вскормило, оно так настраивало Петра на самые замечательные,

самые возвышенные чувства и побуждения, что не ответить взаимностью городу, месту своего рождения он не мог. Здесь оставался прах матери, которой, как выяснилось, многие годы был предан человек, круживший его давно, в детстве, мужчина с большими сильными руками. Именно его он частенько видел, играя, репетируя, именно этот образ на долгие годы завладел его воображением. Теперь, наконец, все разъяснилось.

И ему стало казаться, что те непонятные вещи, с которыми он столкнулся в течение последнего года, окажутся понятными, им найдется и истолкование, и будет понята причина: зачем они, зачем вторглись в его жизнь, почему возникли? Не просто же так! А зачем-то! Отчасти он уже многое понял, осталось совсем немного, и будут закольцованы все связи, все поступки, все побудительные мотивы, все то, наконец, чему не находилось объяснения долго-долго.

На другой день он ехал на концерт с Ниной и верным Генрихом Ивановичем в полной убежденности, что только так и стоило поступать. И пережить все то, что свалилось, — стоило!

Он даже не стал спрашивать, как там зал, много ли народа, а так же уверенно вышел, поклонился и сел. Не ерзал, не приспособлялся, а лишь выдохнул и поднял руки. И случилось то, что и должно было случиться, чего он так долго, так мучительно ждал. Началась его музыка. Была она и простой и ясной, и одновременно неимоверно скорбной, мучительной, страдающей. И он взывал к чему-то, таящемуся глубоко в нем самом, в этом огромной мире, в его жене, в людях, которые пришли, чтобы разделить с ним его глубокую скорбь и радость по случаю рождения и пиршества его музыки.

Все было его: этот зал, рояль, публика, его любимая, его, в конце концов, музыка, которая сотворила такое, что казалось временами, он и не причастен к происходящему нисколько, что все это таинство совершается само собой, без всякого усилия и напряжения. Она просто парила высоко под сводами прекрасного зала, и в полнейшей тишине совершался акт приобщения человека к множеству еще многих и многих людей. И такое соборование сделало свое дело: постояв в молчании какое-то время, выслушав зал и своего музыканта, музыка вырвалась из отведенных ей пространств и границ, и ее было уже не удержать. Она стремительно уносилась в неведомый, отнюдь не реальный мир, где могли существовать только преданность и величайшая нежность. Все другое было опрокинуто, смято, ничего другого просто не существовало, царил только одна она, и ее имя для каждого слушающего было, словно великая вечная тайна, открыть которую никому не под силу. Да и вряд ли нужно, наверное.

Петр не видел зала, отдельных людей, только понимал, что к нему подходят, вручают букеты, что-то говорят, но все сливается в единый общий поток, когда не разобрать слов, реплик, возгласов. И только один человек вдруг оказался так близко и был он так высок, что не увидеть его было невозможно. Он подошел совсем близко к рампе, протянул довольно скромный букетик, склонил небольшую, чем-то намазанную голову с редкими волосами, улыбнулся и кивнул:

— Счастья вам. Однако вы изменились, — заметил он, на что-то явно намекая, — не помните? Меня, сад, полицейского? Ну, как же! А ваша жена, она как, ничего? Всего хорошего! Восхищен! А вот и мой друг, — он указал на стоящего рядом человека, довольно плот-

ного телосложения, с палкой почему-то в руке и тоже улыбающегося.

— И я, я тоже восхищен, уважаемый. Вы уж извините, давно это было, сразу тогда и не признал вас. А вы... вон вы какой! — запинаясь, произнес странный персонаж, что-то напомнивший Петру. Или кого-то. Но он был так взволнован, так вовлечен в процесс, который для него еще не закончился, что понимал, что происходит нечто странное, замысловатое. И все же не все его существо способно было откликнуться на людей, говорящих не только привычные слова благодарности и восхищения, но еще напоминающие о событиях, которые напрочь стерлись из памяти музыканта. Однако что-то неприятное все же всплывало в памяти, задевая своей странностью, тусклым светом и, главное, тем, что во всем, о чем говорили эти люди, был неприятный осадок чего-то давно прошедшего, но того, что больно задело музыканта.

Он только говорил «спасибо», не пытаясь проникнуть в те тайны, на которые намекали подошедшие. Они были явно знакомы, держались вместе и так же отошли рядом, чуть ли не взявшись за руки.

Уже потом, в гостинице, Петр снова вспомнил неприятный эпизод, подошел к цветам, сразу увидел именно те, которые подарила странная парочка, взял их в руки и неожиданно для себя услышал: « Не все проходит, и не все так, как говаривал Соломон. Что-то остается. Не так ли?» И все. Все стихло, никого рядом не было, Петр специально повернулся и проверил это. Действительно, никого.

Это очень омрачило состояние счастья и радости после концерта, и он в очередной раз подумал, как странно все устроено в жизни: огромное, небывалое упоение этой радостью, парение надо всем и вся, и

совсем рядом, ну, буквально следом то, что противоречит этой радости и не дает успокоения.

И так во всем: не успеешь еще насладиться тем возвышенным, тем восторгом, который накрывает и захлестывает, как что-то серое тут как тут! Словно напоминает, как все брэнно и недолговечно, как способно испариться столь же быстро, как и появиться в жизни. И он вспомнил, как давно, в этом же городе, он возвращался однажды с занятий, где играл так хорошо, так замечательно, что учительница не просто похвалила, но посадила рядом, посмотрела, полистала зачем-то его ноты и сказала: «Ты только слушай себя, всегда вслушивайся в то, что есть внутри тебя. А там всегда есть нечто такое, что подскажет тебе: прав ты или нет. Не знаю, понимаешь ли ты меня, но пока просто запомни, что я говорю, может, пригодится. И не бойся идти и идти. Не бойся перемен. Китайцы говорят: кто не боится перемен, не боится ничего».

А он? Он боится или...? Вот именно, все дело в этом «или». Всегда оно не давало той полнейшей гармонии и уверенности, которые одни только и способны дать упоение от жизни, от процесса игры, от постижения музыки, наконец. Всегда существовал этот крошечный зазор, который часто становился помехой. То это было сомнение в себе, то в ситуации, то в близком человеке, то в выборе репертуара, то просто-напросто в правильности жизненного пути. Всегда, всегда что-то мешало. Другое дело, что зазор этот со временем становился все меньше, а в последний период и вовсе как будто стал улетучиваться, испаряться. Но вот, надо же, все же и теперь дал о себе знать!

Петр непрестанно думал, откуда, из каких нелепостей жизни возникли эти персонажи: полицейский

и садовник. И последний был так высок, и голова его была так мала, что он невольно припомнил теорию Аглаи о звуках голоса, их тембре, высоте. Удивительно, как права она была: голос у высокого был, и правда, писклявый и точно такой же тонкий, как и сам его обладатель. Это были те двое, которые пытались справиться с происшествием в доме, затем в саду у гада Фредерика. Вспомнил активность толстяка-полицейского, странно согнутую фигуру садовника и вообще все вспомнил! Надо же, какими извилистыми тропами пробирается мысль, сама память к прошедшему! Его даже позабавило то, что в той ситуации он был беспомощен и почти мертв, а вот, надо же, припомнилось! И как они возникли снова?

Он не знал, стоит ли говорить об этом Нине, но что-то останавливало его от признания. А уже в Москве он и вовсе стал забывать об этой встрече. Планировал с Генрихом Ивановичем гастроли дальнейшие, строил планы, и все учил, учил и думал. И вот еще, пожалуй, что: он стал успокаиваться и едва ли не с усмешкой относиться к событиям, которые прежде бы, несомненно, взволновали бы его и вывели из себя. Он по-прежнему читал все, что ему попадалось о Бахе и Бетховене, приходя снова и снова к мысли о том, как по-разному жили эти два великана. И не мог бы ответить, чья позиция, образ жизни был для него более привлекателен. Временами ему казалось предпочтительным путь могиканина в пудреном парике; иногда склонялся к тому, что неистовый и непримиримый автор «Девятой симфонии» более понятен и близок. Но это так, именно временами. Любил обоих, и это было самое важное.

Уже прошла осень, уже надвигалась зима, и он готовился к поездке в Германию. Это было тем более

показательно, учитывая начало, путь своих любимцев. Тех авторов, к которым пришел, к которым шел долгой-долгой дорогой. Казалось, ничего не омрачало существования, семейного в том числе. Нина уже не сокрушалась по поводу своей несостоявшейся профессиональной судьбы: ее в последнее время особенно стала занимать та, почти домашняя работа, к которой она время от времени и прежде обращалась: вышивка, шитье, вязание. И настал зимний день, уже почти в самом конце зимы, 25 февраля, когда ей исполнилось 39 лет. И она с удовольствием отдавала все свободное время этому мирному занятию. Не роптала, не требовала к себе особого внимания, а вот таким образом заполняла досуг, чем повергала Петра в недоуменное состояние. Он и вправду не мог понять до конца, как это она отказалась от прежних амбиций и спокойно перешла на какой-то новый режим жизни. Более того, он не раздражал ее, скорее, напротив, радовал.

Он иногда размышлял над этим новым ее состоянием и тоже не находил ничего противоестественного в том, что жена знаменитого музыканта так довольна тем, что проводит время дома и что делает замечательные вещи. По крайней мере, их дом совсем преобразился, появились другие занавески, скатерть, салфетки, детали, которые делали жилье не похожим ни на чье другое: так оно было индивидуально. Петр стал гордиться тем, что в их доме появился особый колорит, что это отметили приходившие к ним Витька с Аглаей, которые явились именно вдвоем, и это уже не вызывало вопросов.

«Надо же, — думал Петр, — вот и у Витьки, скорей всего, что-то кардинально стало в жизни меняться. Так и надо. Уж не говоря об Аглае. Ей это совершенно

необходимо. Что она все одна, родственники за тридевять земель. И это не образ какой-то, а самая истинная правда. Всё выстраивается; жизнь, как говорит сам Витька, начинает налаживаться. Впрочем, эта его любимая присказка была у него в ходу всегда, даже когда эта самая жизнь совсем и не собиралась налаживаться».

Он на сей раз один, без Нины съездил в Германию, вернулся очень скоро, обеспокоенный ее не очень хорошим самочувствием. И снова был обрадован: ее нынешний образ жизни все укреплялся и все больше был по душе обоим.

И все же эта благостность и спокойствие только на время успокаивали Петра. Он уже давно понял, что без участия какого-то дополнительного импульса внутри него, какого-то звоночка, который то позванивает вполне мирно, то звенит не переставая, то тембром своим порой напоминает звук огромного колокола, что находится или совсем далеко, или где-то рядом. И он в конце концов стал смиряться: ну что бунтовать против того, чего изменить никак невозможно, что составляет, быть может, самый смысл его профессии, его творческого настроения, того самого духа, что только и способен одухотворенно постигать его музыку. Эта внутренняя борьба, игра страстей, призраки синей ночи, которые время от времени вклиниваются в его жизнь, — все это неотъемлемая ее часть. Быть может, самая что ни на есть закономерность. Но именно его, а не общая, не для всех. И это понимание тоже начинало успокаивать. Во всяком случае, уже не представлять какой-то внутренней, иногда мучительной угрозы. Он стал принимать многое из того, что доставляло страдание, приводило к мучительным

размышлениям по поводу правоты и закономерности. Теперь с этим стало полегче.

Где-то весной, в середине апреля Нина неожиданно отправилась по делам, как она сказала, и вернулась поздно. Такого не было давненько. Петр все больше привыкал видеть ее дома, за работой, слушающей его игру или погруженной в свои мысли. Петр и не стремился откупорить эту вечно полузакрытую раковину: он верил, что ей так нужно, что ей и ему так комфортно. Но вот, забеспокоился.

— Что ты поздно так? Я волновался, — приговаривал Петр, помогая ей снять пальто. — Где ты была? Или не скажешь? — пытался улыбнуться он.

Нина молча поддавалась его ловким движениям, обула свои мягкие тапочки, потом выпрямилась и так же молча прошла в комнату. Это было совсем против правил, правил, что установились довольно давно. Встревоженный Петр направился следом. Сели, Нина не смотрела на мужа и отчего-то по-прежнему молчала. Тогда он сел совсем рядом, совсем близко, взял ее за руку и заглянул в лицо:

— Что-то случилось? Если не хочешь, не говори.

Она не отвечала, только отняла руку и попыталась встать. Однако Петр не дал ей понять и уже настойчиво спросил, что с ней. Нина смотрела в окно, что-то свое там разглядывала, и Петр все больше убеждался в том, что и вправду что-то случилось.

— Нина, дорогая моя, не томи, я же все, все понимаю и все пойму. Ты слышишь меня?

Она взглянула, наконец, на мужа и провела рукой по пуговицам на рубашке, потянула за одну, та поддалась и оказалась в ее руке.

— Ну вот, видишь, это я не проследила, — прокомментировала она, по-прежнему уходя от ответа.

— Нет уж, не хитри, моя милая. Говори. Я слушаю.

— Да ничего, все нормально. Который теперь час? — спросила она.

— Да, это как раз очень кстати. Еще спроси, какой год на дворе, что за время вообще, да и лет тебе сколько.

Нину это замечание особенно взволновало.

— Да, вот именно, знаешь, сколько мне лет?

— Два месяца назад исполнилось тридцать девять. И что?

— Да так, вспомнила.

— Нина, что ты молчишь? О чем ты молчишь? Я же вижу!

Она, наконец, обернулась к мужу и спокойно сказала:

— Точно, столько мне лет. И этот год будет, скорей всего, не простым.

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, Петюнь, какой ты смешной! Я думала, ты все помнишь!

— Да что я должен помнить? Говори! — уже не на шутку раздосадовался Петр.

— Слушаюсь. Неужели, правда, не помнишь? — попробовала увильнуть она снова.

— Нина, не томи, я слушаю.

— Говорю. Нет, закрой сначала глаза.

— Хорошо, уже закрыл. Ты же не платье мерить собралась. Это когда тряпочки — я готов. Все, молчу, молчу, закрыл. Вот, даже руками закрыл.

— Петюнь, в конце осени у нас кто-то родится. И мне тридцать девять лет.

Петр отвел руки от глаз, уставился на жену и так



и сидел, чуть ли не открыв рот. Потом встал, затем снова сел и обнял жену. Оба молчали.

И еще неизвестно, как долго бы продлилось странное поведение Петра, но раздался звонок, который вывел его из оцепенения.

Принесли заказное письмо. Обычно, наверное, так и не делали на почте, но у них было доброе соглашение о том, что все извещения, пакеты, даже и бандероли приносит почтальон. Петя оправился от шока, вышел к двери, только удивился, что ж это так поздно. На что почтальонша ответила, что заходит уже в третий раз, музыку слышит, но никто не открывает. Вот она и решилась на поздний визит. И правильно сделала, учитывая содержимое пакета.

А было в нем письмо весьма необычного свойства: «Милостивый государь! (Да, именно так, не больше, ни меньше!)

Уважаемый Петр Теодорович!

Позвольте пригласить Вас и Вашу супругу на таинство причастия, которое состоится в ближайшие выходные, а именно в день 5 мая с.г., в церкви Святой Натальи, что на Ярославском шоссе, в 14 часов по московскому времени.

Желательно иметь при себе некий предмет, который останется в церкви впоследствии, а также небольшую сумму денег. Последнее, впрочем, необязательно.

С выражением искренней любви и пожеланиями благочестия, добра и радости,

Ваш верный друг Иероним».

Стояла и дата, впрочем; но была на ней то ли пометка, то ли специально она была невнятно написана, только виделся месяц — май, и что-то, похожее на пятое число. Вот это-то число и было едва ли не зачеркнуто. Почему — неизвестно.

Оба прочитали послание, искренне удивились его содержанию, но решили, однако, что ничего нехорошего оно не содержит, более того, соотносится с радостью сегодняшнего дня вообще. И подумали, что у них есть еще целых две недели и все можно будет обдумать. Смущало, понятное дело, одно: на такие посещения не бывает не то что приглашений, вообще ничего. Человек, как водится, идет сам и сам определяет, когда это ему лучше сделать. Да, это было против всех правил, но тоже вроде бы ничего неприятного не таило.

И тут Петр вспомнил, что еще в Питере, еще полгода почти назад он повстречал ночью странного вида мужичка. Более того, ему показалось, что он его когда-то уже видел, и даже казалось, что помнил, когда именно. А было это в тот день, когда он шел на встречу с Витькой. Тогдашний дядька был тоже весьма странен и вручил ему записку с наставлением, что она, мол, когда-то и пригодится. И именно теперь Петр припомнил и человека, и ту давнюю записку. Оставалось только найти ее и прочитать. Да и целая ли она еще?

Он порылся у себя в ящике письменного стола, ничего не обнаружил, затем почему-то заглянул под салфетку, куда они иногда складывали счета, другие разные бумажки, и действительно обнаружил там некий клочок бумаги. Однако что-то мешало ему раскрыть его и прочитать. Тягостное чувство, связанное с возможным содержанием не самого приятного свойства, удерживало Петра. И он решил поступить следующим образом. Отложить до времени записку, не раскрывая ее, не читая, а так и оставить на прежнем месте. «Может, потом, может, не сегодня», — думал

Петя, испытывая неловкость за свое промедление, но все же не решаясь раскрыть листочек.

«Вот еще, и пришла поздно, и только сумятицу внесла. Ох, уж эти службы, все там не так, как следовало бы!» — подумал он, но Нина отвлекла его, наконец, позвав на поздний ужин.

Оба они, так любящие ночь, когда угасают привычные звуки, уходит взбудораженность и раздражение дня, успокаивались в эту пору совершенно, тревоги и сложности отступали, и казалось, что все в мире слаженно и хорошо. А что, так и было, наверное, если не считать большим какие-то мелочи!

Настало утро пятого мая, и оба они отправились на Ярославское шоссе в церковь Святой Натальи. И снова какое-то тревожное чувство не отпускало Петра, хотя и виду он старался не подавать. У входа храм со стороны дворика, чуть поодаль от крыльца они заметили фигуру человека в черном одеянии, который явно кого-то ожидал. Они подошли поближе — и человек живо повернулся, назвал свое имя и пригласил внутрь, добавив, что он их и ожидал. Причем, попросил пройти с ним именно Петра, а Нине кивнул, сказав при этом, что она, если сама захочет, может подойти потом.

Когда они остались одни в маленьком помещении, Петр почти успокоился: так приветлив был мужчина и так уютно было в комнате. Он уже не так скованно чувствовал себя на сидении стула, а вытянул немного вперед ноги и приготовился слушать. Однако все пошло совсем в другом направлении. Именно его отец Иероним попросил говорить, ничего не боясь и ничего не стесняясь.

— Вот уж не думал, что начинать мне, — отозвался Петр, — мне казалось, что вы сами станете говорить.

— Я только одно скажу, ну, чтобы вам легче было. Все же вы пришли, хотя понимаете, что на подобное не приглашают. Что же вас побудило это сделать?

— Что? — замялся Петр, — сам не знаю, быть может, странный характер письма, его архаический стиль. А еще, наверное, мне и самому уже давно хотелось сказать о себе, о жизни, о поступках. Но все не смел, не был готов.

— Ну вот, видите, теперь можно и поговорить. Я только одно спрошу, можно?

— Что вы, как иначе? Я даже и не знаю, с чего начать. Помогите, — улыбнулся Петр.

— Я не стану вас спрашивать напрямую о вере, о вашем отношении, мне это более или менее известно. А вот скажите, что, на ваш взгляд, грех? И сами сколь греховны?

— Грех? Трудно так сразу, — начал размышлять Петр, — наверное, это то, что противоречит твоим же представлениям о добре и зле. И ты все равно делаешь то, что не следует. Вольно или невольно.

— И не ждите, что я стану соглашаться или, наоборот, спорить. Это ваше представление, ваши мысли. Тут иное важно: само ваше слово, причем, осознанное и выстраданное. Кстати, что более всего в последнее время заставило вас страдать? — очень проникновенно спросил мужчина в черном одеянии.

— Неуверенность в правоте своей. Да, наверное, — подтвердил свои слова Петр, — делаю, а сам не всегда знаю, так ли делаю, как нужно. И еще очень мучает одно: что это за существо все появлялось и появлялось в моей жизни? Зачем это, вы не знаете? Тот человек, который домогался моей жены. Потом то ли он убивал, то ли я. Уже и не знаю. Все эти странные превращения то в пространстве, то во времени, то свя-

занные с чувствами. Я думал, уже потерял свою жену. И хотя одно из предназначений мне понятно, я понял, к чему он клонил и что я делал не так, но все равно остались вопросы. Грех мой в том, отец Иероним, что я желал его гибели. Смерти. И при том, что сделать это хотел я сам.

— А теперь? — чуть помедлив, задал вопрос священник.

— Теперь реже, почти и не бывает. Я перестроил многое, многое понял.

— И что же? — повторил вопрос молодой батюшка.

Было очевидно, что оба словно примериваются друг к другу, словно прощупывают, хотя и стремятся говорить искренне и открыто.

— Ну, например, я в творчестве своем пошел туда, куда раньше не решался заглянуть. Не в силу неумения или недостатка профессионализма, но в связи с пониманием собственной немощи. Мне казалось, я не готов еще, я только подбираюсь к чему-то важному.

— И сейчас как, начинаете осиливать? Ваш путь, по-вашему, новый его виток?

— Мне кажется, начинаю. Но не все еще получается. Вот был не так давно в Германии, принимали прекрасно, но мне показалось, я еще не дотягиваю, что меня слышат, но не как мудреца, а как хорошего, исправного исполнителя.

— Разве мудрость приходит по наитию или в силу желания одного? — испытующе спросил священник.

— Мне уже под пятьдесят, пора мудреть-то! Или, по-вашему, есть время еще? — задал вопрос Петр.

— Мудреть? — да разве это определяется конкретным возрастом? Можно и в двадцать с небольшим быть мудрецом, и в шестьдесят так и остаться никем. Она, мудрость, не каждого посещает, не каждого ода-

ривает. Да и сами вы отчетливо понимаете, что это такое, мудрость?

— Наверное, это как грех. Он понимается как запретное, а про нее ничего не известно. Что это за штука такая? — пытался найти ответ музыкант.

— Пойдется. Если вы этим так озабочены, то и ответ найдется.

Помолчали. И Петр заметил, что руки батюшка держит под рясой, не жестикулирует, не вынимает их. И вообще, весь его облик молодого довольно человека свидетельствовал о том, что он и сам во многом в поиске. И что заставило его пригласить Петра, или, быть может, кто-то, оставалось неясным. Поэтому, повинуясь какому-то искушению, Петр вдруг сам задал вопрос:

— А вас самого можно спросить? У вас же нет той неприкосновенности, которую все мы побаиваемся? Сан, само место не позволяют действовать раскованно. Не так ли?

Батюшка кивнул, но видно было, что вопрос его напряг.

— Так спрашивайте, я готов выслушать.

— А ответите ли прямо? — не унимался Петр.

— Только так и отвечу.

— Сами вы грешны? Что вас более всего тревожит всю жизнь? Хотя вы еще молоды, но не знаю, мудры ли.

— Тревожит, — весьма покорно отозвался батюшка, — и в первую очередь несогласие мое с правилами: сам я могу спрашивать человека о его поступках, грехах, его жизни? Испрашивать его признание? Вот и мучаюсь. Вот давеча задал вам вопрос о грехе. Это ж я не из любопытства. Сам хочу знать. Священные книги помогают, очень помогают, но не всегда душа

моя спокойна, я еще тоже только на пути к мудрости, — сказал он.

— Наверное, в этом мы близки, хотя и разница в возрасте велика, — задумчиво сказал Петр, — я даже не знаю, много ли натворил, что за грехи мои. Только знаю, что они есть, да и будут, скорее всего. Вот зачем я, к примеру, провоцировал всю жизнь мою Нину? Не погружался в ее заботы? А у нее прекрасный голос, божественный просто! Только я был, а она — ну, что же, жена и жена. Это мой грех. И еще грех высокомерия, я знаю. Многих сокурсников считал ниже себя, полагал, что только мне дан тот талант, который приведет к вершинам успеха. Может, и привел, но сам-то я понимаю, где просто техника, упорство помогают, а где есть место озарению. Последнего не всегда хватало. Отсюда все мои хвори душевные.

— Об одном не говорите.

— О чем же? — беспокойно спросил Петр.

— О сладости желания убить. И второе — чувство зависти. Знакомо оно вам?

— Я бы так сказал. Убить — да, было, да и теперь бы, наверное, не удержался, случись что с Ниной, если этот проходимец, этот злодей объявится. А про зависть... Нет, это не мое, я слишком был уверен в себе.

— Вы полагаете, он исчез? Совсем испарился? Заблуждаетесь! Никуда он не делся!

Петр даже оглянулся. Что за выдумки?!

— Позвольте, зачем вы так? Я не за призраками сюда явился! — довольно сердито заявил музыкант.

— Не обманывайтесь, именно за ними. Что это вы так поддались, так поверили в чьи-то выдумки? Даже и вот в эту, придя сюда? Вы не могли не понимать, что что-то за этим стоит, что-то, что известно еще кому-то, не только вам. Стало быть, иллюзии, они никуда

не исчезли, не покинули вас, вашу жизнь, этот мир, наконец? Значит, вы готовы к ним? Желаете их, быть может?

Священник все распалялся, все больше его лицо покрывалось потом, и вот, наконец, он встряхнул рясой и выпростал из-под нее руки. Оказалось, что кисти на одной нет. Это немного смутило и остудило Петра, и он опустил голову. Более того, в одно мгновение он вспомнил, где и у кого он уже видел такую руку. Скорее, скорее надо прочитать ту окаянную записку. И что он ее так и не выбросил?

— Я догадывался о непростом характере этого приглашения. И мне казалось даже, что я близок к отгадке. Но теперь понимаю, — он усмехнулся, — что я ничего не понимаю.

— Тот, в обличье почти дьявола сказал вам правильно: вы не страдали, вы даже не были близки к этому. А все хотели шумного признания и успеха. Он, как ни странно это слышать, помог вам. Вы многое преодолели, согласны? — допытывался священник.

— Нет, я и так бы пришел к тому, к чему пришел. И думаю, все только начинается.

— Да, страдания ваши — в том числе. Когда-нибудь вы будете скорбеть об одиночестве. Сейчас же вы по-прежнему на гребне: сил, удач, любви. А все можно и утратить.

— Да что вы такое говорите? И кто вам дал такое право? Что это еще за суд такой? — возмутился Петр, вставая и собираясь покинуть помещение. — Я свободен и осознаю это. И вам того же желаю, — резко сказал он, но неожиданно чин в черном поднялся, близко наклонился к нему и тихо сказал:

— Осталось всего два месяца. Всего два, — повторил он, — и вы сполна начнете понимать, что такое

счастье. Для нас, смертных, весьма странное понимание счастья. Оно совсем не походит на успех. И на радость общения. Оно совсем в другом.

— Я и так вполне счастлив! — с вызовом ответил музыкант.

— Да, но с вашей Ниной.

Петр дернул ручку двери, она почему-то не поддалась, и тогда он обернулся к молодому священнику и уже более миролюбиво произнес:

— Если честно, мое творческое любопытство пересилило здравый смысл, поэтому я здесь. Вам же желаю не проделывать больше таких экспериментов, можете тоже пострадать, — предостерег почему-то Петр.

На этих словах он еще раз взялся за ручку, дверь открылась, и он вышел на улицу. И только оказавшись в светлом просторном дворе, он отчетливо вспомнил, где и когда встречал этого человека. И почему именно он отправил ему приглашение на разговор. Никакой, конечно, исповеди не вышло, был разговор двух людей, понимающих и ценящих откровенность высказывания и прямоту. Что, собственно, сказал ему Петр? — да ничего особенного, только признался в том, что был готов на страшное. Но зачем понадобилось такое признание этому молодому священнику? Да и тот ли он, за кого себя выдает? Пусть, не все ли равно, что-то ведь привело в этот храм, позволило откликнуться на приглашение, составленное столь вычурно? Что же, что?! И только мысль, пульсирующая в висках, все билась и билась о странное, давнее воспоминание, тревожа и мешая успокоиться. Точно, это был он, но почему он вдруг стал таким молодым и что привело в храм? И где та записка с неп прочитанным до сих пор содержанием? Господи, ну почему всю

жизнь приходится нырять в какие-то дебри, не понимая, зачем они и для чего? Что от него хотят?

Хотелось крикнуть, возопить, хотелось сделать что-то такое, от чего бы случилось землетрясение, возник страшный ураган, еще что-то несусветное. Но приходилось только сжимать кулаки и всюю сдерживаться.

Он медлил и не подходил к Нине, а она по-прежнему стояла возле дерева и видела, как он вышел. «Ну, откуда взялась эта покорность? Зачем она ей?» — все не мог успокоиться Петр, а сам уже хватался за сердце, не понимая, что снова случилось что-то страшное. «И кто его все испытывает и ведет, неизвестно куда? Кто?» — не унимался он.

Нина была так прекрасна в своем положении, в своем покорном ожидании чего бы то ни было, что и Петр вдруг понял, что хватит, пора, наконец, успокоиться и считать происшедшее каким-то провидением, впрочем, не очень и измучившего его. Он оглянулся, священника уже не было, тогда он подошел к другому служителю, снова войдя в храм, и спросил его, служит ли здесь отец Иероним. Ему ответили, что такого в их храме нет.

«Так, осталось прочитать эту поганую записку, выбросить ее, сжечь и все, утомониться, успокоиться и жить, как все. Как все нормальные люди», — вразумлял он сам себя, ведя жену к машине и затем заводя двигатель.

Дома, за ужином, уже поглядывая в любимое окно и видя привычные очертания деревьев, он вполне успокоился, решил плюнуть на все чудачества, которые с ним проделывала жизнь, и пойти к себе, чтобы пораньше лечь. На завтра он задумал приступить к новому фрагменту, новой части из сонаты Бетховена.

Слава Богу, что есть у человека дом, который один только и может и успокоить, и примирить со всем на свете, и просто поддержать. Что? Да все: дух, например, бунтующую плоть, высокомерие. Сдержат даже страх, урезонить самомнение и ярость.

И правда, дом, из которого он не выходил много дней потом, снова почти успокоил и зализал раны. Пришло долгожданное спокойствие, которое уже множество раз посещало, являлось, но что-то не особенно долго задерживалось. А тут замечательное чувство нужности работе все определяло. И это было самое прекрасное чувство. Потому что шли дни, учились произведения, и эта работа заполняла собой все, вытесняя потусторонние глупости и призраки. Было ясное понимание своей нужности, значительности, и никакого тупика не было видно и в помине.

Перед самой осенью, той порой, которую он особенно любил, когда и осень еще не в полной мере предьявляла свои права, а лето и вовсе не собиралось отступать, именно в эту пору он решил, что пора съездить за город и отдохнуть там. Даже не столько отдохнуть, сколько увидеть другие пейзажи, вдохнуть воздух, который был бы менее насыщен летними температурами, все еще державшими город в изнеможении.

И он отправился в маленькое путешествие.

Рыбу удить он опоздал, с друзьями пить водку не умел, да и потребности никогда не имел, нет, он хотел просто погулять. И правда, за городом, в его любимом ленинградском направлении, которым он двинулся в путь, было здорово. Это и не лето, но еще и не стылая пора, когда неуютно, пасмурно. И день выдался замечательный. Он вышел в Фирсановке, прошел знакомой дорогой до леса и двинулся вперед. Как идти,

он прекрасно помнил: много раз бывал здесь и в годы учебы, и потом, уже с Ниной. Шел и вспоминал, как еще несколько лет назад они снимали там дачу, причем все одну и ту же в течение одиннадцати лет. И как однажды, гуляя в лесу с Ниной, он решил ее проверить, как она, сможет преодолеть страх и не испугаться? И он в какой-то момент спрятался за деревом, когда она отвлеклась. Сначала Нина озиралась, подумав, что Петр просто наклонился за грибом, но затем ее волнение стало усиливаться, а потом она и вовсе закричала. Но он отчего-то медлил, не выходил из своего укрытия. И тогда она в изнеможении опустилась на траву и заплакала. Он вышел, обнял, но она не откликнулась, не поддалась его рукам и продолжала плакать. И уже потом, даже и годы спустя, она не хотела вспоминать этот случай. Тогда-то Петр понял, что она не простила его, что безобидная шутка сильно ее задела.

Он шел и шел вперед, проходя тот большой круг, как они его называли, и удивлялся тому, что способна сотворять природа с подвластным ей окружением. Даже воздух был совершенно иным, не таким резким и пьянящим, как летом или, к примеру, зимой. Осенью даже чувство, что накрывало все вокруг, было совсем иное. Сами деревья, их листья, окрас — все свидетельствовало о том, что природа не засыпает, что с окончанием лета напротив, происходит ее преобразование, она словно набирает воздух, восполняет дыхание и заново начинает жить.

Он даже нашел то местечко, которое запомнилось с того памятного дня. И правда, что он напугал Нину, зачем ему это понадобилось? Что, неужели он так жесток? Он даже отмахнулся от неприятных мыслей, поднял пруттик и двинулся дальше. Когда он углубил-

ся довольно давно в лес, неожиданно быстро потемнело. Хотя и было, наверное, всего-то часа два дня. Он и не заметил, как случилось так, что он прошел не только их большой круг, но оказался и вовсе в незнакомом месте. Однако не испугался, не озирался, просто отметил, что стало неожиданно быстро темнеть. И сразу подобралась усталость, захотелось спать, никуда больше не двигаться.

Он присел на бревно, затем решил вытянуться вдоль него, благо, земля, как ему показалось, не успела остыть. И так лежал с закрытыми глазами. Ничего не видел, только слышал отдельные звуки, составляющие единую общую мелодию, ничего не имеющую общего с теми, которые он разучивал. То была самостоятельная, ни на что не похожая музыка шороха листьев, каких-то вздохов деревьев, легкого движения ветра, возгласов пролетающих птиц, просто непонятных шорохов и чего-то такого, что к реальности имеет слабое отношение. Он по-прежнему лежал с закрытыми глазами и неожиданно для себя стал различать совсем другие звуки, другое движение. Более того, они не были страшными и не казались опасными.

Это была та самая роскошная зала, которую он уже видел когда-то давно и в которой он слышал изумительное пение Нины. И вокруг все те же странные люди, причем, носящие имена композиторов: Мендельсон, Григ, еще кто-то. Отличаются только имена их от истинных музыкантов. Все было и на этот раз точно так же, как и тогда, давно-давно. Сквозь эти видения он отчетливо помнил свое желание, просьбу к кому-то, чтобы не появился тот, с помощью которого и возник весь этот призрачный мир. «Только бы не встретиться ним снова», — настойчиво взывал к кому-

то Петр, не желая встречаться со злом, от которого, к счастью, почти отвык и освободился. И тут полилась мелодия, более того, он услышал — этот звук он не спутал бы ни с чем — голос его жены, его Нины. Этот волшебный голос пел. И это была ария Далилы из прекрасной оперы. Он уже слышал эту арию в Нинином исполнении, он все вспомнил, хотя точно, он точно знал, что сам не присутствовал никогда ни в какой зале. Что-то передалось ему в виде какого-то знания, с которым он не был знаком. Нина пела так великолепно, страстно, что Петр вместо восторга стал испытывать совсем другое чувство: беспокойства и опасения за ее здоровье и за здоровье будущего ребенка. Он так стал волноваться, что не сразу услышал голос. Боже мой, чего бы он только ни дал, чтобы никогда не слышать этот характерный, царапающий звук!

— Отдыхаете? Наслаждаетесь? Да, прекрасно, волшебно, просто нечеловеческий звук! — произнес насмешливо голос, хотя слова и были вполне серьезными и ничего мистического не содержали.— Не волнуйтесь вы так, все нормально. Вы же видите, я не беспокою вас, вы молодец, могли бы и похвалить меня. Совсем исчез, не заметили?! Ладно, молчите! Лучше прислушивайтесь, я вас понимаю. Всех благ, больше не побеспокою. Только не забудьте о записке. Ну, сколько можно терпеть и не знать ее содержания? Ну, сегодня и узнаете. Откланиваюсь!

Все произошло быстро, почти молниеносно. Петр не испытывал никакого страха, он только чувствовал, что и вправду сейчас что-то должно произойти. А ночь все плотнее и настойчивее накрывала все пространство вокруг, становилось холодно, земля совсем остыла. Петр попытался приподняться, ему это не удалось,

более того, казалось, что неведомая сила его еще крепче придавливает к земле. Он делал отчаянные попытки подняться, но вдруг музыка, а вместе с ней и голос Нины — все замолкло, и Петр увидел, что из какого-то уголка леса, где был свет и никакой ночи, именно оттуда, поднимается какое-то подобие облака, которое движется в сторону Петра, но страшнее не стало, напротив, что-то внутри отпустило, и Петр словно решил примириться с происходящим, тем более, что все то, что совершалось, не подчинялось ему, было ему не подвластно.

Он увидел, как из этого снопа света отделилась фигура, стала отчетливой, и в ней он узнал Нину, свою Нину, которая летела почти над ним и при этом держала на руках ребенка. Он точно знал, что держит она девочку. Она удалялась, не подавая никаких знаков, не глядя на Петра и вообще ни на что не глядя. Петр молча смотрел на эту исчезающую фигуру, которая не уменьшалась в размерах, а виделась явно и отчетливо.

Постепенно образ Нины стал испаряться, уменьшаться в размерах и в одно мгновение растворился вовсе. И в ту же секунду Петр ощутил внезапное, ментально накрывшее его чувство безысходности и одиночества. Такого чувства он не испытывал никогда еще. И он понял, каким-то новым для себя зрением прочел, выведал, что там, в той записке. Об этом, об одиночестве, о тотальном одиночестве, которое теперь навечно, навсегда станет жить с ним рядом, держа его за руку. Вопль, который вот-вот готов был вырваться из груди музыканта, заглох, и мужчина так и не смог вымолвить то, что было важнее всего: «За что? Почему я?»

Да и разве мог найтись ответ на то, в чем человек словно и не повинен? Разве мог услышать его кто-то в безлюдном месте, где только тьма и безмолвие составляли его волшебную сущность? Где одна только желтизна осени могла поспорить со всеобщим, все нарастающим чувством ненужности и брошенности!

Звуки смолкли, тишина, и та, словно сговорилась с какими-то внешними силами, которые все плотнее и жестче наступали на человека, одиноко и покинуто стоящего в огромном пространстве темного леса. Она звенела и звенела, и ничего не могло помешать ей. Никакие другие звуки не проникали в темноту, одна только звенящая тишина покоя и одиночества.

*1 ноября 2011 – 14 июля 2012 года, Москва*



## *СОДЕРЖАНИЕ*

«Даль свободного романа...»

**3**

Часть первая. ПРИШЕЛЕЦ

**7**

Часть вторая. ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ

**185**

Часть третья. ИЗ НЕБЫТИЯ

**231**

Оригинал-макет *О. Комиссарова*

Сдано в набор 21.09.12. Подписано в печать 01.10.12.

Формат 84x108/32. Гарнитура «Баскервиль».

Тираж 500 экз. Заказ

Печать офсетная. Усл. печ. л. 22.

Научно-издательский центр «Академика»

127254, Москва, ул. Гончарова, 15

Отпечатано в ОАО «Дом печати — Вятка»

610033, г. Киров, ул. Московская, 122